

АРТИКЛЫ

Израильский литературный журнал

АРТИКЛЪ

Яков Шехтер

Хождение в Кадис

«...Как тала ходит-та Окце – «чистая удивительная проза чистая – лаконичная брызжка для проты», и история Шехтера на сто процентов выдержанной текст на читательский интерес».

Катя Канюва

«Хождение в Кадис» – историко-приключенческий роман о том, как мальчик из Новгорода превратился в пирата Барбаросу, грозу Средиземного моря, а затем ступившим на землю Америки. Эпизоды, терки, романтика соединяются в романе с мистикой и тайнами древних усадеб.

«Беру на себя ответственность рекомендовать Якова Шехтера российскому читателю».

Дитя Рубина

№ 23

Тель-Авив

2022

מעלות
המרכז למורשת יהודית ברית המועצות

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Анна Файн. Повесть о Якове, Эйсаве и сыне его Остапе.....	4
Шула Примак. Старая сказка.....	57
Давид Маркиш. Счастливчик Таль.....	61
Михаил Вассерман. Два рассказа.....	72
Борис Белкин. Там, в Москве.....	80
Михаил Певзнер. Рождение белого города.....	99
Яков Шехтер. Спасти праведника.....	125
Михаил Юдсон. Остатки.....	143

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Этгар Керет. «Mistic».....	147
Узи Вайль. Со мною вот что происходит.....	149
Натан Захави. Старина Ю-Ю.....	152

ПОЭЗИЯ

Татьяна Вольтская. В доле.....	157
Ася Аксенова. Секретики.....	162
Ольга Андреева. 7 апреля.....	178
Мария Сырочкина. Ниагара.....	172
Глеб Шульпяков. За край объектива.....	177
Валерий Скобло. Из цикла «Библейские мотивы».....	181
Цви Патлас. Абажур.....	185
Максим Д. Шраер. Попытка психоанализа.....	189
Сергей Лейбград. От Сахалина до Смоленска.....	192
Михаил Сипер. Как там небо?.....	195
Игорь Иртенъев. Кто ещё не взял билет?.....	201

НОН-ФИКШН

Михаил Вирозуб. Шестьдесят пять поколений.....	207
Марк Горин. Мой дедушка и 28 корзин кошерного содержания.....	260
Дмитрий Стровский. Возвращение.....	264
Давид Шехтер. Иерусалимские «Сады Сахарова».....	269
Наум Вайман. Русский мир, или За что вы нас так не любите?.....	274

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Афанасий Мамедов. До конца света и слова последнего .	286
Андрей Зоилов. Талант поёт по-своему.....	297
Дневник событий русско-израильской литературы. Июль-сентябрь 2022.....	303
Роман Кацман. Рина Левинзон (1939-2022). In memoriam...	318

СТИХИ И СТРУНЫ

Падают звёзды.....	323
--------------------	-----

БОНУС ТРЕК

Вероника Долина. Камень.....	325
-------------------------------------	-----

На титульной странице фотография обложки романа Якова Шехтера.

ПРОЗА

Анна Файн

Повесть о Якове, Эйсаве и сыне его Остапе

1.

Реб Яков-Янкл Франкфурт завершал утреннюю молитву Шахарит, когда в его дом ввалился Эйсав. Реб Янкл неотрывно читал «Алейну»¹ и потому не слышал, как звякнул крючок, вбитый у входной двери, когда Эйсав привязал к нему коня; как Бейлка тут же подала коню лукошко с пшеницей, и как Эйсав шумно отхлебнул свежего пива из поднесенного той же Бейлкой глиняного кухоля. По всему дому раздались шорохи, скрип дверных петель и испуганный топот детских ног, затем тяжелые шаги и звон сабли, бившей Эйсав по ногам. Когда реб Янкл повернулся, чтобы плюнуть, по обычаю, на презревших Господа язычников, Эйсав уже грузно восседал на лавке за его спиной.

- Пане полковнику! Как поживает ваша светлость? – обратился реб Янкл к гостю.

Он вдруг вспомнил, что за голову Эйсав ляхи обещали две тысячи цехинов, и у него мелькнула мысль, что можно было бы заработать. Но он тут же отогнал от себя постыдную слабость. Ведь тот Эйсав, из Торы, пытался убить своего брата Якова, а этот Эйсав, наоборот, когда-то спас ребу Янклу жизнь.

Тогда в Сечь прибыли казаки из Гетманщины и рассказали, будто бы жида захватили уже и христианские церкви, и нельзя теперь производить в них необходимые обряды, не получив у жида сперва ключи, а ключи жида выдают за отдельную плату. И будто бы жидовки шьют себе юбки из поповских риз. Верно, некоторые идн² брали в аренду целое поместье, не исключая и церкви. Может быть, попадались среди них такие, кто брал пошлину за вход в молельный дом. Потому как шляхтичи то и дело поднимали арендную плату, а надо же «а иду» как-нибудь крутиться. Но

¹ «Алейну» – молитва, завершающая главную молитву «Восемнадцать благословений».

² Идн (идиш) – иудеи.

юбки! Разве может богобоязненная «идене» воспользоваться вещью, предназначенной для чуждого служения? Тьфу, да и только!

Но козаки все разом взъярились, заволновались, зашумели, как море, переполненное гневом. Они принялись хватать жидов и швырять в речку. Хорошо, что это был не Днепр, а один из его малых притоков. Реб Янкл видел, как кое-кто из его собратьев проплывает несколько сажень под водой, а потом выныривает на другом берегу, торопливо взбирается на откос и прячется в кустах. Ведь сказано в Талмуде, каковы обязанности отца по отношению к сыну своему: должен он обрезать сына, учить его Торе и ремеслу, научить его плавать – как раз на такой случай – и, наконец, женить. Но отец реба Янкла, да благословится его память, рано оставил этот мир. Он успел лишь обрезать мальчику и отдать его в учение к меламеду¹. Ремесло и женитьба – всё это дали сироте родственники отца и матери. А плавать реб Янкл так и не научился. И поэтому он упал Эйсава в ноги и взмолился о пощаде, говоря, что знал его покойного брата Дороша, и даже отдал за него восемьсот цехинов, чтобы выкупить из турецкого плена. История с цехинами и правда случилась когда-то, только брата Дороша спасти не удалось.

Он смотрел тогда на козака снизу вверх и видел его багровое, опаленное жгучим ветром лицо, рыжеватые патлы, горевшие на солнце красным огнем, червонную вышивку крестом по белой рубашке, и алые прожилки в белках очей. Тогда-то он и понял, что перед ним Эйсав, ведь Эйсава вечно нужно *красного, красного этого*. Эдомитяне, потомки того Эйсава, любят красное.

В полушаге от смерти реб Янкл вдруг раздвоился. Один Янкл валялся в ногах у козака, а другой взмыл вверх. Оттуда, сверху, Эйсав был похож на комара, насосавшегося крови. Весь раздувшийся, багровый, важный. Малая тварь, которой мнится, что она – царь мира. Впрочем, если настоящему Царю Мира будет угодно, даже такая ничтожная тварь, как комар, способна повалить могучего богатыря и героя. Когда Тит, разрушивший Иерусалим, возомнил себя богом, Всевышний послал ему комара, и тот влетел эдомитянину в ухо, а когда полководец умер, и врачи вскрыли его череп, они не нашли там мозга, а только огромного разожравшегося комара.

¹ Меламед – учитель еврейской домашней школы – хедера.

Таким разожравшимся комаром представлялся ребу Янклу полковник, горой возвышавшийся над униженным иудеем.

- Повесить жида мы всегда успеем, - сказал он тогда, - полезай же под телегу, а вы, хлопцы, стерегите мне его, чтобы не убег.

Потом много чего было. Янкл пошел на Дубно вместе с козацким войском, пробрался в осажденный город, встретил младшего сына Эйсава, перешедшего на сторону ляхов. Потом козаки, после страшных битв, потерпели поражение от шляхетского воинства, а полковник, которого Янкл называл Эйсавом, был тяжко изрублен, но знахарка-иудейка выходила его. Эйсав бился с ляхами и татарами, а реб Янкл тем временем выстроил себе новый дом и корчму. И вот теперь Эйсав вернулся. Неспроста вернулся.

- Мой сын Остап пленен и находится в Варшаве, - сказал Эйсав, - я должен его видеть. Что бы ни было, но я его увижу. Поедем же теперь, не мешкая. За мою голову дают две тысячи цехинов, и то сказать, эти ляхи знают ей цену. Я дам тебе пять тысяч. Две сейчас же, а остальное, когда воротимся. Вы, жида, знаете всякие штуки, без тебя мне до Варшавы не добраться. Ты должен мне помочь, ведь это я спас тебе жизнь.

И, проговорив всё это, он просыпал на стол целый дождь золотых монет.

- Какие хорошие червонцы! - воскликнул реб Янкл. - Человек, у которого вы, пане, отобрали эти червонцы, верно, не прожил на свете и часу, так ему было жалко таких славных червонцев!

Про себя же реб Янкл подумал, что тот человек был уже мертв, когда Эйсав наклонился к его седлу, чтобы отвязать черенок с монетами. И убит тот бедняга был, верно, из-за своих монет, ведь мысль о золоте, как червь, обвивает душу эдомитянина. Разве не пошли они тогда на Дубно, потому что Дубно жирный город, а у козаков об ту пору закончилась казна – всю ее они пропили в корчмах и шинках у своих же собратьев и у идн. Разве не бросила половина из них поле брани у Дубно, когда подоспевший гонец рассказал, что татары выкопали их клады и разграбили стан? Они говорят, будто защищают Русь и православную веру от поругания, а сами убивают ради грабежа, и только ради грабежа затевают новые войны. Впрочем, как и все остальные потомки Эдома-Эйсава. И они еще кричат, что это жида не думают ни о чем, кроме корысти.

Реб Янкл сообщил Бейлке, что едет в Варшаву с паном полковником, а по дороге заедет в Казимеж. Она тут же, не мешкая, дала ему в дорогу хлеб, только что вынутый из печи, селедку, завернутую в капустные листья и в чистую холстину, и сорвала с частокола пару "цибулек" – гирлянд из лука и чеснока, приготовленных на продажу. Прибавила к этому жбан пива и тут же принялась вилами закидывать на телегу сено.

- Вы уж, пане, полезайте на телегу и укройтесь хорошенько сеном, - говорил реб Янкл. - До самого Кракова бояться нам нечего, а потом я вас перепрячу. Надо бы схватить вашу светлость, и не под сеном, а под таким добром, в которое шляхетские слуги не станут втыкать свои сабли, да и рыться в нем не будут. Вот беда – у нас в местечке сейчас худая торговля. Ярмарок не будет до самого праздника Сукес¹. А коли бы приехали чумаки с солью, я схватил бы вас в соли, али в соленой рыбе. Самый ближний торговый град – галицийский Казимеж. Там много нашего брата, много и лавок. В Казимеже возьму кой-какой товар и укрою вас под ним. А пока поедем поволе, спокойно.

- Да какое спокойно, - проворчал козак, - через Казимеж дорога дальняя, а твоя кляча, того и гляди, сдохнет в пути. Вот бы моего Чорта запрячь, за неделю бы и доехали!

- Э, нет, пан полковник. Ваш Чорт не привык таскать телеги. Если вдруг он встанет на дыбы перед самой шляхетской заставой, да вы, нивроку, вывалитесь на дорогу, тотчас вас ляхи и увидят. А кого они потащат в темницу? Ведь, что бы ни случилось, виноват бывает жид. Хватать жида, тащить жида, вешать его, как собаку, будто он и не человек вовсе. Так что пусть везет нас моя Ферделе. К тому же на такую ледащую клячу никто не позарится, а вашего Чорта любой цигайнер² захочет свести со двора, стоит вам только покрепче уснуть. Они, цигайнеры, читают будущее по руке и знают всякое колдовство. Они знают такое слово, что, если шепнуть его коню на ухо, так конь и не заржет. А коли вы, к примеру, добудете доброй горилки, не изюмной, не с вытребеньками, а настоящей, пенной, то...

- Чтооо?! – взревел Эйсав. - Ты, жид, думаешь, будто я напиваюсь в дороге?! Отродясь такого не бывало и не будет! Смотри, чтобы не ударил я тебя своей саблей!

¹ Сукес, он же Суккот – осенний еврейский праздник, отмечает конец Исхода из Египта и окончание сбора урожая.

² Цигайнер – цыган.

Желая усмирить козака, реб Янкл изобразил на лице своем самый неподдельный испуг. Ведь нет ничего слаще для эдомитянина, чем страх сына Израилева. Когда-то их предок продал Якову-Израилю первородство за чечевичную похлебку, и теперь его потомки хотят видеть сынов Израиля в горе, унижении и скорбях. Но всё это – горе, унижение и скорби – давно каленым железом выжгло истинный страх из сердца реба Янкла. Он часто казался испуганным и обеспокоенным, но настоящего страха, того, что леденит душу и сковывает, как кандалами, все члены, давно уже не знала его душа.

2.

Шло время. Реб Янкл отъехал порядочно от дома, и дорога потянулась вдоль одного из притоков Вислы. Безымянная кляча Янкла, которую тот называл просто "ферделе" – лошадка, исправно тянула телегу, а на ней, укрывшись сеном и глядя в синее небо, лежал козацкий полковник Тарас Бульба. Теплый ветерок обвевал его старое тело, но ласка природы не доставляла иссеченному в битвах рыцарю никакого наслаждения, потому что от каждого порыва ветра принимались болеть его раны, нанесенные палашом ляха, кривым ятаганом турка или татарским мечом. Высунувшись из сена, видел он перед собой тощую спину долговязого Янкеля, сгорбившегося на козлах и еле шевелящего поводьями. Янкель не пел в дороге песен на своем тарабарском наречии и ничего не говорил. Даже по его спине было видно, что жид тяжело размышляет о чем-то.

«Наверное, о червонцах, - подумал Тарас Бульба, - о чем жиду еще думать? Беспокоится, заплачу ли я оставшиеся три тысячи, когда вернемся в Русь».

На самом деле реб Янкл мучительно наблюдал за движением солнца по небесному своду и прикидывал, успеет ли попасть в Старую синагогу Казимежа до заката, или придется молиться минху, слепополуденную молитву, в чистом поле, привалившись к телеге, под нетерпеливое ворчание козака.

Реб Яков-Янкл Франкфурт родился не в земле Ашкеназ¹, как можно было бы подумать, а в Украине, называемой также "Русь" или "страна Кенаан", смотря по тому, кто давал

¹ Ашкеназ – принятое у евреев название Германии и Западной Европы в целом.

ей прозвание - лях, украинец или иудей. С детства он проявил большие способности к изучению Торы и был, как говаривали в те времена, "а феферл" – перчик, то есть, подавал надежды на победы в острых, будто наперченных, талмудических спорах. Но ему пришлось рано оставить учение. Дядя реба Янкла, глядя на успехи племянника-сироты, бывало, говорил: "Учись, Янкеле, хорошенько, и я посватаю тебе красивую невесту. Таковую, чтобы ни одной веснушки на лице!" В те времена считалось, что у красивой женщины не должно быть ни загара, ни веснушек – такое бывает только у мужичек, работающих в поле, а не у благородных барышень, будь то польские панночки или жидовки из хороших семей. И вот Янклу посватали невесту. То была Бейлка из Немирова, и она в самом деле оказалась бела лицом, как обещало ее имя. А на итальякском языке (родичам Янкла доводилось бывать в Крыму, куда приплывали на своих кораблях итальякские купцы) bella означало "красавица", и Бейлка в самом деле была очень хороша собой.

"Восемнадцать лет – к хупе¹", - так говорит Талмуд, но в те времена редко кого вели к хупе в столь зрелом возрасте. Ведь мало кому удавалось прожить на свете более сорока лет. С юга напирали крымские татары и османские турки, с севера – шведы, а козаки угрожали со всех сторон. После Унии, когда шляхтичи получили земли на востоке, русичи, они же украинцы, постепенно попали к ним в рабскую зависимость. Но шляхтичи не осваивали свои восточные владения сами. Они выслали впереди себя факторов и арендаторов из числа иудеев, и те, как они сами любили говорить, оказались меж молотом и наковальней. Украинские крестьяне считали угнетателями именно жидов, а не поляков, потому что на жидов ежедневно натыкались их очи. Поляки же, требуя арендной платы, и постоянно и внезапно повышая ее в последнюю минуту, могли псами затравить жида за недоимки. И потому жизнь любого человека, в особенности же иудея, немногого стоила. Следовало торопиться жить, и сыны Израилевы спешили оставить после себя потомство, приступая к исполнению заповеди "плодитесь и размножайтесь" в юном и нежном возрасте.

Янкла и Бейлку поженили, когда ему исполнилось тринадцать, а ей – двенадцать. Они были совсем еще дети,

¹ Хупа – свадебный балдахин, а также церемония бракосочетания.

и молодая жена осталась в доме отца и матери, а Янкл вошел под сень тестя в качестве "ученого зятя" и приступил к Талмуду. Тесть обещал кормить молодых, пока Янклу не исполнится семнадцать. Но Всевышний, в чьих руках находится весь мир и человеческие судьбы, уготовил ребу Мендлу иное. Случился набег татар, и спасаясь от них, окрестные идн поспешили в Немиров. Из-за скученности и плохих условий жизни в городе началась эпидемия тифа. Реб Мендл умер от болезни, не дожив до сорока, а Янклу пришлось оставить учение и заняться торговлей. Ему было тогда всего пятнадцать, но он успел стать отцом старшей дочери Малкеле.

Сердце ребя Янкла не особенно лежало к гешефтам, и он тосковал по тем временам, когда ходил в общинный беис-мидраш¹ и отдавал всего себя Торе. Через несколько лет он с ужасом понял, что немного, выученное им из Гемары², выветрилось у него из головы под воздействием передраг и лишений. Он хорошо помнил лишь то, что усвоил еще в детстве, в хедере. Цепкая юная память, раз схватив за хвост какую-нибудь яркую, точно райская птица, мысль, или сверкающую искру понимания, уже не отпускала ее от себя. В его голове проносились рассказы Торы о праотцах – Аврааме, Ицхаке, и о сыновьях Ицхака – Эйсаве и Якове, вечно враждующих между собой, но, по Божьей воле, достигших примирения после долгих лет разлуки.

В тот страшный год, 1648 по христианскому летоисчислению, или 5408 от сотворения мира, реб Янкл много путешествовал по торговым делам. Он оставил Немиров, где пребывала семья Бейлки, сама Бейлка и их с Янклом дети: Малкеле, Тойбеле и Авремеле. На обратном пути в Немиров, нагрузив телегу товаром – это была, помнится, ткань под названием "каменный дождь"; она много лет не снашивалась, так что сшитый из нее кафтан отец мог передать сыну по наследству, – реб Янкл ехал по лесной дороге. Вдали он слышал голоса, ржание коней и скрип тележных колес. Прислушавшись, Янкл узнал знакомую козацкую песню. Ему уже доводилось слышать о творимых козаками бесчинствах, и он решил не испытывать судьбу. Бросив телегу, лошадь и товар, и захватив с собой лишь кошель с червонцами, реб Янкл побежал в лес и затаился там, чутко прислушиваясь к каждому звуку. Через некоторое

¹ Бейс-мидраш – дом учения.

² Гемара – Талмуд.

время он снова вышел на дорогу. Его телегу и товар увели. Осталась только Ферделе, в те времена еще молодая, но такая невзрачная, что козаки не позарились на нее.

Реб Янкл добрался до ближайшей корчмы и там узнал страшную вестъ. Сыны Израиля укрылись в Немировской крепости, а козацкое войско подошло к ней под шляхетскими стягами. «Открывайте ворота! – закричали окрестные иноверцы, стоявшие под стенами крепости, - это ляхи пришли к вам на подмогу!» Иудеи посмотрели вниз и увидели шляхетские знамена. Они открыли ворота, и козаки ворвались в город. Не было таких мучительных казней, которым они не подвергали бы горожан. Самыми легкими из них были те, что перечислены в Торе – обезглавливание, удушение, побивание камнями и сожжение. И счастливы были те, кому достались эти четыре казни, потому что других живьем разрубали на куски. Козаки творили такое, чего не в силах представить человеческое воображение. Жен и девиц насиловали на глазах отцов и мужей. Некоторые из них, в том числе, Бейлка и ее дочери Малкеле и Тойбеле, добрались до рва, окружавшего Немиров, и попытались перебраться на ту сторону, но со стен достигали их козацкие пули. А другие козаки бросились за ними в ров и там изрубили их мечами. Вода во рву вся превратилась в кровь, как во время казней египетских. Чудом уцелевший корчмарь, обливаясь слезами, рассказал, что Малкеле и Тойбеле погибли, а Бейлку козак выволок на берег и надругался над ней под свинский хохот рыцарей, стоявших на городской стене. Сын реба Янкла, Авремеле, тоже погиб. Он сгорел в подожженной козаками синагоге вместе со всеми, кто молится Всевышнему о спасении.

Корчмарь еще рассказал, будто козак, обесчестивший Бейлку, разглядел, что она молода и хороша собой. Он кинул ее поперек седла и повез к татарам. А те увезли Бейлку в Крым, на тамошний невольничий рынок. Больше корчмарь ничего не знал – следы плененной женщины затерялись в степи.

Янкл не вернулся в Немиров. Он побыл какое-то время в местечке у дальней родни, там же отсидел и семь дней траура по детям. Он решил стать отшельником. Если Господь уничтожил в гневе Своем всю его семью и многих, многих из иудейского племени, значит, Янклу нужно искать другое место и другое служение. Следует пуститься в исбодедус – уединение. К тому же жизнь в любом из местечек Украины была небезопасна. Ведь все они

находились вблизи торговых дорог, по которым рыскали козаки.

Янкл подался к предгорьям Татр. Главное – найти ручей, чтобы давал воду для питья, приготовления пищи и миквы¹. А там уж он как-нибудь выстроит себе дом и заведет огород.

Найдя подходящий ручей в укромном месте, посреди леса и вдалеке от дорог, Янкл начертал на земле контуры будущего дома и воткнул прочные жерди по намеченным чертам. Он оплел жерди гибкими ветвями и лыком – получилось нечто вроде короба. Обмазав короб глиной и дав ей обсохнуть, Янкл побелил дом снаружи и внутри известью, накопав ее в окрестных горах. Настелил и крышу, утеплив ее по-татарски войлоками забросав сверху соломой. Крыша, конечно, потекла с первыми же дождями. Но жаловаться не приходилось. В те времена люди жилали и в соломенных хижинах, жалея средства на крепкий дом ввиду непреходящей опасности от татар и иных захватчиков.

Первый год Янкл прожил один, питаясь от леса и огорода, и проводя дни в молитвах и посте. Но идн в те годы бегали из Подолии на Волынь и Галичину, а оттуда на Буковину, а оттуда – в Валахию, и снова на Подолию. Кто-то из беглецов, спасаясь от козаков, увидел заимку Янкла с горной вершины. Вскоре рядом с хижиной Янкла выросла еще одна, а потом еще и еще. Соседи приехали с женами и детьми. Они прорыли две запруды по течению ручья – одну поменьше для набора воды и стирки белья, а другую поглубже – для миквы. Вскоре вокруг миквы выросли стены и появилась крыша. Число домов росло, а иные из них были уже похожи на человеческие жилища. В огородах покачивали желтыми головами подсолнухи, а по дворам ходили куры, и петухи будили поселян на утреннюю молитву. Вскоре расчистили место для городской площади, и подъехавшие плотники поставили деревянную одноэтажную синагогу - комната для женщин находилась в закутке у входа. Шляхтич, которому принадлежала земля, не стал разрушать местечко, однако велел жидам исправно собирать арендную плату. Местечко же назвали сначала Янкелевкой в честь основателя, а потом – Яновкой. Дети, рожденные в Яновке, уже не носили прозвищ своих отцов, не были они Ганноверами или Берлинерами, но назывались Янкелевичами или попросту Яновскими.

¹Миква – водоём для ритуальных погружений.

Однажды в дверь реб Янкла постучали соседи.

- Пленников привезли! – кричали они. - Идите, посмотрите, нет ли там вашей жены!

Реб Янкл побежал на площадь, на краю которой стояла низенькая деревянная синагога с несколько выгнутой крышей, похожей на подъятую ветром женскую юбку. Чуть в стороне от торговых рядов он заметил два воза, запряженных лошадьми. С возов слезали люди в странных одеждах. В мужчинах еще можно было узнать иудеев благодаря пейсам и бородам, но женщины... Таких странных нарядов реб Янкл еще никогда не видел.

- Янкл, Янкл! – вдруг услышал он знакомый голос.

Реб Янкл вертел головой во все стороны, но не видел своей Бейлки.

- Янкл, вот же я! Ты не узнал меня?

Перед ним стояла незнакомая, очень худая женщина. У нее было покрасневшее от солнца лицо и облупившийся нос, как у крестьянок, день-деньской работающих в поле. На высоких скулах гречишными зернами темнели веснушки. На ней были татарские шаровары и длинная рубаха из грубого полотна, вышитая по вороту линиями красными крестиками. На голове вместо шелкового платка и атласных лент, к которым крепились бархатные наушницы, вышитые жемчугами, - тряпка, давно потерявшая цвет, вроде тех, которыми мужички протирают вымя своим коровам. На ногах вместо парчовых туфелек с золотыми пряжками – обмотки из дерюги. Янкл заметил, что они заляпаны кровью...

"Нечистота ее – на подоле ее", – вспомнил он слова книги «Эйха»¹. В самом деле, после резни четыреста восьмого года впору было сесть в знак траура на глиняный пол лачуги и читать свиток «Эйха», как в день разрушения Храма. Ведь многие говорили тогда, что разорение святых общин Польши и Украины подобно разрушению Третьего Храма.

- Янкл, это я, я, Бейлка, - твердила женщина. У нее был голос Бейлки, ее черные очи и знакомая родинка на левой щеке.

Янкл заплакал. Он хотел обнять Бейлку и не мог – она была нечиста, и ей следовало вначале окупиться в микву.

Они стали снова жить вместе, но что-то изменилось в них обоих, и особенно в Бейлке. Раньше она не брала в свои

¹«Эйха» – в христианской традиции «Плач Иеремии».

белые, как нетронутый снег, руки ничего тяжелее иглы. (Она была искусной швеей и вышивальщицей, как многие дочери Израиля). Теперь же руки ее огрубели и налились силой. Янкл старался ни о чем не спрашивать жену, но было ясно, что там, в плену, Бейлка трудилась, как черная рабыня. Ее ладони, прежде нежные, как шелк, сделались твердыми и шершавыми, точно ступни крестьянина, что вечно ходит босиком по терновнику, горячему песку и сырой земле.

Однажды соседское дитя заплакало, и Бейлка, отвлекшись от домашней работы, побежала на двор к соседям, схватила пук соломы, перегнула его пополам, подвязала чуть ниже сгиба длинной соломиной – получилась голова. Разделила пук на три части, оплела две крайние веревкой – вышли руки. Из кусков старой мешковины ловко закрутила юбку и платок – получилась грубая кукла, какими играют крестьянские дети. Она сунула куклу соседской девочке, и та мгновенно перестала плакать. Янкл наблюдал за женой из-за плетня с нескрываемым изумлением. Она мяла колкую солому, рвала, не поморщившись, толстую мешковину! Она, чьи тонкие пальцы когда-то были унижены серебряными перстнями, она, не знавшая ничего тяжелее иглы! Ему было ясно, что Бейлка успела понянуть чужих детей, и там, на хуторе неизвестного гречкосея, научилась странным и чуждым обычаям. Иногда она мурлыкала чужие напевы и произносила слова, которых он не понимал. По-крестьянски подоткнув подол, Бейлка пропалывала огород, таскала тяжелые ушаты, ловко вынимала ухватом котлы из печи. Но не это беспокоило Янкла. Тут было другое.

Прежняя Бейлка часто плакала, как и другие иудейские жены. «Слеза у женщины всегда наготове», – так говорили наши мудрецы. Да что там женщины! И мужчины плакали, не стесняясь. Плох был тот «а ид», молитва которого не срывалась в рыдание. А какие стенания раздавались в синагоге Девятого ава, в день разрушения Храма! И он, Янкл, был плакса не хуже прочих, а уж Бейлка...

Когда она, четырнадцатилетняя, приходила из миквы, то сразу, с порога комнаты падала ему на грудь, одновременно смеясь и плача. Она осыпала его щеки, нос и едва пробившуюся бородку полудетскими поцелуями, гладила мальчика-мужа по голове, шепча смешные слова на ашкеназийском жаргоне¹. Но эта новая Бейлка никогда не

¹Ашкеназийский жаргон – язык идиш.

плакала. У нее был одеревеневший взгляд, не похожий на взгляд человека.

«Может быть, это вовсе и не она, - думал Янкл, - ведь бывает, что в человека вселяется дух, диббук, и человек уже не человек, а чорт его знает, что такое. Бейлка видела смерть наших детей. Вокруг нее стаями вились нечистые силы. Может быть, в нее вошла душа кого-нибудь из мучеников города Немирова, не нашедшая пристанища ни на том, ни на этом свете? Или вместо Бейлки в моем доме поселилась шейда, демоница?»

Из осторожных расспросов он понял, что татары, купившие Бейлку у козака, привезли ее на невольничий рынок в Крыму. Они надеялись продать пленницу в ханский гарем. Но Бейлке было уже за двадцать, и она считалась безнадежно старой. В гарем брали девочек девяти-десяти лет. Четыре года их учили арабской и турецкой грамоте, каллиграфии, танцам и пению, а потом, если невольницы находили благоволение у евнухов, то восходили они на ханское ложе или отправлялись морем к турецкому султану вместе с породистыми скакунами и диковинными птичками. Но время Бейлки прошло. Хотя она была молода и хороша собой, в гарем всё же не годилась. К тому же родинка на щеке сильно снижала ей цену – у настоящей красавицы в тех краях не должно было быть ни веснушек, ни родинок. Бейлку выставили на общий базар. Невольников там скучилось так много, что взрослого и сильного мужчину едва можно было обменять на нож с резной ручкой, а женщину отдавали за понюшку табака. Красота Бейлки обошлась покупателю в целую табакерку вместе с табаком. Пленницу увезли назад в Украину, и заставили работать по хозяйству и в поле. Была ли она при этом еще и наложницей, Янкл не спрашивал. На ее счастье, богатые турецкие сефарды¹заплатили деньги за выкуп иудеев из плена и вместе с другими вернули Бейлку домой.

В Яновке с недавних пор поселился один человек, про которого говорили, будто он каббалист. Ничего удивительного тут не было – еще до страшных событий 5408 года многие иди изучали тайные книги, прежде скрытые от глаз простецов. В старину каббалу учили только умудренные в Торе сорокалетние старцы, известные своей праведностью. Таких было немного, ибо немногие доживали до сорока. Но в Польше и Украине еще до погромов

¹Сефарды – евреи, потомки изгнанных из Испании в 1490-м году.

Хмельницкого открылось столько домов учения, и так умножилось знание, что казалось, будто и взаправду возник сам собою Третий Храм. Иные думали, что следует теперь учить и сокрытую доселе премудрость. И вот новоявленные каббалисты решили, будто Мессия уже в пути, и подсчитали, что он явится миру как раз в пять тысяч четыреста восьмом от сотворения мира году. Однако вместо Машиаха пришел злодей Богдан Хмельницкий и разрушил всё, что воздвигли руками своими и умом сыны Израилевы.

Каббалист из Яновки прозывался реб Михл Лойтерман (ибо прежним местом его обитания было местечко Лойта). Янкл отправился к нему попросить совета – люди говорили, что реб Михл умеет отличать шейду от человека и знает, как изгнать диббука.

Реб Михл жил в покосившемся домике, который начал вращаться в землю с той самой минуты, как окончилось его строительство. Дверь реб Янклу открыла жена реб Михла, рыхлая, болезненная женщина с голубыми, как у иноверки, глазами. Реб Янкл вошел в полутемную комнату и увидел сидящего за столом хозяина, лицом походившего на сову – его круглые брови соединялись с подглазьями, образуя совиные очи, а крючковатый нос напоминал клюв. Реб Михл выслушал рассказ гостя, немного помолчал, покашлял, и затем спросил довольно скрипучим и гнусавым голосом:

- Ваша жена разговаривает мужским басом?

- Нет, голос у нее прежний.

- Значит, это не диббук. Но, может быть, она шейда - демоница. Проверить это довольно просто. Вы разговаривали с женой о погибших детях?

- Нет, я не мог. Я читал по ним поминальные молитвы в синагоге, а в доме никогда не говорил о них.

- Значит, она не слышала, как их зовут. Если это ваша жена, она знает имена детей, а если шейда – нет. Даже если слышала, вряд ли помнит – у шейдим плохая память.

Янкл поблагодарил, оставил ребу Михлу несколько монет, и хотел было уйти, но тот остановил его.

- Возьмите вот это. Здесь пилюля, совсем крошечная. Постарайтесь не потерять и незаметно положите жене в чай.

И реб Михл протянул Янклу холщовый мешочек.

- Зачем? – спросил Янкл.

- Вы ведь хотите, чтобы у вас снова были дети? Разумеется, если ваша жена – не шейда.

Вечером за чаем Янкл прямо спросил у Бейлки:

- Ты помнишь имена наших детей?

И тут случилось чудо. Бейлка зарыдала и закричала, что есть мочи:

- Злодей! Злодей! Он еще спрашивает! Он еще спрашивает, помню ли я Малкеле, Тойбеле и Авремеле! Чтобы очи твои лопнули, злодей! Где ты был, когда враги терзали нас? Почему не защитил?

Янкл не знал, смеяться или плакать. Это была она, его Бейлка, а никакая не демоница. Но ее упреки были горьки и несправедливы, как поношение эдомитян.

- Как я мог их защитить? У меня нет ни меча, ни палаша, ни даже ножа. Я ведь не козак!

- Молитва – твой меч! Тора – твой щит! Это ты, ты во всем виноват...

Она упала на кровать и принялась рыдать в подушку, как в старые времена. Янкл сел рядом и осторожно обнял жену за плечи.

Через девять месяцев у Бейлки и Янкла родился сын, которого назвали Гиршем. Только после его рождения Янкл вспомнил, что пилюля реба Михла так и осталась лежать на дне холщового мешочка, подаренного каббалистом. Еще через год у них родилась дочь Ента, а через два года – маленький Лейзерке.

Когда сыновья подросли, а Янкл успел сходить в поход вместе с сечевиками и невредимым вернуться назад, Бейлка заговорила о том, что в Яновке нет хорошего меламеда, и надо бы поселиться в святой общине какого-нибудь города. Они мечтали переехать в Умань и копили деньги, чтобы выстроить там хороший дом. А пока что Янкл построил себе маленький домишко вместо ушедшей в землю лачуги и открыл в Яновке корчму. Здесь, в Яновке, его и нашел козацкий полковник Тарас Бульба.

3.

Ферделе, хоть шатаясь от натуги, все же втянула телегу реба Янкла на высокие гребни польских Татр, откуда в погожий день далеко была видна чуть не вся земля Пойлин. Пойлин, столь любимая сынами Израиля, что называли они ее "ди гольдене медине" – золотая страна. Вдалеке и впрямь золотились под закатным солнцем купола и шпили великого града Кракова, древней столицы польских королей. Солнце неумолимо катилось к горизонту, и небо уже приняло розовый, как щеки молодой паненки, цвет. Перемена в цвете небес ясно, как набат, возвестила ребу Янклу, что пора молиться минху. Вздыхая, он остановил Ферделе, слез на

землю и, обернувшись лицом в сторону Иерусалима, начал произносить "Восемнадцать благословений", благодарно дивясь молчанию Эйсава. Тарас Бульба, рассудив про себя, что местность безлюдна, вылез из сена, спустился вниз и закурил, наконец, свою люльку, прошедшую вместе с ним Сечь, Крым и Туретчину, и еще много дивных земель. Давно уже хотелось ему курить, но малейшая искра, вырвавшись на волю, сожгла бы и сено, и его самого, и телегу.

- Пане полковнику, - сказал Янкл, окончив молитву, - давайте-ка заночуем тут, а с утра пораньше въедем уже в Казимеж. Там продают много всякого товара, и я сумею хорошенько спрятать вас на возу. Да и лошадь не худо бы сменить. Правду вы говорили - моя кляча совсем выбилась из сил.

Они отошли на полянку, скрытую от дороги густыми деревьями. Ночная прохлада опускалась на лес, ветерок еле шевелил листья деревьев, и резкие голоса ночных птиц на разные лады возвещали о наступлении темноты. Козак, насобирав веток и сучьев, разжег небольшой костерок и прилег подле огня, нежа израненное тело и попыхивая люлькой. Янкель согрел в котелке воды для чая и, достав припасы, выданные Бейлкой, полил себе на руки воды из большой бутылки, пробормотал благословение, вытер руки куском холстины и принялся есть хлеб, благословив и его. Поев хлеба, взялся за последний кусок селедки, стараясь оставить немного на завтра, и заедая ее цельной луковицей. Глядя на жующего Янкеля, и Тарас захотел есть. Ел он, как всегда в дороге, хлеб и мелко нарубленное копченое сало, доставая его понемногу из холщового мешочка. Учувя запах свинины, Янкл отвернулся от козака. Ему не хотелось брезгливо морщиться на виду у пана полковника.

- А скажи мне, Янкель, сколько тебе лет? – вдруг спросил Тарас Бульба.

- Тридцать пять. И я самый несчастливый жид на свете.

- Отчего же?

- Да оттого, пан Бульба, что мне уже тридцать пять, а я еще не отвел ни одного сына моего к хупе, и ни одной дочери. Были бы живы мои старшие дети, мы с женой уже нянчили бы внуков.

Тарас помолчал немного и спросил:

- А помнишь ли ты моего сына Андрия?

- Как не помнить! Гарный был хлопец, видный, мощный телом, а лицо, как у дворянина.

Он замолчал, не желая беречь раны старого козака. Янкл знал, кто убил Андрия, и оттого не говорил более ничего. Андрий сгинул ни за что ни про что, а теперь и Остап сидит в крепости у ляхов, и Бог знает, к какой мучительной смерти приговорят они его.

Зачем Эйсав убил сына? Разве может живое существо не любить своего порождения? Ведь, как сказано в книге «Эйха», даже дикие звери протягивают сосцы своим детенышам. А Эйсав убил Андрия. Об этом Янкл слышал от козака Голокопытенки. Янкл добыл тогда мешок отборного табака и нес его на продажу в козацкий стан. Проходя мимо куреня Голокопытенки, он услышал, что будто бы тот сам видел еще не остывшее тело Андрия, и дым, выходящий из горячего ружейного ствола Бульбы, горестно склонившегося над телом сына.

Для чего было убивать такого молодого и гарного хлопца? Да, он перешел к ляхам. Но разве сам злодей Хмель не был *рейстровым* козаком в войске польского круля? Не сразу переметнулся он в Сечь, а лишь после того, как некий пан, самый подлый из всех шляхтичей, отнял у Хмеля отцово поместье. Хотел тогда Хмель заработать от шинка. Но и от шинка не было ему прибыли, потому что по соседству стоял шинок Зхарьи-иудея, а тот варил пиво, сравнимое разве с эликсиром, который ангелы подают праведникам в раю. И Хмель навеки возненавидел всех ляхов и жидов, и задумал отомстить им. Но Андрий только переметнулся от козаков к ляхам, а Хмель с кем только не заключал союзов! И с татарами, и с крулем против его же шляхтичей, и даже с царем Московии. Хотя про царей Московии говорили, будто дюже охочи они до чужих земель, и не накликал бы Хмель этим какой беды на Украину.

А он, Янкл, сумел бы убить своего сына, прими тот христианство? Не стал бы Янкл делать такого дела. Ведь сказано у Раши¹, что не следует молиться о смерти грешников, но лишь о их раскаянии.

И зачем вообще гоим воюют друг с другом? Да затем, что они христиане, наследники Рима, а тот, как сказали наши мудрецы – наследник Эдома. И об Эйсаве-Эдоме сказано в Писании: "Мечом своим будешь жить". Вот оттого они и воюют. А если бы не было на то Господней воли, на что бы им воевать? Ведь вера-то у ляхов и украинцев одна и та же:

¹Раши - сокращение от Рабби Шломо Ицхаки – важнейший комментатор Торы раннего средневековья.

и у тех, и у других кресты над молельными домами. Пусть обычаи их разнятся, но ведь идн Антверпена не убивают иудеев Познани из-за разницы в обычаях. И наречия у ляхов и украинцев похожи. К примеру, на обоих языках иудей называется "жид". Янкл говорил и по-польски, и по-украински, и, кроме ашкеназийского жаргона, знал и святой язык. Если бы довелось ему побольше выучить из Талмуда, знал бы еще и арамейский.

Или воюют они из-за земли? Нет, земли и у тех, и других вдоволь. И такая хорошая земля, черная и жирная, и всё на ней растет, что ни посади. И как бы ни старались они, не заселить им ее всю. Так зачем же воюют? Да затем, что уж так они сотворены. Нравится им пускать друг другу кровь. Красного, красного этого они хотят, дети Эйсав.

- Что-то скучно мне, и сон нейдет, - сказал вдруг Тарас, - расскажи-ка мне, Янкель, какую ни на есть байку из тех, что рассказывают друг другу жида на шабаш¹. Авось, отгонит она мои тяжкие думы.

Янкл потрепал бороденку и начал:

- Расскажу я вам, пане, одну майсу², которую слышал когда-то в славном городе Немирове. Мы тогда собирались всей семьей на исходе каждой субботы, и рассказывали разные сказки. Эх, хорошее было время! Так вот, жил да был в Немирове один жид, и звали его Мотл Шнобель. У того Шнобеля был нос – всем носам нос. Такой, не приведи Господи, клюв, какие бывают у аистов, что вьют гнезда на ваших хатах. Говорили, будто сперва в синагогу входит нос Мотла, а уж потом сам Мотл. И где ни заварится какая заваруха, какой, к примеру, мордобой, или захотят где паны побить нашего брата, везде доставалось этому Мотлу, да в самую середку его благородного обличья. Всегда били его кулаком прямо в нос, пока не стал он таков, что и глядеть не можно. Нос не нос, а что-то вроде мякины, которую клюют воробьи, или разваренной в бульоне галушки. То и дело возвращался он с улицы с распухшим носом, и вечно текла из того носа красная юшка. Так идет он по базару, кровища из носа хлещет, а христиане еще и кричат ему вослед: "Откуда вы, носатые, понаехали на нашу голову?"

И вот как-то раз взмолился Мотл Господу Богу и сказал Ему так: "Господи, забери от меня этот нос! Пусть катится он к чорту в ад! Пусть не войдет больше со мной в святое

¹Шабаш, шабес, шабат – суббота.

²Майса – рассказ, история, сказка.

собрание, и не будет ходить со мной по базару!" Так он сказал, помолился и отправился спать. Просыпается утром и чувствует, что не чувствует ничего. И нечем ему дышать. То есть, ртом дышать еще может, а носом – ни. Схватился он тогда за зеркало своей жены (а добрый жид никогда не смотрится в зеркало, потому что это бабья манера, как сказано в наших святых книгах). И видит он, что нет у него носа, а на месте носа гладкое место! Завопил он тогда, как вопят в синагоге в день разрушения Храма. И вбежала к нему его жена, посмотрела на лицо его и говорит: «Это ничего, Мотеле. Сейчас схожу я на базар и куплю курицу на шабес. Отрежу от нее гузку и пришью на место твоего носа. Никто ничего и не заметит». «Тащи уж тогда гуся! – говорит Мотл. - Гусиная-то попка поболее куриной будет. У меня ведь не нос был, а сама знаешь, какой клюв!»

Жена так и сделала. Купила гуся, отрезала гузку и пришила очень искусно на место носа белыми шелковыми нитками. Отправился Мотл в святое собрание, вошел в дом учения, и видит – никто не заметил перемены. Конечно, гусиная гузка не больно хороша на вид, но ведь и прежний нос Шнобеля не сказать, чтобы радовал взор.

И вот проходит месяц, другой. Идет как-то Мотл по улице и видит – навстречу ему ксендз. В сутане, с четками в руках, с молитвенником под мышкой. И подходит тот ксендз поближе – а это и не человек вовсе, а нос Мотла Шнобеля. Не просто сбежал он от хозяина, а принял христианскую веру, да и выслужился уже до ксендза. И когда только успел выучить латынь и превзойти другие науки? Чудны твои дела, Господи, как сказано: "И умножатся чудеса Мои в земле египетской".

- Зачем ты рассказал мне эту историю, жид? – сказал Эйсава, попыхивая люлькой и недобро глядя на Янкла. - Уж не хотел ли ты сказать, что христианская вера так проста, что даже неосмысленный кусок мяса, вроде носа, где и мозга нет, а одни лишь сопля, может вдруг стать христианином, хоть бы и католиком?

- Что вы, что вы, пан, как можно? Боже упаси мне смеяться над христианской верой. Я хотел лишь сказать, что для Господа нет ничего невозможного. А рассказал я эту историю оттого, что вы просили меня разогнать вашу грусть. А история, и правда, престранная. Как говаривал мой покойный тесть, нужно на нос упасть, чтобы это понять.

Он не успел договорить до конца, потому что заметил, как Бульба медленно опускается на землю, как отуманиваются

его очи, и руки вытягиваются вдоль грузного тела. Прошла минута-другая, и богатырский храп козака пронесся над вершинами Татр, пугая сов и прочих ночных птиц. Реб Янкл тотчас развалил и загасил костер, чтобы тот не поджег пышной седой чуприны козака, далеко протянувшейся по земле.

Янкл смотрел на храпящего Бульбу и думал, что и во сне лицо его не теряет зверского своего выражения, какое свойственно диким и необразованным людям. Ему было невдомек, что грубый и неотесанный на вид сечевик окончил полный курс Киевской бурсы, изрядно знал латынь и греческий, помнил наизусть вирши Горация, знал и римское право. Ведь из римского права выудил он закон "я тебя породил – я тебя и убью", применимый к детям римлян, рожденным рабынями. Впрочем, не была ли рабыней жена Бульбы, всю жизнь терпевшая силу его кулака?

Многое знал Тарас Бульба, но не ценил книжной грамоты, ибо она нимало не помогала рубиться с ляхами и татарами. А реб Янкл по воле судьбы не доучился до мудреца Торы, но страстно жаждал оставить торговлю и снова сесть за книги. Он тяжело вздохнул и принялся читать последнюю молитву дня.

4.

Телега Янкла переехала мост через малый приток Вислы, отделявший Казимеж от окрестных земель. Висла и ее витой приток образовывали как бы остров, со всех сторон окруженный водой. Этот остров когда-то подарил Казимир Великий своей жидовской возлюбленной Эстерке, а та отдала его братьям. Так и возник Казимеж - единственный в Европе город, построенный исключительно руками сынов Израиля. Телега Янкла въехала на Шероку улицу, вполне оправдывающую свое название. Здесь могли бы разъехаться не две и не четыре, а целых шесть телег, и, не имей жида привычки ставить где попало торговые ряды и пристройки к своим домам, разъехались бы и все десять. Первые жители Казимежа не имели единого взгляда на то, как следует ставить дома. Они вечно спорили, размахивая руками прямо на улице, как это заведено у сынов иудейского племени, и в конце концов каждый слепил себе жилище, кто во что горазд. Оттого Шерока улица была и широкой, и пестрой, как ятка перекупки, торгующей монистами и красными лентами. Походили ее дома не на стройные ряды тополей, высаженных вдоль проспекта панской усадьбы, но

на лесные грибы: груздь лепился к подосиновнику, тот притиснулся к сыроежке, а та нависала краем шляпки своей над бледной поганкой. Завершала это живописное шествие Старая синагога, примыкающая к городской стене. Ей исполнилось уже двести лет, и красный кирпич, из которого она была выстроена, потемнел от времени, как темнеет на мече рыцаря не отмытая кровь врага его. Четыре башенки красовались по углам ее пологой черепичной крыши, точно шести свадебного балдахина, только вместо синего бархата хупы подпирали они столь же синее небо. Высокие стрельчатые окна синагоги недоверчиво глядели на улицу, кипящую возами, лотками с товаром и снующими туда-сюда горожанами.

Янкл, как только въехал на двор синагоги, тут же спрыгнул на землю и, не привязав Ферделе, кинув ей лишь немного сена на завтрак, схватил мешочек с талесом и тфиллин, и побежал молиться. Его седок, ворча и отряхивая с себя сено, привязал клячу укорыта, протянувшегося вдоль ограды синагогального двора, плеснул несчастной скотине воды из бочки и снова лег на телегу, укрывшись сеном. Сделал он так оттого, что все проходящие мимо жида опасливо глазели на него, широко распахнув и без того выпученные очи свои, и отворив рты, ибо козак был в их глазах притеснитель и убийца, коего следует опасаться, обходя, по возможности, стороной.

Реб Янкл помолился, не спеша снял с плеч пожелтевший от старости талес¹ и укладывал теперь в мешочек тфиллин², доставшиеся ему еще от тестя его, реб Мендла из Немирова. Вдруг какой-то ид обратился к нему с речью:

- Вус махт а ид³? Как поживаете и откуда держите путь?

- Мое имя Янкл по прозвищу Франкфурт из Яновки, а еду я в Варшаву по делам. Ищу вот, нет ли где товара, чтобы купить в Казимеже и выгодно продать в Варшаве.

- Что вы говорите! - с живостью вскричал спрашивавший, рыжий «а ид» лет тридцати в черном еломке, из-под которого выбивались вьющиеся пейсики. - Не вы ли реб Янкл, зять реба Мендла из Немирова? Теперь, видите ли, везде строят крепости и костелы, а для этого нужен красный кирпич. Ваша

¹Талес – молитвенное облачение, называемое обыкновенно у Гоголя жидовской попоной или жидовским саваном.

²Тфиллин – молитвенные принадлежности в виде коробочек с отрывками из Торы.

³Вус махт а ид? – как дела у еврея? (идиш)

честность в делах идет впереди вас, тут не требуется и поручителя. Я договорился с моим компаньоном, гоем из Варшавы, что поставлю ему партию кирпича, и купил немного по сходной цене. Но сам я ехать не могу – жена моя, дай Бог ей здоровья, родила сына, и брис¹ через пять дней.

- Ой, мазл тов²! – крикнул Янкл. - Пусть у вас и у нас будут только хорошие вести! Дай Бог до ста двадцати и вам, и вашему дому, и вашему отпрыску! Пусть взойдет он к Торе, к хупе и к добрым делам!

- А данк³, а данк, - отвечал реб Хаим Ганновер (так звали собеседника Янкла), - весь кирпич, конечно, вы не увезете, но возьмите хоть часть. Остальное уж передам с другой оказией, ведь и другие едут теперь в Варшаву. Я дам вам хороший процент. Передайте кирпич моему компаньону, он заплатит вам пятьсот цехинов. Половину оставьте себе, а другую передайте мне на обратном пути.

Реб Янкл и реб Хаим вышли на двор, где Ферделе меланхолически жевала сено, не глядя по сторонам.

- Эге, да ваша лошаденка не дотянет до Варшавы. Где ей утащить и телегу, и вас, и кирпичи... и такого важного седока, - добавил реб Хаим, увидев вдруг багровое лицо Бульбы, высунувшееся из сена. - Я дам вам двух моих коней. Вы человек достойный и будете беречь их, как своих.

Янкл распряг Ферделе, передал ее ребу Хаиму и вскоре уже запрягал цугом двух низеньких и крепких коней. Тарас Бульба улегся на прежнее место, Янкл сел на переднего коня, и вся торжественная процессия двинулась к городским воротам. Янкл запасся и провиантом на пару дней пути, рассчитывая за это время добраться до Варшавы. Добрые кони должны были довести их куда быстрее, чем хилая и ненадежная Ферделе.

Дорога шла теперь берегом Вислы, и показались уже красные стены Кракова. Янкл обратился к Тарасу Бульбе:

- Пане полковнику! На пути у нас шляхетские заставы. А гайдуки, зная наши обычаи, ни за что не поверят, чтобы жид ничего не спрятал в телеге. Захотят они покопаться в сене, да, не ровен час, ткнуть в него саблей или палашом. Давайте-ка мы сложим сено в мешок, а вас укроем рогожей, да положим на нее сверху кирпичи. Пан здоровый, выдержит. В кирпичах копаться никто не станет.

¹Брис, иначе брит-мила – обряд обрезания.

²Мазл тов, иначе мазаль тов – счастливых звезд. Пожелание счастья.

³А данк (идиш) – спасибо.

Он укрыл Тараса рогожей, уложил кирпичи, стараясь не наваливать их один на другой, но класть так, чтобы все они покрывали тело козака и не давили бы слишком сильно в одном каком-нибудь месте. Ведь раны Эйсава, хоть и затянулись со временем, могли открыться под действием тяжести, и тогда уж Янкл не довез бы его так скоро до Варшавы. Сено сложил он в мешок, мешок сунул в ящик из-под кирпичей, и поезд снова тронулся в путь.

Янкл вовремя произвел свои маневры, потому что на дороге показалась застава из двух здоровенных гайдуков, перегородивших путь бревном и стоящих перед ним с обнаженными саблями. Один из них часто-часто моргал, словно был подслеповат, а другой, рыжий, с тонкой, как будто лисьей, мордочкой, слегка прихрамывал, прохаживаясь взад и вперед вдоль бревна.

- А вот и славненький, богатенький жидочек! Что везешь, жидок? – обратился подслеповатый гайдук к Янклу.

- Вот, кирпичи для стройки, ясновельможный пан, - отвечал Янкл.

- А куда ж ты едешь, жид? – спросил гайдук. - Не в Краков ли?

- Ни, ясновельможный пан. Я еду в Варшаву.

- А, так ты далеко собрался. Не может быть, чтобы жид ехал далеко просто так. Небось, задумал уже купить в Варшаве кой-какого товара. Небось, и гроши уже приготовил, а?

С этими словами гайдук потянулся к кожаному кошелью в виде кисета, привязанному к поясу Янкла. Тот живо развязал кошель, где лежали пять золотых монет, и сунул каждому гайдуку по две монеты.

- Всего-то по две на брата? – разочарованно протянул первый гайдук. - А ну, показывай, сколько там у тебя грошей?

Янкл с готовностью показал гайдукам кошелек, где оставался всего один цехин. Основной его капитал был подвязан к днищу телеги, и еще одну нычку просунул он под седелку второго коня.

Не успели гайдуки отнять у Янкла кошелек, как на дороге раздался молодецкий посвист и стук копыт. Кто-то скакал к ним со стороны Кракова. Не раздумывая, гайдуки вскочили на коней и, перемахнув через лежащее на дороге бревно, ускакали в сторону Казимежа. Вслед за ними, также перелетев через преграду, пронеслись другие гайдуки, одетые куда пышнее прежних. Они не обратили ни малейшего внимания на Янкла и его телегу.

- Э, пане полковнику, - прошептал Янкл, наклонившись к кирпичам, - то не застава была, а засада. То были просто газлуни, разбойники, что собирают мзду со всякого прохожего и проезжего. А погнали их настоящие панские слуги, ибо негоже всякому сброду отбирать у панов их законную пошлину.

На исходе дня они снова остановились в поле. Внизу тихо лилась Висла, неспешно неся ясные воды свои в сторону Варшавы. Рыбаки выбирали из сетей дневную добычу. Рыбья чешуя сверкала в свете вечерней зари розовыми лепестками, и такой же рдяной чешуей покрылась под ветром вся река, словно сделанная из карасей и плотвы. Бульба вновь развел костер, поставил на него котелок с гречкой, купленной Янклом в Казимеже. Пока варилась каша, он принялся жевать свиное сало, и откусывать большие куски от целого хлеба, также купленного Янклом в лавочке на Шерокой улице.

- А скажи мне, Янкель, - спросил он, - правда ли, что ты хотел выкупить брата моего Дороша из турецкого плена?

- Не я, пане полковнику, а пан Магницкий. Дорош был его компаньоном в делах, вот он и решился освободить его. Только пан Магницкий к тому времени проигрался в карты другим благородным господам, и оттого не имел денег. Вот он и попросил их у меня. Целых восемьсот цехинов, и обещался отдать с процентами. Он послал в Туретчину своих гайдуков, и те выкупили пана Дороша. Но, на беду, тот уже болел какой-то болезнью и умер в дороге. И вот, когда пан Магницкий узнал, что пан Дорош умер, то не захотел вернуть мне ни проценты, ни мои восемьсот цехинов. Отдал только четыреста, и я еще должен был благодарить Бога за то, что не затравил меня пан своими псами, как это часто бывает с заимодавцами. Ведь легче убить жида, чем вернуть ему долг.

- Я уплачу тебе четыреста цехинов сверх обещанных трех тысяч, - сказал Тарас Бульба, - вернуться бы только невредимыми.

Наутро они снова тронулись в путь. Крепкие казимежские кони резво бежали по дороге, телега, хоть и тряслась по ухабам, но все же летела вперед, как будто у нее отросли крылья. В воздухе сладко повеяло липовым цветом, и Янкл невольно залюбовался нарядными кудрявыми деревьями на обочине дороги. Тут же он вспомнил слова мудрецов: "Если кто, идя дорогою, говорит: как красиво это дерево, - такой человек теряет Грядущий мир". Янкл отвернулся от

деревьев, но гнетущее чувство потери всё же не давало ему покоя. Вспомнив, какое благословение следует произносить в таком случае, реб Янкл прошептал: "Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, творящий благоуханные деревья". Ему стало немного легче, гнетущее чувство прошло, но - как оказалось всего через несколько минут, - то было не чувство, а предчувствие. На дороге их ждала новая засада. На сей раз гайдукам не пришлось даже перегораживать тракт бревном, потому что их было не двое, а шестеро, и они преграждали путь, стоя в ряд поперек дороги конным строем.

- А кто же это едет сюда? – вкрадчиво и как бы даже ласково заговорил один из всадников. - А это жид, сам собой по веревочке бежит. И какие же у него добрые кони! А скажика, Лешек, а на что такому обтерханному жиду такие добрые кони?

- Да ни на что, - отвечал тот, кого звали Лешек. - И даже как бы оскорбление это для таких добрых коней, что везут они не христианина, а поганого жида. Поношение это для таких славных коней, как ты считаешь, Войцех?

- Точно, - отвечал Войцех. - Ни к чему жиду такие кони, а таким коням ни к чему жид. И зачем бы это жиду ездить цугом, точно шляхтичу или даже самому крулю? Он должен сам тащить свою телегу, как тащил крест господь наш Иисус Христос!

- Ясновельможные паны! – вскричал Янкель. - Если нужно заплатить пошлину, я заплачу! Только коней не забирайте, это не мои кони, я взял их у одного человека.

У Янкла был припрятан еще один кошель с деньгами под кафтаном. Нычки покрупнее – ту, что под седелкой, и ту, что под телегой – ему не хотелось обнаруживать в присутствии гайдуков.

- Да на что нам твои жидовские гроши? И кони, говоришь, не твои, значит, ты их украл, – сказал Войцех, слезая с коня, и взял под уздцы первую из двух лошадей Янкла. Он похлопал ее по крупу:

- Добрый, добрый конь, не для жида!

Оттолкнув реба Янкла так, что тот полетел в придорожную канаву, гайдуки принялись распрягать коней. Всю старую конскую сбрую они швырнули на дорогу.

- А ну, жид, берись за оглобли! – приказал Лешек.

Янкл взялся за оглобли, но куда ему было утянуть тяжелую телегу, груженную кирпичами и толстым казаком! Янкл молил Бога только об одном: чтобы Бульба не вылез

из-под кирпичей и не принялся размахивать саблей. Хоть и был он славный рыцарь, но на старости лет вряд ли одолел бы шестерых дюжих молодцов. Гайдуки или разбойники – отличить одних от других в самом деле было трудновато – заливались хохотом, глядя, как Янкл пытается стронуть телегу с места.

- Ну ладно, Яцек, пожалей жида, - сказал вдруг Лешек, - подари ему одного конька.

Янкл подошел было к своему коню и хотел взять его под уздцы, но Войцех ловко прыгнул жеребцу на спину и пришпорил его. Конь взвился и, опускаясь, чуть на зашиб Янкла копытом. Янкл увернулся, но не удержал равновесия и свалился в дорожную пыль под хохот эдомитян.

Не успел реб Янкл встать на ноги и отряхнуться, как шестерка разбойников умчалась прочь, уводя за собой краденых коней, но оставив на дороге выпавший из-под седла кошель с деньгами.

Убедившись, что они скрылись из виду, Янкл наклонился над телегой и проговорил:

- Пан, вставайте. Придется пока что тянуть телегу самим.

Тарас Бульба зашевелился, зашевелились и кирпичи, и пара из них перевалилась за борт телеги. Казак встал, отряхнулся и простонал:

- Вот же бисовы дети эти ляхи! Чтoб они сдохли, чтoб весь их род сдох! Какого лешего вздумалось мне ехать с жидом! Жида всякий норовит остановить и ограбить! Чтo нам теперь делать, Янкель?

- Давайте, пан, оттащим телегу вон в тот лесок. Только подальше, чтoбы не видна была с дороги. А потом вы останетесь в телеге, а я пойду, поищу какую ни на есть корчму. Уж там мне подскажут, где купить коня.

Янкл впрягся в оглобли, а казак принялся толкать телегу сзади, сильно налегая на нее могучей грудью. К удивлению козака, тощий на вид Янкель вдруг потянул немалый груз ничуть не хуже свой лошаденки. Тарас Бульба напирал сзади, точно бык, и они, хоть медленно, но все же продвигались в глубь леса по еле намеченной пешей тропе. Оба выбились из сил, вспотели и измаялись. Но вскоре дорога пошла под гору, и телега катилась теперь чуть веселее. Они ушли уже довольно далеко от дороги. Пора было остановиться и перевести дух.

- Чтo за чертовщина! – вдруг крикнул Тарас, останавливаясь на месте и отирая лоб рукавом сорочки. Деревья перед ними расступились, и они вышли к самой

настоящей пустыне. Вокруг, куда ни глянь, тянулись песчаные барханы, золотясь на солнце до самого горизонта.

- Ты колдун, Янкель! – вскричал козак. - Ты силой колдовства своего затащил меня в Аравию али в Святую Землю, откуда Господь изгнал вас за то, что не признали вы господа нашего Иисуса!

- Ох, пан! Я был бы рад оказаться в Святой Земле и припасть к камням Иерусалима! Уж я целовал бы их, каждый из них омыл бы слезами и покрыл поцелуями, но только мы не в Святой Земле. Мы в Блендовской пустыне неподалеку от Кракова. Много раз слышал я о ней, но видеть не приходилось. Хорошо одно: копыта коней вязнут в песках, поэтому гайдуки сюда не доберутся. Давайте оставим здесь телегу. Я пойду на поиски дороги к ближайшей корчме, а вы пока побудьте здесь.

- Добре, жид, только давай сперва поедим чего-нибудь. Может быть, в лесу есть грибы и ягоды.

Оставив телегу на краю пустыни, они вернулись в лес, где и вправду нашли пару сыроежек, которые тут же сжевали вместе с хлебом и запили припасенной на дорогу водой. Вдруг им послышался хруст веток. Кто-то ходил по лесу за их спинами. Козак тут же вскочил на ноги и навел ружье свое на фигуру, мелькнувшую меж деревьев. И вдруг, опустив ружье, заорал что есть мочи:

- Мирла, Мирла, это ты?! Что ты тут делаешь?!

5.

- Траву собираю, пан, - отвечала та, которую Тарас назвал Мирлой. То была известная всей Польше знахарка и травница Шейне-Мирл. Когда-то она выходила полковника Бульбу, изрубленного в бою так, что он уже и не чаял остаться в живых.

- Чего ж ты тут ее собираешь? Ты ж не отсюда? – продолжал допытываться Тарас, свирепое лицо которого приняло почти ласковое выражение.

- А здесь, пан, рядом с пустыней, растет трава иссоп, та, что помогает от многих хворей. Зимой живу я в Хелме, а летом в избушке здесь неподалеку, и собираю травы.

При взгляде на Мирл трудно было определить, сколько ей лет. У нее была дородная фигура бабы лет сорока и детское, круглое лицо с мягкими щеками и пухлым подбородком. Несколько выпуклые очи и приплюснутый нос делали ее похожей на черепаху. Сходство усиливалось благодаря кружевному чепцу, из-под которого Мирл выглядывала, как

обыкновенно выглядывает черепаха из-под своего панциря. Когда она нагнулась за травой, одна из бархатных наушниц, прикрывавших ее виски, отогнулась, и Янкл увидел, что волосы знахарки совершенно седы. Была ли она сорокалетней женщиной, старухой или отроковицей, сказать не представлялось возможным. Янкл вспомнил, что такое бывает, по словам его покойного тестя, у ведьм, и ему стало не по себе.

- А вы, паны, что делаете здесь, вдали от людского жилья? – спросила Мирл.

Реб Янкл не стал дожидаться зачина медленной и важной речи козака. Он торопливо пересказал по-ашкеназийски события последних дней.

- Солнце уже перевалило на вторую половину неба, - сказала Мирл, - пойдете ко мне, господа хорошие. У меня вы и поедите, как следует, и почиститесь. Вон у вас, реб Янкл, рубашка уже почернела, а кафтан, наоборот, побелел. Негоже в таком виде въезжать в столичный град Варшаву.

Она присвистнула, словно подзывая к себе собачонку, и оба путешественника обомлели, когда телега вдруг тронулась с места, въехала в лес и побежала за Мирлой, как бегают домашние собаки. Будь у телеги хвост, она, верно, виляла бы им, подобно собаке.

- Эге, Мирла, да ты ведьма! – только и сказал козак.

- Не можно, пан. Наша вера не позволяет нам колдовать, - отвечала Мирл, - я не колдую, это оно как-то так само получается.

- Талмуд говорит, что все женщины – ведьмы, - задумчиво проговорил реб Янкл.

- Как же может быть, чтобы вера запрещала вам колдовать, а все ваши бабы были ведьмы? – оторопел козак.

- Да, бабы, пан, разве за ними уследишь? – отвечал Янкл. Бульба захохотал.

- Это верно, Янкель! От этих баб одни напасти на белом свете!

Они шли за телегой, а та покорно бежала за Мирл, и вскоре все они вышли на темную поляну, окруженную мертвыми черными елями. На земле у них под ногами лежал блестящий, как антрацит, ковер из слежавшихся потемневших игл. Перед ними стоял бревенчатый дом, более похожий на избу москаля, чем на хату украинца или поляка. Перед домом чернел старый колодезный сруб, а чуть поодаль зиял распахнутый настежь сарай, в котором коза жевала сено, насыпанное в корыто.

- Чего ж ты, Мирла, живешь в таком гиблом месте? – спросил Тарас. - Тут и огорода не заведешь.

- А оттого я тут живу, пан, - отвечала Мирл, - что местный шляхтич отдает эту землю безо всякой мзды. А за хорошую и добрую землю я платила бы аренду.

Они вошли в избу. Хотя на улице стоял еще белый день, в избе с ее единственным крохотным слюдяным окошком царил полумрак, и Мирл тут же запалила каганец – глиняный черепок, налитый бараньим жиром. По стенам заплясали световые пятна и тени. Янкл увидел, что под самым потолком у Мирл тянутся доски, а на них стоят жбаны, сулеи, бутыли, фляги и прочие сосуды, наполненные микстурами, эликсирами и сушеными травами, растертыми в труху. На них приклеены были ярлыки с надписями: "от головы", "от живота", "от сердца" и "от всего".

- Садитесь-ка, паны, за стол, - приказала Мирл, - сейчас я вас угощу.

Она сняла с печи завернутый в одеяло котел, развернула одеяло и принялась накладывать в миски гречневую кашу, еще хранившую тепло утренней стряпни.

Когда они немного поели, Мирл спросила у старого козака:

- Как же случилось, пане Тарас, что ваш сын Остап, такой храбрый рыцарь, попал в плен к ляхам в Варшаву?

Тарас Бульба крикнул, опечалился, отер кулаком длинные усы свои и начал рассказ:

- Был у запорожских козаков курень Домаха, и стоял он на реке Кальмиус, при впадении ее в Азовское море. Неподалеку от Домахи выстроил и хан Авладыр Гирей свою крепость Авладыр-сарай. Оттуда совершал он набеги на окрестные земли, мечтая захватить весь Крым, а уж после отправиться походом далее на Украину. Только козаки Домахи мешали ему. Чуть выйдет он со своим войском из Авладыр-сарая, как бросаются наши рыцари ему наперерез, и не дают идти войной на Русь. Но шло время, и многие славные воины полегли в сражениях с Авладыром. И тогда мой Остап, куренной атаман, решил пойти со своим куренем к Азову и помочь братьям. Слились оба куреня вместе и составили новый. Назвали они его Азовским станом, а для краткости - Азов-стан.

Авладыр-хан стал думать, как одолеть ему азовитян. В азовском курене был один воин, отменный, надо вам сказать, стрелок из ружья. Звали его Грицько Мокроус. Только сильно любил он золото, и оттого переметнулся к

Гирею. И тогда потерял он свое честное козацкое имя. Стали козаки называть его гирейкиным прихвостнем, а после – просто Гирейкиным. Этот Гирейкин раз приехал к Азов-стану, стал в поле и кричит: «Братья, я с миром приехал! Авладыр-хан хочет мириться с вами! Нет мочи воевать! Давайте заключим союз, а за то хан Гирей обещается не ходить походом на Русь!»

«Какие мы тебе братья, собака?! – отвечают ему козаки. - Иди к своему Гирею, чортово семья!»

Но все же собрались на сход и стали судить-рядить, слушать им гирейкины речи или не верить ему, собаке. Наконец порешили: половина козаков поедет с Гирейкиным к хану, а другая половина останется в козацком стане. Остап и его курень остались в стане. А тех, что поехали к Авладыру, принял хан у себя во дворце с великими почестями, как, к примеру сказать, графов или князей. Хоть он и магометанской веры, но нашлись у него и дорогие вина, и яства самые изысканные, и такой табак для люлек, что козаки, покурив, разомлели. Стали хохотать, как полоумные, песни петь и брататься с ханом. А тот им и дев прекрасных вывел из своего гарема – берите, мол, не жалко. Хоть и известно всем, что от баб одно горе, но не удержались козаки. Расхватали татарок, персиянок и черкешенок, и давай бабиться с ними по всем углам. Тьфу, прости Господи!

Наутро хан им говорит: «Отправляйтесь, милые братья, к себе в стан, примите только от меня дорогие подарки. В знак нашей дружбы и любви». И велел своим слугам подать каждому козаку по паре шаровар синего аглицкого сукна и по красной свитке из дорогой парчи, что горела на солнце червонным золотом, ослепляя всех, видевших ее. Козаки тут же переоделись в хановы подарки. Только никто из них не доехал до Азов-стана. Все умерли по дороге и свалились с коней прямо в ковыль. Говорят, те красные свитки были заколдованные, их принесли хану черти из ада.

- Да как можно?! – закричала Мирл, всплеснув руками. - Не заколдованные они были, а отравленные! Ведь Авладыр - известный всему миру отравитель! Он пропитал бесовские подарки свои ядом дерева кочивон - самого ядовитого растения во всей Вселенной, даже еще более ядовитого, чем анчар! Как можно было верить Гирею?!

- Когда кони прискакали к Азов-стану без всадников, козаки всё поняли и принялись рыть вокруг лагеря ров и возводить фортификации. Но они не успели толком закончить работу, как уже пошел Авладыр на них в поход.

Долго штурмовал он Азов-стан, и в конце концов, убив множество козаков, взял остальных в полон. Среди них был и мой Остап. А уж как Остап и его товарищи попали в Варшаву – того я не ведаю. Может, обменял их Авладыр Гирей на пленных татар, какие еще находились у ляхов с прошлой войны. И что теперь ляхи сделают с моим сыном и другими азовитянами - неведомо мне. Может, казнят, а может, снова продадут или обменяют у турецкого султана на какое добро.

- Вам треба ехать до Варшавы, - сказала Мирл, - но поедете вы, пан, не раньше, чем я осмотрю ваши раны. Вы долго лежали под кирпичами, и я должна знать, что швы, какие я прошила шелковыми нитями по вашему светлейшему телу, целы и не загноились. Давайте-ка, пан Бульба, я вас осмотрю, а вы, реб Янкл, готовьтесь в дорогу. Молитесь минху, пока солнце не село, и пойдём в Пискаревку, где стоит корчма моей мехутенесте, сватьи. Если где искать коня, то только там.

Тарас сбросил рубаху, и знахарка осмотрела его, близко поднося каганец к многочисленным рубцам на его животе, груди и спине.

- Вы, пан, весь в синяках от кирпичей, но швы мои крепки. Давайте я смажу вас мазью с травой иссоп, а после полезайте-ка на печь. Будете разогревать мазь на ваших синяках, пока не вернусь.

6.

Выйдя из леса и пройдя немного по деревенской дороге, Янкл и Мирл подошли к местечку Пискаревка. Еще издали, с высокого пригорка, открылся им вид на корчму, из трубы которой, несмотря на летнее время, поднималась тоненькая струйка дыма, похожая на длинную седую чуприну козака, подхваченную ветром.

- То моя сватья коптит рыбу, - пояснила Мирл, - ни у кого в целой стране Пойлин нет такой рыбы. И копченая, и соленая, и фаршированная, и вареная. А какое у нее пиво! Сейчас сами попробуете, реб Янкл.

Над входом в корчму Рухл – так звали хозяйку – и вправду висели три рыбки, искусно вырезанные из дерева таким образом, что каждая их чешуйка выдавалась отдельно.

Лишь только реб Янкл взошел в корчму, как увидел двух давешних гайдуков – хромого и подслеповатого. Они сидели у мутного слюдяного окошка и ели рыбу, причмокивая от удовольствия. Реб Янкл, не желая быть узанным, глубоко

надвинул еломок на очи свои и уселся за дальний от входа стол спиной к гайдукам. Мирл села напротив. Рухл, радостно приветствуя гостей, тотчас принесла по кухолю холодного пива и по куску фаршированного карпа, щедро сдобренного имбирем, черным перцем, сахаром и луком. По краям глиняных тарелок, на которых лежала рыба, насыпан был еще и хрен со свеклой, яркий, как жупан столичного щеголя. Янкл не столько ел, сколько прислушивался к разговору гайдуков.

- А давай, Василь, бросим все и подадимся в Крым, - говорил тот, что прихрамывал, - назад нам всяко дороги нет.

- А что мы, Олекса, будем делать в Крыму? – спросил подслеповатый.

- Дурень ты, Василь, - отвечал Олекса, - сядем на корабль и уплывем в Геную али Ливурну. Подале от Речи Посполитой. Ведь здесь нас панна Хелена всегда сыщет. И что она сделает с нами, одному Богу известно. Заточит в свой каземат, а оттуда живым еще никто не возвращался.

- Да, дело ты говоришь. Только грошей у нас маловато. Жиды-то мы не обчистили, как следует. Мы даже не знаем, тот ли это жид был.

- Тот или не тот, какая уже разница? Вставай, пойдем, пока ноги несут.

С этими словами Олекса швырнул на стол золотую монету – должно быть, одну из тех, что ехали из Яновки в кошельке ребя Янкла. Гайдуки-разбойники вышли из корчмы и скрылись за углом.

- Сидите тут, реб Янкл, - приказала Мирл, - я пойду, потолкую с Рухл.

Через некоторое время она вернулась и сказала:

- Тут один цыгойнер торгует каурого жеребчика. Просит пятьдесят цехинов. Цыгойнер теперь на дворе корчмы, а конь на конюшне.

Реб Янкл, осмотрев коня, объявил, что не даст более тридцати цехинов. Они долго торговались и сошлись на сорока.

Уже совсем стемнело, и звезды, точно искры божественного костра, осыпали все небо, когда Янкл въехал на двор знахарки Мирл. Сама Мирл шла следом за конем, удивительно резво поспевая за его быстрым шагом. Впрочем, она могла бы и полететь, и даже без метлы – Янкл уже совсем был уверен в ее колдовских чарах.

Заслышав ржание коня, козак слез с печи и вышел на двор, распространяя вокруг себя крепкий дух целебной мази,

разогретой печным теплом. Янкл ехал верхом без седла, довольно ловко обхватив бока жеребчика своими длинными ногами.

- Эх, Янкель! – воскликнул козак. - Не родись ты жидом, ей-богу, добрый козак был бы, ей-богу, добрый!

- Садитесь-ка, пан, вечерять, - велела Марл, - я купила у сваты немного рыбы, и есть еще у меня казан с редькой в сметане. Путь завтра предстоит тяжелый. Хоть покажу я короткую дорогу на Варшаву, а все равно придется вам, пан, лежать под кирпичами, потому что и там можно встретить таких молодцов, которым очень хочется заработать две тысячи цехинов.

За ужином Тарас Бульба сказал:

- Совсем старый я стал, совсем обабился. Гнетет меня тоска. Тяжело мне на сердце. Расскажи ты мне, Янкель, еще какую-нибудь диковинную сказку из тех, что вы, жида, рассказываете на исходе субботы.

Янкл поскреб пейсики и начал:

- Вот вы, говорите, пан: красные свитки. А вот послушайте майсу, какую рассказывали наши жида в местечке Яновка. Когда-то сам я выстроил эту Яновку. Малым хутором она была, а стало местечко не хуже других. И сделалась у нас со временем такая ярмарка, что хоть бы и самим Сорочинцам впору. Полным-полно возов, и на них пшеница, и рожь, и мука кукурузная, и вино всякое, и ятки по сторонам, а в них плахты, и юбки, и запаски, и мониста, и очипки, и дукаты, и все, что нужно бабам. Народу всякого видимо-невидимо – жида, ляхи, украинцы, гуцулы, цыгане и татары, и даже москали-коробейники наезжали, хоть путь неблизкий. И поселился у нас один человек. Так, с виду, человек как человек – в кафтане, мерлушковой шапке, сапогах и всем прочем. Только под шапкой у него были рожки, а под сапогами – птичьи лапы. И жил он в заброшенном сарае подле базарной площади.

А того чорта прогнали из пекла. За что прогнали? Видите ли, пан, адское пламя горит всю неделю, а в канун шабеса его гасят. Потому что не должен гореть в шабес огонь, ведь по повелению Господа не должно в святую субботу страдать никому, даже грешникам в аду. И в субботу треба всем отдыхать, не исключая и чертей. Сказано в Торе: "В субботу огня не зажигайте". Оттого наши женщины зажигают субботние свечи загодя. Как только последняя иудейка зажжет свечи и произнесет над ними благословение свое, тотчас же гаснет пекло, и грешники перестают мучиться. Ну,

а этот чорт возьми, да и не погаси огня. И горело адово пламя на целый час дольше, и грешники на целый час дольше мучились. И за это изгнали того чорта из пекла. И оказался он у нас в Яновке. Вскоре пропил он все деньги, бывшие при нем. Хоть и говорят, что у чертей вместо денег луковая шелуха, и, когда они дают ее в уплату любому – хоть цигайнеру, хоть христианину, хоть жиду – кажется тому, будто это червонцы. Но и луковой шелухи не осталось уже у чорта. И пошел он к одному нашему яновскому жителю, ребу Кугелю, чтобы заложить кой-что в обмен на деньги. Настоящие деньги, не шелуху, ибо чорт до поры скрывал от людей, кто он таков на самом деле. Такой заклад называется у нас "пикадон". Как хранить пикадон – это целая наука. Ей посвящена отдельная глава в одном из трактатов Талмуда. Там сказано, когда пикадон считается утерянным, и хозяин не несет за это кары и не платит штрафа, а когда – нет.

Тот чорт отдал ребу Кугелю свою свитку. Из хорошего такого алого сукна, как вот ваши шаровары, пан Бульба. А реб Кугель об ту пору готовился к празднику Пейсах. На Пейсах нужно очистить весь дом от квасного хлеба, и даже от следов квасного. Поэтому наши хозяйки до праздника выволакивают все добро из домов во двор, моют в пустой хате полы, шкафчики и полки, а после всю посуду и всё, что в доме. Потом полы застилают соломенными циновками, чтобы они уж не пачкались до праздника...

- Да хватит уже морочить мне голову вашими жидовским обычаями, - нетерпеливо пророкотал козак. - Давай уже, рассказывай дальше!

- А дальше жена реба Кугеля вытащила все добро во двор, но заклады, что хранились у ее мужа по шкафам и полкам, не сложила в отдельный сундук, а раскидала там и сям. И красная свитка, что была пикадоном, пропала среди вещей. После Пейсаха чорт явился за своей свиткой. Хватились свитки – нет ее! И там, и сям искали – нет свитки! Чорт помялся, помялся, схватил в когтистые свои лапы горсть луковой шелухи, да и ушел.

Вот стали наши жиды молиться в синагоге, глянь, а окна растворились, и в окнах свиные рыла! Святая община побросала книги, и все с воплями ринулись из дома молитвы, и бегом домой! Только свиные хари их и дома не оставляют, лезут в окна, а в доме, пан, нельзя ничего есть, нельзя и благословить ничего, и молиться нельзя, если в доме свинина. И все побежали тогда к нашему раввину.

Раввин поискал в книгах и объявил: «Не взял ли кто-нибудь из вас без спроса чужой вещи?»

Ну, думали, гадали, рядили, а потом реб Кугель сознался, что потерял пикадон. Раввин открыл Талмуд и говорит: «Если вещь пропала в доме, затерялась среди других вещей – это не пропажа. Это значит, она у вас, и вы должны заплатить ее хозяину штраф».

«Да как ему заплатить, если он – чорт?» – спрашивает реб Кугель. «Чорт не чорт, а платить надо», - отвечает раввин. Реб Кугель пошел к старому сараю, где жил нечистый, и оставил ему денег. И с тех пор свиные рыла уже не лезли в окна наших яновских обывателей.

Реб Янкл на минуту перевел дух и заметил, что полковник Бульба спит, опустив голову с седой чуприной на руки, сложенные на столе. Знахарка Мирл жестом позвала Янкла на двор.

- Реб Янкл, я дам вам одну вещицу. Долго хранила я ее у себя. Но теперь даю вам, потому что вам она может пригодиться, а еще потому, что вы кажетесь мне честным человеком. А эта вещь не должна попадать в преступные руки.

Она вынула из глубокого кармана своего фартука деревянную коробочку. Раскрыла ее. В коробочке поверх старинного бархата лежал медный ключ. При свете луны и звезд Янкл заметил на нем следы облезшей от времени позолоты.

- Что это? – спросил он.

- Это ключ, подходящий к множеству дверей, - отвечала Мирл.

- Как может быть, чтобы один ключ подходил к множеству дверей? – спросил Янкл.

- Этот ключ заклил каббалист реб Йойсеф из Брод. Ключ меняется, когда подносишь его к замку. Но брать его в руки может только честный человек. У разбойника то будет не ключ, а воровская отмычка. А у честного человека он служит заповеди вызволения плененных. Быть может, вы сумеете освободить Остапа и других азовитян. Хоть Тарас Бульба наделал немало дел, и притом злых, но жаль мне его, а особенно жалко сына его молодого и старуху-жену. Один сын у нее остался, да и тот в плену.

- Ребецн Мирл, - спросил Янкл, - а кто такая панна Хелена?

- Ой, не спрашивайте, - Мирл замахала на Янкла руками, - то страшная женщина. Мир еще не видел такой жестокой и

безжалостной женщины. И не дай Бог вам встретиться с ней. И знайте, что, если появится опасность оставить ключ в ее руках, лучше просто выкинуть его на дно реки или озера. Завтра езжайте на север. А потом сверните за запад, я объясню вам, где...

7.

Через два дня реб Янкл и его пассажир, спрятанный под кирпичами, въехали в Варшаву на телеге, запряженной каурым жеребчиком. Благополучно пройдя сквозь кордон при городских воротах, они двинулись в сторону Крохмальной улицы, которую одни называли Грязной, а другие просто Жидовской. Крохмальна не отличалась ни шириной, ни пестротой, как главная улица Казимежа. Она вся была заставлена мрачными, довольно высокими двухэтажными домами, над которыми кое-где надстроили еще и третий этаж, ибо жидам не дозволялось расширять границы своего квартала, и оттого он рос всё выше и выше. Окна противоположных домов глядели друг в друга, как продавцы и покупатели глядят друг другу в очи, сойдясь для торгов в базарный день. Над головами прохожих нависали тяжело нагруженные бельевые веревки с талесами, украшенными по углам длинными кистями; бабьи юбки, и детские рубашонки да штанишки. Прохожие то и дело уворачивались от помоев, льющихся вниз из окон прямо по обветшалым стенам. Из верхнего окна выглядывало личико хорошенькой «идене» в чепце, расшитом по очелью мелким потемневшим жемчугом. Улицы, в старые времена кипевшие от множества народа, теперь были наполовину пусты, ведь идн, боясь нашествия козаков, подались из Варшавы на запад, в Богемию и Моравию.

Возле огромной, как озеро, лужи воробьями расселись мальчишки. Они играли в камешки, любимую игру здешних детей. Положив на тыльную сторону левой ладони пять мелких камешков, они подбрасывали их вверх ударом правого кулака под ладонь. Камешки взлетали ворохом, и нужно было поймать их, быстро перевернув ладонью вверх левую руку. Мало кому удавалось словить хотя бы два камня. Но вот Янкл заметил мальчишку лет десяти, схватившего аж четыре под счастливый визг сотоварищей. У дитяти был ясный и острый взгляд черных очей, пейсики струились по его румяным щечкам, выбиваясь из-под бархатного еломка. «Ловок парень, - подумал Янкл, - а ведь он ровесник моей Енты. Так ли он быстр в учении, как в игре?

Надо бы узнать, чей он. Теперь моей Енте девять лет, через три года мы начнем сватать ее, чтобы успеть отдать замуж к четырнадцати годам. Вот бы его моей дочке...».

Они добрались до дома, из нижнего окна которого высунулось лицо «а ида», очень похожего на Янкла, только чуть более кряжистого и с чуть более округлым лицом. Это был реб Довид Франкфурт, старший брат Янкла. Он появился на свет всего на год раньше брата, но Янкл и Довид ходили друг на друга, как близнецы, и многие путали их, когда они вместе являлись в синагогу.

- Янкеле, Янкеле! Как хорошо, что ты приехал! – закричал Довид, выбегая из дома. Братья обнялись.

- Ну, как твое здоровье, как твой дом, как дети? У нас, слава Богу, все хорошо. А знаешь, в нашем доме учения стало совсем мало идн, все разбежались, кто в Богемию, кто в Моравию, а кто в Валахию. В шабес мы еще можем кое-как собрать миньян¹, а в будние дни так нет и миньяна. Хорошо, что ты приехал, - говорил Довид.

Они поднялись по лестнице, Тарас пошел за ними, гремя саблей по ступенькам. Янкл и Довид вошли в довольно просторную комнату, всю середину которой занимал длинный стол. Козак стянул шапку и уселся в углу на лавку. Его тотчас же обступили хозяйские дети. Один тянулся к сабле, другой норовил потрогать пистолет, заткнутый за пояс, третий перебирал тонкими грязными пальчиками складки на шароварах алого сукна, шириной напоминавших Черное море. Какая-то уж совсем мелкая девчонка взобралась козаку на плечи и теребила чуприну, удивляясь, отчего это у «а ида» свисают с головы два локона, а у гоя – только один. Реб Довид грозно прикрикнул на нее: "Шоша!", и она кубарем скатилась вниз, а вслед за ней и все детишки порскнули по углам, точно мыши.

- Зачем ты привез этого? - спросил Довид по-ашкеназийски, едва кивая головой в сторону козака.

- Это пан Тарас Бульба. Когда-то он спас мне жизнь, а теперь его сын Остап сидит в здешней темнице вместе с другими козаками. Пан Бульба просит меня, чтобы я провел его к сыну. А еще я привез груз кирпича, который нужно отдать компаньону одного хорошего «а ида».

- Тех козаков должны казнить не сегодня-завтра, - сказал реб Довид, - уже и лобное место поставили на площади, и

¹ Миньян – необходимый для публичной молитвы кворум из десяти взрослых мужчин.

колесо принесли, чтобы колесовать их. Господь всё видит. Они врываются в синагоги, взламывали запоры святых ковчегов, расстилали на полу свитки Торы и резали на них наших детей, как ягнят. Господь видит всё. Твой козак разрывал на части наших детей, а теперь ляхи разрежут на куски его сына. Не надо никуда водить его. Сына он всё равно не увидит. За голову этого Бульбы дают две тысячи цехинов. Сдадим его городской страже, и поделим деньги на двоих.

- Не могу, - отвечал Янкл, - я обещал устроить ему свидание с его Остапом. За это он уже дал мне две тысячи золотых и даст еще три, когда вернемся.

- Ты ему веришь? Когда иноверцы исполняли свои обещания, данные жидам? Они берут у нас займы, а потом убивают заимодавца. Мы наливаем им горилку в долг, а они, не отдавая долга, топят нас в реке, как это случилось с нашими братьями в Сечи. Ты и сам это помнишь, ведь ты был там.

- Да, я сам это видел, но остался жив благодаря вот этому Эйсаву, что сидит у тебя в углу на лавке.

Братья помолчали. Затем Довид сказал:

- Ну, чечевичной похлебки для твоего Эйсава у меня нет, но зато моя Хайця сварила гороховый суп.

Хайця, осанистая плотная женщина, строго и прямо глядевшая перед собой, разлила суп по глиняным мискам. Налили и козаку, но он отказался садиться со всеми за общий стол. Как оказалось, не зря. Похлебав немного супа, показавшегося ему пресным, козак достал из холщового мешочка остатки копченого сала и кинул его в суп, к ужасу детей Довида, поминутно оглядывавшихся на козака. Глиняная миска, впитав горячий суп со свининой, мгновенно раскошерилась, и оттого дети разом вскрикнули, словно случилось непоправимое несчастье. Хайця шикнула на них, и они повернулись к столу, оставив гостя в покое. Да, миску теперь можно было только выбросить, но Хайця рассудила, что лучше оставить ее в доме на тот случай, если в гости снова явится христианин.

- Дело это трудное. Там, в крепости, на каждом повороте стража, так что подкупать придется не одного сторожа, а всех по очереди, - говорил меж тем Довид. - Надо бы позвать реба Мордехая. Он знает кое-кого из стражи, и многие из них задолжали ему, а для других он добывает контрабанду и оказывает всякие иные услуги.

Один из сыновей реба Довида сбегал за Мордехаем, и, когда тот явился, надежда с новой силой вспыхнула в сердце козака. Отчего-то ему показалось, что огромная верхняя губа Мордехая есть признак великой мудрости. Губа же эта была порождением редкой наследственной болезни (отец Мордехая женился на собственной племяннице). Однако близкородственный брак в случае Мордехая не привел ни к слабоумию, ни к телесной слабости. Одна сторона его бороды была полностью выдрана, не хватало ему и одного из двух пейсов, потому что попадал он в такие переплеты, из которых не всякий найдет дорогу домой.

- Жиды! – вдруг выкрикнул Эйсав. - Помогите мне, жиды! Ведь если вы мне не поможете, ни чорт, ни Бог мне не помогут! Ведь вы всякое дело знаете, и сам дьявол не обманет того, когда вы можете обмануть!

Янкл, Довид, Хайця, Мордехай и дети с некоторым изумлением выслушали тираду Эйсавы.

- Мы поможем, если Богу будет угодно помочь, - сказал наконец Янкл, - а если Богу не будет угодно, то никакой жид не сделает того, о чем просит пан полковник.

Окончив трапезу, произнеся благословения и вечернюю молитву, домочадцы реба Довида разбрелись по постелям. Козаку и Янклу реб Довид выдал по тюфяку, набитому соломой, и по жесткому, как рогожа, но теплому и чистому одеялу. Козак улегся на лавке, подстелив по себя тюфяк, Янкл бросил свой тюфяк на пол, а Довид, сняв башмаки и оставшись в одних чулках, отправился вместе с Хайцей в соседнюю светлицу, напоминавшую шкаф теснотой и дверями из резного дерева. Два их старших сына легли у родительской комнаты, а младшие вместе с дочкой Шошей расположились под столом один подле другого.

Ночью ребу Янклу не спалось. Козак беспокойно вскрикивал во сне – ныли старые раны, натертые за день кирпичами, гороховый суп, урча, бродил в утробе, а край тюфяка вместе с тяжелым пузом свесился с неширокой лавки, причиняя беспокойство. Его лицо было еще более багровым, чем всегда, от ссыпавшейся в морщины кирпичной крошки. Янкл сел на своем жестком ложе и посмотрел в красное лицо Эйсавы, по которому бегали тени от догорающей на столе сальной свечи. Янкл глядел на него со смесью опаски и жалости. Да, жалости. Одного сына убил он сам, другого ляхи готовы были вот-вот отнять у него, подвергнув жестоким мучениям. И разве был в том какой-

нибудь смысл? Ведь нет смысла в жизни тех народов, которым Господь не даровал Своей Торе.

Янкл встал и прошел на крохотную кухню, еще не остывшую от хлопот радетельной Хайци. Он уселся на табурет за маленьким столом, переставив на него из большой комнаты догорающую свечу в жестяном подсвечнике. Свеча озарила неровным светом стол, полки, на которых стояли один подле другого ярко начищенные медные сковородки и котелки, и окно, составленное из осколков венецианского стекла и мутноватой слюды. Вдруг Янкл заметил, что он на кухне не один. Напротив него сидел старый иудей с седой бородой, в истертом до дыр бархатном еломке и потерявшем былой блеск атласном кафтане.

- Кто вы? – испуганно спросил реб Янкл.

- Люди зовут меня реб Элиогу, - ответил старик. - Ваш брат попросил меня дополнить утренний миньян, вот я и явился.

- Скажите, реб Элиогу, вот вы, я вижу, хороший «а ид» и старый человек. Немногие доживают до столь преклонных лет. Наверное, вы не скакали вослед козакам с товаром, не возили в Сечь и на Гетманщину горилку, порох, табак и прочую мирскую шелуху. И вряд ли вы обороняли какую-нибудь крепость от наступавших козацких войск, вряд ли вы лили им на головы кипяток и горячий деготь с городских стен. Быть может, вам так повезло, что прожили вы жизнь где-нибудь в Антверпене или Праге, учились Торе и достигли уже звания мудреца.

Элиогу важно кивнул. Янкл продолжал:

- Ну, а я, недостойный сын своего народа, мало учился, и позабыл даже то немного, что довелось мне узнать. Вот я и не понимаю: за что насрал на нас Господь эти кары? За что казнил нас всеми казнями, которые только есть на свете? Ведь страна Пойлин была для нас золотой страной. Ее короли даровали нам самоуправление, и правил нами Совет четырех земель. Каждая святая община жертвовала деньги на благо всех. Мы вместе строили дома учения и молитвы. Мы кормили вдов и сирот, и не оставляли "прикованных" женщин, которых бросили мужья: отыскивали мужей и взыскивали с них разводные грамоты, и снова выдавали замуж тех несчастных женщин. Мы строили ночлежные дома для нищих и общественные лекарни. Мы платили деньги сиротам, чтобы те учили Тору. Мы... Но Господь своей рукой

почти стер всё это с лица земли, оставив нам лишь малый остаток. Почему?

- Мы нарушили клятву, - сказал Элиогу.

- Какую клятву? – спросил реб Янкл.

- Когда сыны Израиля уходили в изгнание, заклил их Господь клятвами. И одна из них гласит, что нельзя сынам Израилевым властвовать над народами мира. Когда украинцы лишились своей земли и свободы, некоторые из них дошли до того, что продавали себя в рабство иудеям и прислуживали им в доме. А для иноверцев это – поругание их веры.

- Что за дело Богу до веры иноверцев? – удивился реб Янкл. - Разве мало Ему наших молитв, ведь мы – Его любимые дети?

- Богу есть дело до свободы. Ведь это Он вывел нас из Египта рукою сильной и мышцею простертой. А ляхи лишили украинцев свободы, мы же помогали ляхам.

- Мы помогали ляхам оттого, что страна Пойлин была для нас золотой страной.

- Это второй наш грех. Мы должны любить только страну Израиля. Есть еще и третий...

- Какой же?! – с горячностью вскричал Янкл.

- Сказано: не буди любовь, пока она спит. Мы старались разбудить Машиаха. Наши каббалисты хотели приблизить его приход, и даже высчитали, будто он придет в четыреста восьмом году. Но явился не Сын Поколения, а Хмель. И после этого мы еще продолжаем ходить к каббалистам. Даже к тем, кому не надо бы учить каббалу. Да вы и сами знаете, реб Янкл.

«Он видит меня насквозь, - подумал Янкл, - он читает мои мысли». Слезы набежали на очи, комната поплыла перед его взором, неверный свет луны пробивался сквозь обломки венецианского стекла и слюды, бросая на предметы разноцветные квадраты и треугольники. Реб Янкл уронил голову на сложенные руки и забылся тяжелым сном.

Он проснулся утром всё за тем же кухонным столом. Довид тормозил его, с силой тряс за плечо.

- Вставай, давай пить чай, и пойдем скорее в синагогу. После молитвы вы с Мордехаем должны бежать в крепость, если хотите помочь вашему козаку.

- А где реб Элиогу? – спросил Янкл.

- Какой реб Элиогу? Не было здесь никакого Элиогу. Тебе, наверное, приснилось. Вот тебе кувшин для омовения рук,

таз и полотенце, - Довид поставил всё это на стол перед Янклом.

После молитвы реб Янкл и реб Мордехай отправились уговаривать стражу пустить Эйсаву к плененному сыну. Тарас Бульба маялся в квартире Довида, ходил из угла в угол, пыхтел люлькой, доедал вчерашний суп, пил чай и со страхом глядел в окно. То мнилось ему, что жида обманули и уже донесли на него ляхам, а те вот-вот ворвутся в дом и заберут его в крепость. Но такой исход был бы не из худших, ведь в темнице он, верно, встретил бы сына, и, если бы они погибли, то погибли бы вместе.

Но, наконец, явился Янкель.

- Плохо, пан, всё очень плохо. Ваш сын не в темнице круля. Он и другие азовитяне сидят в Хеленовском каземате. Там каземате, который выстроила панна Хелена – самая богатая и самая жестокая женщина Польши. Она так богата и знатна, что имеет влияние при дворе, и вертит самим королем. Это она выкупила пленных у хана Авладыра и держит их в своем каземате. А там, сказывают, всех пленников пытаются страшными пытками. И уже завтра их должны казнить.

- Что же делать, Янкель?! – вскричал козак.

- Реб Мордехай вызнал, что за городом есть лаз, через который можно проникнуть в каземат. Видите ли, панна Хелена выстроила свою темницу на руинах прежнего здания, а это был монастырь. Когда-то молодые послушники, не имея сил противодействовать плотскому естеству, прорыли лаз, чтобы выходить в деревню и баловать с девками. Реб Мордехай проведет нас, и мы сумеем войти туда, где держат вашего сына. Или исхитримся, или погибнем. Надо молиться.

Наутро Янкл, Мордехай и Тарас Бульба вышли за пределы Варшавы и, пройдя берегом Вислы, оказались у высокой глиняной гряды, под которой темнели большие валуны. Взявшись втроем за один из них, они сумели отвалить его прочь. Их взору открылось темное отверстие, вход в подземелье, из которого тянуло тленом и сыростью, как из могилы.

- Вы уж, паны, идите сами, - сказал Мордехай, - если вам повезет, то повезет, а я вам ни к чему. Внутри этого лаза не должно быть стражи, а ту стражу, что в каземате, нетрудно подкупить. Говорят, панна Хелена скупится на жалованье, и вся ее стража падка на золото.

Реб Янкл и Эйсав пустились в путь, согнувшись в три погибели под низким сводом из никогда не просыхающей глины. Янкл шел первым, светя впереди себя взятой у брата сальной свечой. Следом за ним шел полковник. Под ногами у них шлепала и хлюпала влажная почва — близость реки чувствовалась везде. Неожиданно путь им перегородила стальная решетка, запертая на замок. Тарас Бульба принялся расшатывать ее, желая вырвать из мягкой глины, но под глиной, видно, скрывались каменные стены.

- Подержите свечу, пан, - попросил Янкл, - я сейчас.

Он полез под кафтан и талес, нащупал веревку, вдетую в пояс, отвязал ключ и поднес его к замку. Ключ, подходящий к множеству дверей, вошел в замок, как в масло. Решетки с трудом раздвинулись на небольшое расстояние, сквозь которое проскользнул тощий Янкл и с трудом протиснулся грузный Эйсав.

- Откуда у тебя этот ключ? - спросил Эйсав.

- Коли выберемся живыми, расскажу, - обещал Янкл.

Они прошли еще немного. Вдруг в стене открылся проем, нечто вроде небольшой ниши. Янкл посветил туда свечой и вскрикнул. В нише лежало ссохшееся мертвое тело, одетое в монашескую рясу, с лицом, почти совсем закрытым черным куколом. Торчал лишь голый желтый подбородок, туго обтянутый кожей. Полковник Бульба перекрестился, что делал весьма нечасто.

- Хеленовский каземат стоит на развалинах монастыря, - пробормотал он. - Здесь, верно, прятались от мира святые схимники. Что ж ты содрогнулся, Янкель? Разве у вас не бывает святых мощей? Или ваши праведники гниют в земле, как все люди?

- Покойников надо хоронить, пан, - прошептал Янкл. - От незарытого тела исходит тума, нечистота. И потому, что здесь лежит мертвец, по всему каземату бродит нечистая сила, и она же насылает на людей ужасные мысли. Потому-то они и катувают пленников. Пойдемте, пан, нам нельзя здесь долго оставаться.

Они пошли вперед. Своды над их головами возвысились. Вдруг перед их очами заплесало в воздухе что-то белое, закрывающее лаз от пола до потолка. Янкл вгляделся в темноту. Это был огромный старик в белой, до пят, рубахе, с длинной, до пола, и тонкой, точно истлевшей, белой бородой. Очи старика были закрыты. Он распахнул страшный рот, откуда повеяло могильным холодом, и перед путниками словно развезлась бездна.

- Поднимите мне веки! - тихо и жутко проговорил старик.

Эйсав дернулся в его сторону, но реб Янкл крепко схватил козака за локоть.

- Не двигайтесь и не трогайте его! Не вздумайте поднимать ему веки, он убьет вас!

Янкл выдвинулся вперед и быстро-быстро заговорил на святом языке:

- Ваша светлость, светлейший и наипрозрачный призрак! Вы просите нас открыть вам веки, но мы никак не можем этого исполнить. Ведь у нас нет серебряных щипчиков!

Призрак испустил страшный вой, весь задрожал, как дрожит на ветру белая простыня, когда ее сушат на веревке, и медленно растаял в сыром воздухе подземелья.

- Кто это был? - спросил Эйсав.

- Ох, пане, дайте дух перевести.

Прислонившись к холодной и влажной стене, и задыхаясь, словно от быстрого бега, Янкл проговорил:

- Был когда-то в Земле Израиля один мудрец, и звали его рабби Йоханан. Однажды в его доме учения появился другой мудрец, рав Кагана из Вавилона. И он так поразил рабби Йоханана своей мудростью, что тому захотелось взглянуть на него. Видите ли, рабби Йоханан был очень стар, и тяжелые веки совершенно закрывали очи его. И он попросил учеников: "Поднимите мне веки!" И те подняли ему веки серебряными щипчиками. Когда рабби Йоханан взглянул на рава Кагана, у того мелькнула тень улыбки, и рабби Йоханан подумал, что вавилонянин смеется над ним. Он глянул на рабби Кагана так гневно, что тот упал и умер. Но потом рабби Йоханан сумел оживить его.

- А чего ж ваш жидовский призрак летает по католическим подземельям? Отчего не сидит в пещерах там, в Святой Земле?

- Я думаю, пан, он нас о чем-то предупреждает. Нам предстоит выдержать чей-то взгляд.

Они пошли дальше. Белый призрак вызвал в памяти Тараса Бульбы старую думу, слышанную когда-то от слепого бандуриста. Тарас еще не заслужил тогда прозвища "Бульба", данного ему братьями-козаками. Звался он Тарасиком, и было ему всего шесть лет, и жил он на хуторе отца своего, отставного сотника Нечипоренки. Слуги и домочадцы сотника слушали байки и сказки не по субботам, как жида Немирова, но во всякий день, когда случалось

забрести на хутор музыканту, игравшему на кобзе, бандуре или колесной лире.

Панна Стеша, мать Тарасика, относилась к слепым музыкантам с величайшим почтением и нежностью. В тот день не оставила она бандуриста на дворе, но завела в дом, усадила за стол и велела своим девушкам угостить его борщом, да выставить побольше галушек. Мало того, еще и пампушек завернула в тряпицу и кинула на дно походной сумы его. Меж тем народ собирался на дворе Нечипоренки. Парубки из числа панских слуг уселись прямо в пыль, подогнув под себя по-турецки ноги в просторных шароварах. Девки-наймички, не желая портить ярких своих плахт, садились одна подле другой на чисто выметенные ступеньки господского крыльца, точно барышни в оперной ложе.

- Панычу, панычу, до нас, до нас! – позвали они Тарасика, но тот, нахмурившись, сел на лавку рядом со старшими братьями, полагая, что негоже мужчине сидеть с бабами. Для сотника и его жены вынесли из дома удобные кресла, а для бандуриста, по приказу панны Стеши, - оттоманку, привезенную ее мужем из турецкого похода.

Бандурист ударил по струнам, и все присутствующие тут же умолкли и перестали лузгать семечки, насыпанные в глубокие карманы шаровар и фартуков. Бандурист завел думу о страшной мести. О том, как задумал козак, убитый братом своим, такую месть, что длилась бы сотни лет. И за то не дал ему Господь сойти в могилу. И про то, как вставали из гроба колдуны – потомки предателя, и про то, как грызли все мертвецы одного, в пропасти меж Карпатских гор.

Шестилетний Тарасик, со светлыми, остриженными в кружок льяными волосами и карими очами, не понял всей думы. Не понял он самого страшного в ней – как домогался колдун любви своей собственной дочери. Но он понял, что мертвецы вставали из гроба, и что грызли они всем скопом одного покойника. Это так напугало его, что уткнулся он лицом в юбку своей матери и не желал смотреть на бандуриста. Увидев это, старший брат Дорош расхохотался и назвал Тарасика дивчинкой. И тогда пристыженный малыш с силой оттолкнул колени своей матери, оторвался от ее юбки, вкусно пахнущей теплым хлебом, и ринулся снова к скамье, где сидели его братья. И не ведал он в ту минуту, что вместе с матерью отринул всех женщин, которые в грядущем встретятся на его пути.

Окончив думу, бандурист перевел дух, и снова заиграл веселую и торжественную мелодию. На сей раз завел он

песнь в честь хозяйки дома, величая ее не Стешей, но Стефанией, и ловко подбирая на ходу слова. Каждый раз, когда удавалось ему с ходу выбрать удачную рифму, все присутствующие заливались громким смехом, а панна Стеша закрывала лицо рукавом сорочки, точно юная дивчина.

Козак еще долго вспоминал бы детство и хутор отца, но тут неожиданно Янкель встал, как вкопанный, наткнувшись на плохо видимую в темноте преграду.

8.

Тарас Бульба и Янкл уперлись в железную дверь, на которой едва виднелась крохотная замочная скважина.

- Ну, на сей раз твой огромный ключ не влезет в такую маленькую дырочку, - обеспокоенно буркнул Эйсав.

- Этот ключ зачат великим тайноведом, - отвечал Янкл, - одним из знаменитых бродских каббалистов, и он подходит к множеству дверей.

Прикоснувшись к двери, ключ и впрямь сжался и легко скользнул в замочную скважину. Дверь открывалась внутрь следующей комнаты. Вдвоем, налегая на тяжелую дверь всем телом, Янкл и Эйсав открыли ее. В глаза им тотчас хлынули волны ослепительного света. Обомлев от неожиданности, они ввалились в просторную залу и замерли на пороге. Прямо перед ними, под высокими сводами парадной залы, на низком троне, куда вели всего две ступеньки, сидела дама в сверкающем золотом платье. Шестеро стражников, вооруженных обнаженными палашами, стояли справа и слева от нее, а на стенах позади и сбоку от них горели ярким пламенем факелы, отчего кругом было светло, как днем.

Дама, сидевшая на троне, сверкала ярче надетого на ней золотого платья, ярче факелов и сильнее, чем бриллиантовая диадема, покоившаяся на ее светлых кудрях, венцом уложенных над белоснежным челом. Никогда еще ни Янклу, ни Бульбе не доводилось видеть такой торжествующей, сияющей красоты. Это было дивное совершенство природы, сама женственность, словно сошедшая с небес, такая хрупкая и вместе сильная, что хотелось защитить ее от всякого зла и в то же самое время бежать от нее на край света, пока не околдовала она до полного безумия. Янкл в страхе опустил очи свои долу, ибо еще в юности дал он зарок не глядеть ни на одну женщину,

кроме жены своей, Бейлки. Однако Тарас Бульба, раскрыв от удивления рот, смотрел на красавицу, как зачарованный.

- А вот и гости, - сказала сидящая на троне дама голосом дивным и мелодичным, как перезвон серебряного колокольчика, - какая неожиданность! Я уж и не чаяла увидеть вас, да еще прямо в моем дворце. Как добрались? Как нашли тайный лаз? Уж не думала встретить вас именно здесь, куда не вхожи обыкновенные люди.

Янк и Эйсав молчали, точно пораженные громом.

- Я панна Хелена Потоцкая, вдова графа Потоцкого, младшего отпрыска этого славного семейства. Это я выкупила твоего сына, Тарас, из татарского полона. Это я выстроила здесь этот каземат, и при нем дворец для себя. И это меня раньше называли Хеленой Прекрасной, а теперь зовут Хеленой Ужасной. Но не будем зря терять время.

Она царственным жестом руки отозвала охрану, и та исчезла за дверью позади трона. Затем подозвала к себе служанку-татарку, до сей поры сидевшую на подушках в ногах своей госпожи, и что-то тихо приказала ей. Та вышла через маленькую боковую дверь и вскоре вернулась, и притом не одна. Татарка вела за руку мальчика лет пяти, одетого в бархатный камзолчик с кружевным воротником, бархатные штанишки и туфельки, украшенные самоцветами. Подойдя к панне Хелене, он поцеловал у ней руку, а потом, словно повинясь безотчетному порыву, обернулся и посмотрел полковнику прямо в очи.

Бульба пошатнулся, и хриплый крик вырвался у него из груди. На него смотрел его мертвый сын Андрий, такой точно, каким он был много лет назад. Тогда Тарас Бульба оставил отяжелевшую жену и ушел в поход. Она родила без него, а, когда он вернулся, маленькому Андрию минуло уже пять лет. Тогда он впервые увидел отца и взглянул на него точно так, как теперь смотрело это дитя - с невыразимым упреком и страхом.

- Уведи его, - приказала панна Хелена. Служанка и маленький Андрий удалились.

- Это был мой сын Анджей, названный так в честь твоего сына, Тарас Бульба, - медленно проговорила Хелена. - Я не зря отозвала моих воинов. Не каждому дано знать то, что я скажу. Да, это я, графиня Хелена Потоцкая, в девичестве Сташинская, дочь Дубновского воеводы. Ты, верно, думаешь, будто это я соблазнила Андрия. На самом деле соблазнителем был он, когда тайно пробрался в мои покои ночью, там, в Киеве. Мне было в ту пору всего пятнадцать

лет, и я влюбилась в твоего сына без памяти. Если бы велел он мне бросить мою веру, принять православие и кинуться за ним в Сечь, я бы пошла, не раздумывая. Но только у вас в Сечи нет женщин — ни маркитанток, ни перекупок, ни шинкарок. И меня зарубили бы саблей, появившись я в Сечи. Поэтому пришлось Андрию менять веру и оставаться у нас. Но ты не простил ему любви ко мне и казнил его. Ты погубил бы и меня, как сгубил сотни полячек. Ты отрезал у них груди, ты привязывал их к конским хвостам и разметывал по степи их белые тела. Ты не жалел их даже у алтарей, где они молили Святую Деву о пощаде. Ты лишь смеялся, видя, как вздымаются из огня их лилейные руки. Но хуже всего, козак, что ты ненавидел и жену свою. Ты являлся к ней на два-три дня в году и оказывал ей ласки только из милости, а чаще бил и унижал, топча сапогами ее юность и всю ее жизнь. Видишь, я всё знаю о тебе. Одна из моих служанок когда-то работала наймишкой на твоём хуторе. Ты вырвал своих детей из рук их матери и поволок в Сечь, не дав ей насладиться хотя бы материнством, коли не могла она насытиться твоей скупой любовью. Ты, как заведенная рукой часового мастера музыкальная шкатулка, пел одну и ту же песню из трех нот: во всех несчастьях мира виноваты бабы!

Когда ты убил Андрия, я уже носила под сердцем Анджея, но мы с Андрием не успели обвенчаться. Отец, не желая моего позора, спешно выдал меня за младшего Потоцкого. Тот уже давно добивался моей руки. Я не любила Потоцкого, но он любил меня, и в его объятиях я нашла утешение после гибели Андрия. Но он отправился в сражение, и его убили козаки. Какой-то грубый дикарь вонзил в его лицо копье, выбил сахарные зубы, разрезал надвое язык его, пробил шейные позвонки и воткнул окровавленное копье в землю. И так я стала вдовой во второй раз. После этого я поклялась не выходить более замуж и мстить всем, кто убил Андрия и графа Потоцкого. Теперь его поместья — мои поместья, его казна — моя казна, и его люди — мои люди. Они рыщут по всем дорогам Речи Посполитой и ловят тех, кого я решила убить. И я казню твоего второго сына, Тарас, и ты увидишь казнь. Это и будет страшной мезьей за двух моих мужей — того, кого любила я, и за того, кто любил меня.

Признаюсь, я следила за тобой еще с тех пор, как ты и твой жид появились в Казимеже. Верный человек видел вас на дворе Старой синагоги, и в тот же день отправил мне почтового голубя. Я хотела, чтобы мои люди поймали вас и убили. Тебя привязали бы к дереву и сожгли, а твоего жида

связали бы покрепче и кормили свиным салом, пихали его прямо в глотку, пока не задохнулся бы этот поганый жид. Но я передумала, и поэтому мои люди преграждали вам путь, грабили и отбирали коней, но не убивали. Не будет для тебя горшей муки, чем смотреть, как палач станет вырывать куски мяса из тела Остапа, а затем разобьет ему суставы рук и ног, а после возложит его растерзанное тело на колесо и отрубит по очереди четыре конечности, и лишь затем — голову. Ради этого наслаждения я оставила тебе жизнь. Я еще успею сжечь тебя на дереве или изжарить в медном быке, а твоего жида повесить, как собаку, сперва досыта накормив салом.

На протяжении всей ее речи Янкл стоял, опустив голову. Настоящий ледяной страх давно оставил его, но он стоял, оцепенев, пораженный красотой и жестокостью этой женщины, и беззвучно произнося про себя псалмы.

- Дай же мне увидеть Остапа перед смертью, сейчас! - взмолился Тарас Бульба. Слезы катились по его красному лицу.

- Ты плачешь? Отчего ты плачешь? - тихо спросила Хелена. - Не ты ли сам возложил своих детей на алтарь, не оставив на хуторе с матерью?

- Я плачу не оттого, что Остапу мало осталось жить на свете, - отвечал козак. - Я плачу оттого, что мой внук будет расти католиком, и не сделается он козаком, как его отец, дед и прадед. Но отчего ты, жестокая, пытаешь в своем каземате азовитян? Я знаю, Остап перенесет любую муку. Но другие... Зачем пытаться их? Разве они преступники? Они ведь просто защищали свою землю.

- А она не ваша. Она ничья. Землей должны владеть короли, а у вас нет короля. Киевские князья давно оставили Русь, и она теперь зовется Украина - окраина Речи Посполитой. Ваши гетманы - не короли, и ваши кошевые - не герцоги. Пусть землей владеет король польский. А ваши правители не короли, но шуты. Коли нет войны, они валяются на земле, пьют горилку, поют и пляшут по целым дням. Шут не должен сидеть на троне.

- Если Господь захочет, и шут станет королем, - вдруг сказал реб Янкл. - Разве царь Давид не плясал перед ковчегом, рассмешив весь народ? Но он был лучшим из царей Израиля.

- О, да это очень умный жид, - сказала панна Хелена сквозь зубы, - пожалуй, я пощажу его. Он сможет стать моим советником, если я того пожелаю. Но я обещаю: Остапа ты увидишь.

И она позвонила в колокольчик, висевший сбоку от трона. Из двери позади трона вышел слуга. Панна Хелена что-то тихо прошептала ему. Стражник вышел всё в ту же дверь. Потянулись томительные минуты ожидания.

Послышался звон железа. Дверь отворилась, и стражник ввел закованного в ножные и ручные кандалы Остапа, толкая его в спину. На Остапе были только козацкие шаровары, следы бича темнели на его голых, страшно исхудавших плечах, груди и спине. Страшнее всего было лицо плененного воина. Его сморщенные веки глубоко провалились в пустые глазницы, а к впалым щекам присохли кровь и слизь, еще недавно бывшие глазами Остапа.

- Где ты, батьку? - глухо спросил Остап.

Тарас издал не вопль, и не стон, а хриплый клекот орла, точно железная рука сдавила ему горло.

- Видишь, козак, я исполнила свое обещание. Я обещала, что ты увидишь Остапа, и ты увидел его. Но я не обещала, что он увидит тебя! - панна Хелена захохотала. Что-то адское и нечеловеческое было в ее хохоте.

- Подойди же, обними сына своего, - она склонила царственную голову набок, словно забавляясь зрелищем.

Эйсав подошел к Остапу, обнял за плечи и зашептал ему на ухо:

- Сынку, когда будут пытаться и мучать тебя, молчи. Не дай врагам куражиться над тобой. Поклянись, что будешь молчать.

- Клянусь, - сказал Остап.

- А теперь идите, - игриво промолвила панна Хелена, - ах, нет. Ты, жид, останься. Ты еще не рассказал мне, откуда у тебя ключ, подходящий к сокрытой даже от моих людей двери парадной залы.

Янкл рванулся к двери, через которую они вошли. Тарас Бульба побежал за ним. Спешно закрыл реб Янкл железную дверь, торопясь, пока стража не вернулась к панне Хелене, дрожащими руками замкнул дверь на ключ, и оба они помчались по подземному ходу, не освещенному более свечой, слепо натываясь друг на друга, на выступы стен, чавкая грязью под ногами, стучаясь лбами о потолок там, где понижались своды. Они мчались, словно стража гналась за ними, хотя никто не бежал им вослед.

Оказавшись на свободе, оба, не сговариваясь, съехали по мокрой глине прямо к берегу Вислы. Полковник лег на землю, начерпал воды в сложенные ковшом руки и жадно принялся пить, точно не пил целую вечность, захлебываясь

водой и рыданиями. А Янкл, вынув ключ из кармана черной свитки, широко размахнулся и швырнул его на середину реки. Сверкнув на прощание тусклым старинным золотом, ключ бродских каббалистов упал на водяные струи, проплыл с полвершка, словно не желая расставаться с Янклом, и камнем ушел на дно реки.

9.

- Веди меня туда, - приказал Эйсав наутро, - я хочу посмотреть, как его будут мучать.

- Не надо бы вам ходить в такое людное место, пане полковнику, - взмолился Янкл. - Не ровен час, кто-нибудь узнает вас. Может, слуги панны Хелены и не схватят вас, но ведь есть еще и слуги круля. А за вашу голову, сами знаете, какая цена назначена. И конные стражники там кругом, а вы, нивроку, пеший. А знаете, что? Давайте-ка мы оденем вашу светлость в нашу темную одежду. Авось, никто вас и не узнает.

Братья Янкл и Довид сняли с Эйсавы вышиванку, облачили его в серую холстинковую рубаху, собранную у горла на шнурок, повесили поверх нее талес, который Эйсав про себя называл "жидовской попоной". Сменили алые его шаровары на черные портки жида, и кафтан его козацкий – на жидовский. Седую чуприну разделили надвое, придавив сверху еломком, так что два конца оселедца свисали по щекам полковника, точно пейсики. Глянув на Эйсаву, Янкл чуть было не воскликнул: "Вот добрый а ид был бы, не родись он козаком", но прикусил язык. В день казни Остапа лучше было не шутить с паном полковником.

- Веди, жид, - грозно повторил Тарас Бульба.

Они затерялись в густой толпе. На площади собрались одни иноверцы. У идн были запрещены столь кровавые и жестокие зрелища, тем более, что многим из них, помимо своей воли, пришлось стать свидетелями и жертвами не менее страшных избиений. Долговязый Янкл стоял впереди, а за его спиной безуспешно прятался хоть и не такой высокий, но уж очень кряжистый козак.

Остапа вели впереди братьев его, потому что успел уже он стать атаманом, несмотря на молодые лета. Ему первому предстояло испить горькую чашу нечеловеческих страданий. Хоть Янкл знал, каким ужасным мучениям подвергали козаки жидов в захваченных городах, сердце его не жаждало теперь мести. Оно ныло от ужаса и жалости. Когда Остап взошел на лобное место, Янкл тотчас же закрыл очи свои, чтобы не

видеть пыток. Янкл стоял, покачиваясь, как на молитве, и под его зажмуренными веками плыли разноцветные пятна – то ли окно на кухне Довида, составленное из кусков стекла, то ли тени от свечного огарка, то ли искры костров, которые они жгли по дороге вдвоем с Эйсавом. Внезапно перед ним возникло лицо Элиогу, позавчерашнего ночного гостя.

- Зачем это всё? Зачем этот иноверец возложил двух младых сыновей своих на жертвенник? Ведь он не праотец Авраам, связавший на алтаре сына своего Ицхака. И зачем Господь велел Аврааму принести Ицхака в жертву, раз все равно хотел спасти его?

- Этот иноверец для того возложил сыновей на жертвенник, чтобы народ его обрел свободу. А Господь для того велел Аврааму принести в жертву Ицхака, чтобы все иудеи поняли: вы можете потерять детей и пережить это. Выдержать то, что выдержать невозможно, и жить дальше. Как выдержал ты, реб Янкл.

Тут над толпой раздался ужасный хряск перебиваемых костей Остапа. Палач дубиной разбивал ему суставы, чтобы легче было перерубить несчастному ноги и руки, когда возложат его окровавленное тело на колесо. Над толпой пронесся общий крик, некоторые паненки на балконах упали в обморок, и даже стража отвернулась от лобного места, не перенеся жестокости зрелища.

- Где ты, батьку?! – вдруг воззвал Остап, поводя вокруг себя пустыми глазницами. - Почему оставил ты меня? Слышишь ли ты?

«Почему оставил Ты меня, - цепенея, подумал Янкл, - он не к отцу, он к Богу взывает, точно царь Давид: лама савахтани?»

И вдруг над головой его, прямо с неба, грянул ответ:

- Слышу!

«Господь ответил ему, как царю Давиду! – изумился Янкл. - Как, этому иноверцу? Как это может быть, Господи?»

В ту же минуту он понял, что ответил не Глас Божий с небес, а Эйсав, стоявший за спиной. Стража уже спешила к ним. Янкл осторожно оборотился назад, чтобы посмотреть на Эйсава. Но Тараса Бульбы уже и след простыл.

«Что-то я совсем запутался, - думал Янкл, шагая по Крохмальной к дому Довида. - Иноверец ответил сыну вместо Бога. Чудно, право. А может быть, это Всевышний избрал его своим ангелом и велел сказать то, что должен говорить всякий отец всякому сыну, и Отец Небесный - нам,

своим детям. Он слышит нас, вот что. Нет, непостижимо. Нужно на нос упасть, чтобы такое понять».

Тут же вспомнил он, что Тарас исчез, и неизвестно, отдаст ли он когда-нибудь обещанные три тысячи цехинов, да еще четыреста цехинов за брата своего, Дороша. Впрочем, Янкл, многожды терявший всё свое состояние и снова обретавший его, не слишком расстроился из-за золота. Ему предстояло еще продать кирпич и получить за него свою маржу. Одно это окупало поездку в Варшаву. А самое главное – сегодня уже пятница. Шабес наступит через несколько часов, и он сумеет дополнить миньян, помолиться с хорошими идн и провести святой день в доме брата, с Довидом, Хайцей и милыми племянниками. Они с Довидом поучатся вместе, вместе будут читать Тору и вкусят от ее сладости, коя единственная лечит все раны этого мира.

Внезапно прямо перед ним снова возник старик Элиогу.

- Я ухожу, - сказал он, - ты можешь задать еще один, последний вопрос.

- Куда уходите? – спросил реб Янкл.

Вместо ответа Элиогу ткнул пальцем в небо. Янкл посмотрел вверх и прямо над изъеденными грязью стенами, прямо над веревками с застиранным тряпьем вдруг увидел легкий абрис огненной колесницы, проведенный по небу быстрым росчерком молнии.

- Пророк Элиогу! – спросил тогда реб Янкл. - Помирятся ли между собой Яаков и Эйсав, как о том сказано в Торе?

- Помирятся в Конце дней, - ответил пророк и взмыл в небо.

Эпилог

Реб Янкл благополучно продал кирпичи, добрался до Казимежа, расплатился с ребом Хаимом, вручив ему каурого жеребчика и пятьдесят цехинов вместо потерянного коня. Затем продолжил дорогу в Яновку и вскоре уже сидел за столом вместе с женой и детьми. Они прожили в Яновке недолго и переселились в Умань, о чем Бейлка уже давно просила Янкла.

Панна Хелена вновь исполнила свое обещание. Через год ее слуги поймали Тараса Бульбу, привязали к дереву и сожгли. Но Янкл получил свои деньги. Их передал в Умань гонец от Тараса, которого тот загодя послал из Сечи. Панна Хелена совсем позабыла о ребе Янкле, и слуги ее не докучали ему более.

После смерти Тараса панна Хелена привезла с хутора его вдову, чтобы та могла воспитывать внука Анджея и найти в том утешение после смерти Остапа и Андрия.

Прошли годы. Анджей вырос и не захотел стать ни католиком, ни православным, но вошел в лоно униатской церкви.

Вскоре после казни Остапа по стране прокатилась эпидемия чумы. Церковь обвинила в том ведьм и колдунов. Охота за ними началась повсюду. Кто-то видел, как Мирл ехала на телеге, не запряженной лошадьми, и донес на нее ксендзу. Мирл убили, когда она пришла в Пискаревку за рыбой, и после того эпидемия бушевала еще пуще, потому что некому было лечить больных.

На месте Азов-стана и Авладыр-сарая построили большой город. Он простоял триста лет, а потом превращен был в руины ордой налетевших на Украину москвитян.

Янкл, получив три тысячи четырехста цехинов, открыл в Умани корчму и два шинка. Через три года после путешествия в Варшаву он удачно женил сына Гирша и выдал замуж Енту. Прошло еще несколько лет, и реб Янкл передал корчму дочери и зятю, а сыновьям – шинки. Он совершенно оставил дела, нашел себе наставника и уселся за Талмуд. Проявив великое усердие и упорство, Янкл сумел стать ученым иудеем, как о том мечтали отец его и тесть.

Говорят, потомки Енты Яновской, дочери Янкла, до сих пор живут в Умани и держат там постоянный двор. Каждый год они принимают у себя паломников, приходящих на могилу рабби Нахмана из Брацлава.

Старая сказка

Жили муж и жена. У них была дочка да сынок маленький.

- Доченька, - говорила мать, - мы пойдём на работу, береги братца! Не ходи со двора, будь умницей — мы купим тебе платочек.

Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали: посадила братца на травке под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась.

Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях...

Мать читала девочке сказку. Книга была старая, обложка потертая, иллюстрации выцвели, желтоватые страницы пахли летом, зноем и пылью. За окном детской весело бранились зеленые попугаи, облепившие пальмы во дворе. Девочка сидела близко-близко к матери, внимательно слушала. Мать читала почти шепотом, чтобы не разбудить спящего в кроватке малыша. Над кроваткой была закреплена забавная игрушка-карусель - самолётики и облака, крутящиеся над головой спящего мальчика под тихую мелодию,

В тот страшный август 1941, когда уже разрушенный войной мир распадался на куски, и нормальная жизнь миллионов людей сгорела, закончилась, унеслась ветром хлопьями пепла и горькой золой, в эшелоне, который вёз в эвакуацию с Украины в Казахстан беженцев, ехала молодая женщина с двумя детьми. Женщину звали Циля, её мужа забрали в армию в самом начале июля, в первые дни войны. От всей её прежней счастливой жизни остались только дети, девятилетняя Роза и полуторагодовалый Сёмочка, и фанерный чемодан.

Эшелон несколько раз бомбили, Циля выскакивала с детьми из теплушки и неслась в поле. Валилась на мокрую стерню, прикрывала руками головы детей. Не пыталась защититть. Просто не хотела, чтобы дети видели ревящее, взрывающееся смертью небо. Ехали полтора месяца, пропускали грузовые поезда, везущие к всё приближающейся линии фронта технику и припасы. Потом ещё неделю жили в коровнике степного колхоза. А потом Циле с детьми нашли угол в каком-то доме.

Началась зима 1942. К середине зимы молодая женщина сильно заболела. Задыхаясь от кашля, почти без сознания от жара, она металась на топчане и всё время говорила с дочерью.

- Роза, слышишь, не бросай Сёмочку! Пообещай! Пообещай, что никогда его не оставишь. Что дождетесь папу с войны. Поклянись мне, доченька, пообещай.

Женщина приходила в себя, видела перепуганную Розу, держащую на руках брата, и снова уплывала в огненное беспмятство. Роза не плакала. Роза ухаживала за Сёмочкой, ухаживала за мамой, меняла ей компресс на пылающем лбу. Уговаривала маму не волноваться, не нервничать. Но мама всё равно умерла.

Цилю похоронили чужие люди. На следующее после похорон утро детей на подводе увезли в районный центр и сдали в детдом. Там брата с сестрой разлучили. Плачущую Розу, как второклассницу, отправили в детский дом для младших школьников. Рыдающего Сёмочку определили в дом малютки. Документов у несчастных сирот, разумеется, никаких не было.

Роза, девочка разумная и хорошо воспитанная, на все вопросы при оформлении в детдом отвечала чётко и серьёзно. Она знала имена родителей, адрес их дома на Украине, знала даже номер папиной полевой почты. Она убедилась, что толстая тётка в канцелярии ничего не пропустила и не переврала в её анкете. Роза просила, чтобы её пустили быть вместе с братиком. Чтобы отпустили хотя бы на день, убедиться, что с ним всё в порядке. Но воспитательница погладила Розу по голове и велела идти в класс.

Сёмочка в свои неполные два года ещё плохо говорил. Он всё время плакал и звал маму. Он звал Розу, но выходило «Лоса», и, наверное, поэтому Роза не приходила. Ему было так страшно и одиноко, что он даже боялся заснуть. Так и стоял в кроватке, держался за сетчатый бортик и звал маму и сестру. Сёмочку записали в ведомость о поступлении в дом малютки на фамилию конюха, который его привез в райцентр; и возраст вписали на глаз. Получилось полгода лишку – Сёмочка был крупным здоровым ребёнком. Он бы, конечно, пропал, не выжил бы в свою первую сиротскую зиму, нежный любленный еврейский мальчик. Но его пожалела уборщица, казашка-мусульманка. Простая женщина, мать восьми детей, она забрала к себе горько плачущего чужого ребёнка, потому что больше не могла

слышать, как слабеет его голос, зовущий маму. Она привела мужа, сурового и немногословного, подписать какие-то бумаги на усыновление, к директору детдома.

- Пиши, зовут как меня, Юсуф, – сказал усыновитель, - фамилия как у меня, пиши. Мой сын будет – моя фамилия надо давать.

Это были действительно прекрасные люди. Чудесная, дружная и тёплая семья. У маленького Юсуфа оказались весёлые старшие братья, которые играли с ним в шумные игры, и три смешливые сестры, которые тормошили, и обнимали, и тискали своего маленького нового братца. И бабушка, говорящая на непонятном языке, которая сшила ему рубашку и штанишки. И мама, и папа. И даже серый ослик с забавными заячьими ушами. Всё плохое осталось в прошлом и очень быстро забылось. Осталось только хорошее настоящее - дом, хлеб, семья.

Мальчик иногда во сне звал Розу, но не помнил уже, кто она такая. Его растили как родного любимого ребенка, он был здоров и счастлив.

А Роза, помня данное маме обещание, писала письма в дом малютки, пытаюсь разузнать, где её брат. Ответов не было, время шло; кончилась, наконец, война. В середине 1946 года за Розой приехал отец, демобилизованный после ранения. Роза писала ему все эти годы, отец знал, где её искать, и смог без проблем забрать 14-летнюю дочь, тогда уже студентку ПТУ. Ведь во всех документах, всегда, Роза указывала верно имена своих родителей, и адрес их старого дома, и номер полевой почты отца.

Отец с дочерью пытались найти Сёмочку, но так и не нашли никаких следов. Мальчик исчез. Пропал в мясорубке страшной войны. Они вернулись на Украину и стали строить жизнь заново. Пока был жив отец, они продолжали искать пропавшего Сёму вместе. Писали запросы, обращались в архивы. После смерти отца Роза, будучи уже замужней женщиной, а потом и матерью двоих детей, продолжала поиски брата.

Десятки писем и обращений, подшитых в папку-скоросшиватель, сообщали Розе, что брат её не нашёлся, не числится, не записан ни среди живых, ни среди мёртвых. Роза даже ездила с дочерьми в Казахстан несколько лет подряд, но результат был всё тот же. Розины дочери росли, зная, что надо искать дядю Сёму, понимая, как и их мать, что, если он не умер – значит жив.

В девяностые вместе с миллионом евреев из СССР Роза с семьёй уехала в Израиль. Поселившись в Хайфе, Роза продолжила поиски брата уже через Международный Красный Крест и Яд Ва-Шем. Они обнаружили семью тёти – мамину сестру и её детей, приехавших в Израиль сразу после войны, и двоюродного дядю, живущего в Лондоне. О Сёме не было ничего.

Юсуф вырос в Казахстане, пошел в армию после школы, затем поступил в ленинградский Политех и, один из всех девяти детей, получил высшее образование. Вернулся по распределению домой. Похоронил любимую бабушку и мать. Женился на дочери двоюродной сестры отца. Родил с ней четырёх дочерей. Потом похоронил отца. Шла простая, счастливая и нормальная жизнь.

В 2011 году внуки Розы, выросшие в Израиле, решили после армии поехать с бабушкой в очередную поездку в Казахстан. Старший внук, отслуживший в отделе анализа данных ВМФ Израиля, предложил взяться за поиски дяди Сёмы по другой, только ему известной схеме. Внук Розы выписал данные всех мальчиков от года до трёх, попавших в дом малютки зимой 1942-го, и стал планомерно просеивать их судьбы. Пока не осталось с десятков вероятных кандидатов в бабушкины братья. Приехав в Казахстан, всех их планировали обойти. Адрес Юсуфа был шестым в списке. Не первым и не последним.

На пороге обычной квартиры в обычной многоэтажке у Розы подкосились ноги. Старик за 70, открывший ей дверь, смотрел на Розу, на маленькую девятилетнюю Розу, мамиными карими глазами.

- Чем могу помочь? - спросил старик с акцентом.

И Роза расплакалась от облегчения и счастья. Потому что она нашла своего брата, сдержала слово, данное маме. Не опустила руки.

Они уехали в Израиль в сопровождении его дочери и внука.

Я знакома с его дочерьми и внуками. Старшую, между прочим, Юсуф-Семён назвал Раушан (Роза по-казахски).

Счастливец Таль

Анатолию Румеру в жизни повезло: он родился на свет счастливецком.

О счастье задумывался всякий из нас, начиная, может, с Каина. Счастье не имеет кровли, размытые представления о нём без помех уходят в бездонное небо и растворяются там, как сахар в чае. Все мы без устали мечтаем о счастье, с переменной надеждой ожидая его появления сегодня вечером или в обозримом будущем. Счастье, пожалуй, занимает первое место в ряду желаний, к которым мы обращаемся изо дня в день, всю жизнь, до самого конца; ничто с ним не может сравниться по частоте наших сердечных призывов - ни любовь, ни даже ненависть. Ничто.

Зарницы счастья, время от времени полыхавшие перед Толиком Румером, он объяснял непостижимым небесным везением, и к Главному Устроителю испытывал за это незыблемую благодарность. Свою благодарность он держал при себе и предпочитал о ней не распространяться – это, и вправду, было дело личное. Так он и жил - не тужил.

Самым главным везением Толик считал переломный момент своей жизни - отъезд из Москвы в Израиль, на ПМЖ. Ему, действительно, повезло: за два года отказа, выпавшего на его долю, он мог без лишних слов сесть в тюрьму – а не сел. Других отказников – не всех подряд, но выборочно – посадили либо сослали, а его не тронули. И это было везеньем чистой воды: он тоже подписывал протестные письма и ходил на демонстрации на Центральный телеграф. Но – пронесло.

Тридцати лет отроду, задолго до прихода сорокалетней зрелости, он получил выездную визу, был снят с цепи и улетел в Тель-Авив. Жизнь вынырнула из туннеля, время закрутилось в другую сторону.

Синай накрыт колпаком совершенной тишины: ни птичьего щебета, ни людского гомона. Лишь рои мух, неизвестно откуда взявшись – может, из ниоткуда - яростно атакуют солдат, остановившихся посреди голой пустоши хоть на несколько минут. Возможно, и на наших предков,

сорок лет избавлявшихся от отравы рабства здесь, в синайской пустыне, они набрасывались с той же яростью. Жуткая картина!

Война Судного дня ещё догорала. Запрокинутое к серо-голубому небу лицо Синая, помеченное чёрными оспинами сожжённых в капонирах танков, ничего не выражало – ни боли, ни памяти. Редкие островки финиковых пальм, срезанных по пояс, как бритвой, артиллерийскими снарядами, и уткнувшихся буйными кронами в землю, удивляли своей нелепостью – вольным деревьям была несвойственна такая дикая поза.

За ворота крошечной придорожной базы, на жёлто-коричневый бритый ландшафт, ефрейтор Румер глядел с большим почтением. Уходивший к горизонту хмурый простор прятал в себе скрытую силу и библейское могущество, поступавшее из недр времени. На этой затерянной в безводных синайских песках военной базочке ефрейтора Румера, с поправкой на наш местный колорит, звали не Толик, а Таль. Таль Румер. Ну, Таль так Таль. Так даже лучше.

На исходе второго года жизни в Израиле, в армии, он укрепился в будничной оценке своего везения. В первые жуткие дни войны, на южном фронте, его не зацепила ни пуля, ни осколок, и это было чистой воды везеньем: против военной смерти нет приёма, никто из солдат от неё не застрахован... После высадки Арика Шарона на том берегу канала, в Африке, дела пошли на лад: египтяне отступали в панике, наши вернулись в Синай, а Таль Румер со своим подразделением расположился у старой грунтовой дороги, ведущей на запад, к Суэцу. Главная дорога пролегала северней, километрах в двадцати, а по этой, старой, почти никакого движения не было, разве что армейский грузовик иногда пропылит или безучастный ко всему на свете бедуин проедет мимо базы на своём верблюде, да и то не по самой дороге, а почему-то по обочине, по целине.

Глядя в усеянную камнями даль с размытыми горами на горизонте, Таль испытывал прилив совершенного счастья. Целый и невредимый стоял он здесь, посреди войны, у ворот, на пороге прокопчённой солнцем степи, и ничто не препятствовало чувству его принадлежности к повсеместно раскинутой Вечности, которая и есть Бог.

Прошое время, поспевая за нынешним, клубилось за плечами Таля Румера. В этих дымных клубах проглядывали отчётливые картинки, виденные когда-то Толиком Румером

в старой жизни и отпечатавшиеся в его памяти. Вот оно: сиротский берег умершего Аральского моря опустился, словно бы с небес, на синайскую божью землю – грустный берег с прилепившимся к нему мусорным городишком, дышащим на ладан. Сразу за его неопрятными домками начинался такыр – просоленная гладкая долина, растрескавшаяся от безводья. Взгляд скользил по ней, не встречая препятствий: гулять по такыру или ставить здесь кибитку не находилось желающих.

Пытливому Толю Румера привела сюда дорога из каракалпакского Нукуса. О мусорном городишке ходило немало слухов, а побывали там и увидели его своими глазами немногие. Говорили, что туда бежал и скрывался от нукеров Чингисхана сам хорезмийский шах Мухаммед, что он возвёл на берегу тогда ещё живого моря роскошные бани, которые сохранились нетронутыми и действуют по сегодняшний день; каждый человек может туда прийти и смыть грязь с тела и ржавчину с души. Иншалла!

Другие слухи решительно опровергали банно-целебные. Победоносный Чингисхан, дескать, гнал шаха до Арала, и там хорезмиец укрылся от преследователей на защищённом заразой острове прокажённых, где и закончил свои дни среди несчастных, гниющих заживо; вот как было дело. Исторический остров открыт нынче для всех желающих, но турист не идёт, и очередь из любителей острых ощущений там не стоит.

Никаких бань, ни шахских, ни коммунальных – никаких Толик в городишке не обнаружил, зато остров прокажённых теперь, с усыханием моря, оказался поблизости от берега, рукой подать. На островке, как и встарь, проживали в землянках и глинобитных халупах поражённые проказой люди. Но не только там: в самом городишке и его окрестностях располагались три лепрозория союзного значения.

Городишко отличался от других человеческих поселений своеобразными особенностями. Прокажённые безнадзорно здесь бродили по улицам, не привлекая ничьего внимания. Некоторые из них толкали перед собою фанерные тачки – торговали лепёшками; хлебопечение было их утвердившимся занятием и ни у кого не вызывало возражений. Может, и островитяне из круга шаха Мухаммеда тоже пекли лепёшки.

Толик Румер, к собственному удовольствию, привольно себя чувствовал на берегу умершего моря, в этом

запредельном мире, населённом страшной смертью. Он и сам понятия не имел, откуда взялась у него эта летучая лёгкость – оттого, может, что о лепре, насчитывающей тысячи лет, никто ничего толком не знает: то ли усатый сом её разносит, то ли дурной ветер. Но, главное, прежде чем проявиться, проказа зреет в человеке годы и годы, а Толик так далеко вперёд не заглядывал, жил сегодняшним днём - до вечера.

От соседа в привокзальном «Доме приезжего» Толик Румер узнал о ссыльных цыганах, раскинувших табор на берегу. Вот это да! Цыганский табор – только его и не хватало в беспризорном городишке для полного счастья.

Вечером на базу приехал на своём джипе лейтенант Ярон - офицер связи из штаба дивизии. Ярон привёз распоряжение: ефрейтор Таль Румер командирится на сорок восемь часов на западный берег канала для сопровождения гражданского лица.

- Собирайся, - сказал Ярон. – Я тебя с собой заберу, в дивизию, а завтра за тобой заедут, и дальше поедете на тот берег.

Кто заедет и зачем, Ярон не знал. Ясно было одно: Талю повезло, его отправляют в Африку. Толик Румер всю жизнь, ещё с детских лет, мечтал туда попасть. Африка, шутка сказать! Перешагнуть границу и оказаться в царстве львов и носорогов. А пирамиды, а Нефертити! Кого бы ни сопровождать, главное – добраться до того берега канала. А там – Африка, детская мечта!

Говорят, торговцы в незапамятные времена проложили по телу земли, ради коммерческого интереса, протоптанные дороги, и поехали по ним купцы, пошли караваны. И уже вслед за ними, спустя недолгое время, потянулись солдаты – воевать.

Главная синайская дорога, разбитая вдрызг танковыми траками и военными тягачами, вела на запад, к Суэцкому каналу. Торговые фуры здесь не появлялись, бедуинские караваны не показывались.

Гражданский пикап «Колорадо» с крытым кузовом подпрыгивал и проваливался на колдобинах дороги. Кузов пикапа по самую крышу был набит подарками для солдат: шашками и нардами, комиксами, коробками конфет, жестянками кока-колы, шерстяными носками, плитками шоколада, душистым мылом, мороженым-эскимо в

дорожных холодильниках – всем тем, что, по разумению Арье Зисмана, американского богача и мецената, могло порадовать фронтового израильского бойца. К этому богачу Арье Зисману, торговцу брильянтами, и был прикомандирован Таль для поездки по африканскому берегу Суэцкого канала. В кабине пикапа, сзади, уберечься от безудержной тряски не было возможности, а водителю приходилось легче, он цепко держался за руль. Богач Арье смиренно терпел неудобства дороги, списывая их на счёт естественных проявлений военной жизни, а Таль, сидевший на заднем сиденье рядом с меценатом, искал за окном признаки приближения к Африке и на досадные подскоки старался внимания не обращать. Ехали то побыстрее, то едва волоклись в колонне попутных машин, и оба пассажира в кабинке «Колорадо» нетерпеливо думали о цели своего путешествия, а не о войне за окном. А война ещё не закончилась, так что могла и убить на этой разбитой дороге.

Цель заключалась не только в раздаче подарков солдатам на фронте; подарки служили лишь поводом для благородной, но небезопасной поездки в Африку. Война шла на убыль, это было ясно всем, и балаган, сопутствующий окончанию войн, царил над Синаем и восточной оконечностью Африки, вплоть до 101-го километра от Каира.

Подарки – подарками, но не только желание порадовать усталых солдат мороженым и шашками влекло неугомонного Арье Зисмана в Африку. Он поставил своей главной задачей догнать на западном берегу канала мобильный штаб Арика Шарона и сфотографироваться с ним на память. То было вполне здоровое желание: немало богатых американских евреев мечтали запечатлеться на карточке рядом с прославленным героем войны.

Приятные дары согревают душу и порой способствуют сближению сторон, поэтому умудрённый в житейских хитросплетениях богач Арье вёз подарок и Арику Шарону – ящик эксклюзивного американского бурбона «Джим Бим» двойной выдержки. От такого подарка и африканский слон пошатнётся...

Прислушиваясь к перезвону бутылок в картонном ящике, на полу кабины, Таль следил за бегущим вдоль дороги монотонным пейзажем и лениво прикидывал, чья это рука открыла путь на фронт Арье Зисману с его подарками. Рука была крепкая, в этом Таль не сомневался ничуть: гражданскому торговцу брильянтами или хоть

манхэттенскими небоскрёбами получить разрешение на поездку за канал, в Египет, на поиски Арика Шарона, было непросто. Почти невозможно это было, вот как... «Надо думать, - гадал и прикидывал Таль Румер, - что богач Зисман немало брильянтовых пожертвований сделал для нашей еврейской родины, вот и отношение к беспокойному меценату сложилось самое благожелательное: рука руку моет, нога ногу трёт. Хочет раздавать подарки – пусть едет и раздаёт!» А свою роль в этой операции Таль Румер и не думал переоценивать, хотя приказ о сопровождении, накануне переданный ему офицером связи Яроном, застал его врасплох и очень удивил. В штабе дивизии в тот же вечер всё встало на свои места: шансов на встречу богача с Ариком Шароном было как кот наплакал, обнаружить и нагнать полевой штаб генерала американцу вряд ли удастся. А если это всё же произойдёт чудесным образом, Таль окажется тут очень кстати: генерал Шарон, выходец из семьи русских евреев, проявлял тёплый интерес к репатриантам из России, с Толиком Румером познакомился незадолго до начала войны, на неформальной встрече с отказниками в Иерусалиме, и даже подвёз его в Тель-Авив, до самого дома, на своей машине. Так что Таль самым своим неожиданным появлением поспособствует, может быть, подходу брильянтового еврея с его бурбоном и фотоаппаратом, к нашему Арику Шарону. Может, поспособствует, а, может, и не поспособствует...

К Суэцкому каналу, к шаткой понтонной переправе, подъехали около полудня. Таль Румер затаил дыхание: вот он, рубеж, пересекающий пространство, граница, за которой начинается самая, что ни на есть, Африка! Пикап на малом ходу въехал на первый понтон моста. Вода вокруг, освещённая чистым солнцем, растратившим к концу октября свою золотую кипящую силу, была безрадостна и мутна. Глядя на приближающийся египетский берег, Таль ожидал наплыва счастья, но испытывал лишь лёгкую досаду: счастье от вымечтанной встречи с Африкой почему-то не приходило, хотя сомневаться в том, что Африка – вот она, перед ним, не было оснований.

Пограничная вода равнодушно катилась по сторонам понтонов. На переправе, прислонившись к канату перил, стоял щуплый солдатик в чёрной кипе и ел мацу, откусывая от листа. Этот едок мацы здесь, на переправе, на пороге Африки, почему-то обрадовал Талья Румера: вот, стоит себе и ест, и ему всё равно – война, Азия или Африка.

Тем временем пикап съехал на египетский берег и прибавил скорость. За окном мелькали одноэтажные безлюдные посёлки, словно старательно выметенные гигантской метлой. Жителей не было видно, только собаки перебежали иногда дорогу перед машиной, да ослы задумчиво стояли, где придётся. Солдаты, группками по пять-шесть человек, редко встречались – фронт ушёл вперёд, к Каиру, и канал стал теперь тылом. Поравнявшись с военными, пикап притормозил.

- Эй, ребята, - высунувшись в окно, спросил водитель, - в штаб как проехать?

- Какой штаб? – переспросил один из солдат.

- Как какой?! Арика Шарона! – объяснил водитель.

Солдаты засмеялись необидным смехом, один из них показал рукою на север, а другой на юг.

Поехали дальше, гадая, куда дорога их выведет. С набережной свернули на запад, в степь, и первому встречному офицеру, ехавшему куда-то на джипе, поставили тот же вопрос: «Штаб – где? Как проехать?» Офицер задумался, не зная, что сказать.

- Кто его знает, - отозвался, наконец, офицер. – Он на месте не стоит... А вам зачем?

- Надо, - успокоили из гражданского пикапа. – У нас разрешение есть.

Но и разрешение не помогло. Оставалось только ехать, куда глаза глядят, по пустынной дороге. Таля неприятно удивляло то, что местный африканский колорит ничем не отличался от синайского, азиатского: кто был не в курсе дела, мог и перепутать. Толику Румеру не оставалось ничего, кроме как смириться с досадной действительностью...

Наконец, открылось перед ними, у дороги, место полевого солдатского сбора, и Арье Зисман решил, не мешкая, начать раздачу подарков. Командир подразделения представил американца, солдаты подтянулись поближе к пикапу. Бойцы желали, не тратя времени на пустые разговоры, получить подарки.

Раздавал в протянутые руки сам брильянтовый Арье. Наибольшим спросом пользовались нарды, наименьшим – шерстяные носки. Мороженое и кока-кола тоже пришлись по вкусу солдатам. Толпясь, они заглядывали в машину, гадали, что там ещё для них припасено, и громко выражали свои эмоции. Взволнованный происходящим, Арье, стоя в кузове, быстренько раздал половину своего запаса, а

вторую половину оставил на завтра. Расстались, довольные друг другом, и пикап снова запылил по дороге вглубь Африки.

- Какие замечательные ребята! - поделился Арье Зисман своими впечатлениями с Талем Румером. - Просто душа поёт! А как они радовались!

«Ну да, - подумал Таль, - ну да. Как же не радоваться! Уцелеть после трёх недель войны - и тут приезжает американский богач и раздаёт мороженое посреди пустыни. Это ж какая потеха для измотанных близкой смертью солдат!»

Перед вечером выбрались на шоссейную дорогу; движение участилось, военные машины, грузовые и легковушки, шли на запад. Тут бы и остановить кого-нибудь из проезжающих, спросить, где штаб Шарона, но выходить из пикапа было стрёмно: могли и задавить ненароком.

Смеркалось, когда справа от дороги до самого горизонта открылась тёмная даль, расцвеченная, как новогодняя ёлка, мигающими огоньками. Это усталые солдаты, сбившись колечками вокруг костерков, варили кофе в подручной посуде – походных судках и жестянках из-под консервов. В сотне метров от привала, на расчищенной поляне был разбит собранный из нескольких армейских палаток высокий шатёр, подсвеченный изнутри. Окажись здесь случайный зевака – и тот догадался бы, что не просто так, не с бухты-баряхты поставлен тут шатёр, и целое войско расположилось, подобно орде, у степных костров. Грозное африканское зрелище явилось почему-то перед Талем Румером в другом свете: мёртвый берег Арала, заскорюзный такыр, цыганский табор. Зачем, с какой стати? Таль и сам не знал.

- Стоп! – приказал водителю Арье Зисман. – Это штаб Шарона! Приехали!

Пикап съехал с дороги и остановился на обочине.

- Сходи узнай, как туда пройти! – обернувшись к Тлю, продолжал командовать Арье Зисман. – Разрешение им там покажи!

Таль вышел из машины и зашагал к ближайшему костерку.

- Ребята, - сказал он, подойдя, - тут что, штаб?

- Какой там штаб?! – ответили ему. – Сейчас соглашение будут подписывать о прекращении огня!

С этой новостью Таль вернулся к Арье Зисману.

Из пикапа хорошо просматривалась площадка перед шатром, освещённая прожектором. Арье и Таль, не спуская глаз с входа в шатёр, сидели рядышком в тёмной кабине; исторический момент должен был вот-вот наступить.

Сухой стрёкот требовательно прилетел с неба, и минуту спустя вертолёт приземлился на площадке. Дверца распахнулась, на землю прыгнул командир военной разведки генерал Аарон Ярив в полевой форме и быстрым шагом прошёл в шатёр. Тишина опустилась на 101-й километр от Каира – молчали цикады и ночные птицы, молчали солдаты у своих костров. Лишь сотни танцующих язычков пламени в тёмной степи расцветывали торжественную картину.

Четверть часа спустя Ярив, подписав соглашение, вышел из шатра, поднялся в свой вертолёт и улетел.

Война закончилась.

Война закончилась.

Таль Румер, распрощавшись с брильянтовым Зисманом, так и не снявшимся на память с Ариком Шароном, вернулся в свою базу на старой грунтовой дороге. Там ничего не изменилось, разве что больше военных машин проезжали теперь мимо базы с запада на восток – домой.

Синай, лёжа на спине, безмятежно отдыхал от рёва танковых моторов и грохота снарядов и бомб – так отдыхает грузчик после дня изнурительного труда. Из-за ворот базы Таль Румер благодарно глядел в библейскую тощую даль, листая в памяти золотые и серебряные страницы своей жизни. Всё там сложилось хорошо и счастливо: на войне не погиб, попал в Африку, оказался на 101-м километре – увидел исторический шатёр и тёмную степь, играющую огнями кочевых солдатских костров. Да и дальше, за горбатым горизонтом, всё подряд представлялось ему милым и праздничным: альпинистское восхождение на кавказский пик, благополучный развод с унылой женой и, наконец, отъезд из России в промозглое, туманное утро; много чего было. А то, что проказу не подхватил в мусорном городишке! Это же счастливое везенье, вот что это такое... А ведь мог подцепить, очень даже просто. Но – пронесло снова. Посчастливилось.

Не прокажённых торговцев хлебом, пряча улыбку, разглядывал Таль в пустынной синайской степи, перед собою, за воротами базы. Он видел цыганский табор на

берегу умершего моря – пяток распряжённых, крытых брезентом повозок с сиротливо растопыренными оглоблями. Сотню шагов не доходя табора, сидел на цепи, пристёгнутой к вбитому в землю железному колу, невиданный в этих местах чёрный датский дог размером с телёнка и лениво наблюдал за любопытными местными детишками, ползком крадущимися к лагерю. Когда расстояние недопустимо сокращалось, дог широко разевал пасть и, издавая хриплый рык, показывал страшные зубы, один из которых – длинный золотой клык – сверкал жутко. Увидев в ощеренной собачьей пасти драгоценный вставной зуб, детишки бросались врассыпную, как сухие листья под порывом ветра.

С фиксатым цыганским догом Толик Румер тоже не стал бы искать дружбы – пусть себе сидит на цепи и детей гоняет. То ли дело его хозяин, кряжистый цыган лет сорока, по имени Баро, по прозвищу Барон. У этого Баро, продававшего на базаре всякую рукодельную всячину, купил Толик Румер складной нож – красавец-ножик с зеленоватой, бычьего рога, рукоятью, с изящным, вытянутым, как рыба, клинком. Цыган одобрил выбор Толика, и завязался разговор.

- Ты не местный, - сказал Баро. – Я сразу вижу.

- Не местный, - подтвердил Толик Румер. – Я еврей.

- А я цыган, - сказал Баро. – Нас с вами Гитлер в одной камере газом травил, а мы выжили. И это счастье.

- Ну да, - помедлив, согласился Толик. – Кто тут не прокажённый, у того нос провалился.

- Это ничего! – махнул лапой Баро, и щетинистая его морда расплылась в приятной улыбке; золотые зубы блеснули в чаще усов. – Мы на отшибе живём, к нам никто не ходит. Перезимуем, а весной коней запряжём и дальше уйдём. Счастье!

- А как же ссылка? – спросил Толик Румер.

- Да никак, – сказал Баро. – Мы в тюрьме не сидим на цепи – значит, свободны!.. У нас, знаешь, как говорят?

Толик не знал, поэтому Баро, выждав, продолжал:

- Всех людей на свете мы делим на две части: одни глядят вокруг правым глазом, а другие – левым. Которые правым – те счастливые и всем довольны, а другие всё видят в чёрном тумане: то плохо, это плохо. Им хоть ангельское молочко поднеси – они тебе скажут: молоко хорошее, но бутылка плохая, никуда не годится.

Толик слушал цыгана, развесив уши.

- Мы смотрим правым глазом, - заключил Баро, - и поэтому свободны и счастливы.

Стоя у ворот базы, на пороге синайского мира, Таль Румер прикрыл левый глаз ладонью и глядел вдаль неотрывно. Простор виделся ему покрытым зелёной шёрсткой травы и полным прекрасных тайн.

Он был совершенно свободен и счастлив.

Жена

- Начнёте бить, грабить и на собрания таскать, я против, так и запишите.

Командир группы поднёс к носу Лифшица кулак такого размера, что тот, оробев, замолк.

- Пожалуйста, – сказал он наконец, поколебавшись, и под взглядом командира неуверенно добавил, – товарищи.

Командиру почудилась в последнем слове издёвка. Он легко ткнул Леонида Аркадьевича локтем в рёбра. Тот охнул и больше не мешал пришедшим проводить обыск.

Составили акт, забрали обручальное кольцо и отцову медаль «За освобождение Крыма».

- Она не золотая, нет смысла, – вяло объяснил сентиментальный Лифшиц, и за это получил ещё один тычок.

Заходя, команда не позаботилась вытереть ноги и наследила в гостиной невероятно, но перед выходом каждый аккуратно потоптался на половике и заглянул в лицо хозяйке, как будто говоря: «Вот видите? Мы тоже люди, как и вы, как и все. А вы уж и подумали?.. Чуть кто не такой, как у вас в квартире, вы уж сразу...».

Как будто, удовлетворив своё скотство, они выпустили дурную пену, и, таким образом очистив кровь, стали людьми. Впрочем, изъятое, понятное дело, возвращать и не подумали. Потолпились в прихожей и ушли, как туман, оставив по себе запах керосина.

- Ты видела, какое у него лицо? Вылитый барсук, – сказал Леонид Жене и лёг на кушетку, заложив руки под голову и насвистывая «Марш победы раздавайся». – Форточку открой.

Обычно Женя буркнула бы: «Сам открой, у нас тут слуг нету», но марш победы был дурным признаком. Поэтому она на цыпочках вышла из комнаты, нежно прикрыв за собой дверь. У неё ничего не конфисковали. По случаю уборки её кольцо было снято и упрятано в ящик ночной тумбочки, куда воры не заглянули.

На следующий день был концерт в Большом зале консерватории. В первом отделении играли соль-минорную

симфонию. Леонид Аркадьевич как концертмейстер чувствовал себя ответственным, и всю вторую половину дня Жене нельзя было с ним разговаривать. Он опасался. Сам он мог говорить. Это ему не мешало. Мешали Женины ответы. «Понимаешь»? – говорил он. Это было только такое начало. Он давно перестал рассчитывать на её понимание; слово «понимаешь», снабжённое вопросительным знаком, было вводным, - как дирижёр берёт в руку палочку, и оркестр затухает, перестаёт настраивать инструменты и издавать рассеянные свои звуки, более, быть может, чарующие, чем сама симфония Моцарта.

- Понимаешь, «Сороковая» заиграна. Остался тонкий краешек, не затасканный, не заезженный, видите ли.

Женя делала большие глаза. Она знала, что если раскрыть их молча, он будет дальше говорить. Он заглядывал в их дно, облегчённо вздыхал и продолжал:

- Я, видишь ты, отвечаю – не допустить пошлости. Это легко, если Дворжак какой-нибудь, «Девятая» или что-нибудь «Из Нового Света». Понимаешь? Почему Рахлин выбирает малозначительных композиторов? Их можно подмять под себя практически без усилия. А тут Моцарт. Чуть-чуть не доглядел, вот тебе и пошлость приползла. Сам не заметишь. И всё. Всё пропало...

В антракте Жене хотелось пойти к нему в уборную, где ему некому даже стакан воды подать, но это было нежелательно. Чтобы не так хотелось его проведать, она ходила. Буфет она не одобряла – на концерте кишечник для музыки, а не для бутербродов и ситро. Ситро любила, но бутерброды в консерватории неуместны.

В большом, пустом, белом зале с зеркальными стенами народ равномерно ходил по кругу. Жене нравилась женщина в халатике за маленьким столиком. Она продавала программки. Все, кому нужно было, купили программки до начала концерта, и в перерыве к женщине никто не подходил. Она сидела спокойно и смотрела вдаль. В уголках губ играла лёгкая улыбка. Жене становилось легче, она шла дальше и смотрела на матерей. Матери прогуливались под ручку с дочерями. Оттого, что они шли в ногу, ей тоже становилось легче. Звенел звонок, и она торопилась на своё место. Будет ещё два звонка, - итого три, - но мало ли что?

Ей казалось, что, если она как следует успокоится, то и у Леонида Аркадьевича всё получится, он удержится в своём драгоценном узком крае и не сорвётся в пошлость.

Обратно шли молча. Её тревожило его расстёгнутое пальто, но она боялась застегнуть большие костяные пуговицы. Под матовой бледностью мужа таилась беда.

- В перерыве, понимаешь, стоят перед моей гримуборной, бледные такие, почти прозрачные. Смотрят на дверь. Что на неё смотреть, я вас спрашиваю?

Сегодня весь день он обращался к ней на вы, и это означало, что не к ней он обращается.

- Я думал, вчерашний обыск был, как обычно - они приходят пополнить свою скромную зарплату мелким воровством... Но эти... Это были уже оттуда. Вопрос, почему они меня не арестовали в антракте? Хотели, чтобы концерт доиграл? Могли арестовать после концерта. Вообще ничего не говорят. Стоят, оболтусы. Возможно, им просто нечем меня заменить в оркестре. Все первые скрипки уже сидят...

- А после концерта?

- То есть ты спрашиваешь, забрали ли меня после концерта? Нет. Вот я. Не забранный. После, когда вернулся со сцены, весь мокрый, в коридоре уже никого не было.

- Ушли, значит?

- Ушли.

- А как концерт прошёл? – Женя решила переменить тему и вся внутренне присела: удастся ли отвлечь? Он боится.

- Как концерт прошёл? – Лифшиц застонал. - Как прошёл? Ты где была?

- Я в зале сидела. В девятом ряду, – добавила Женя побелевшими губами.

- А из твоего девятого ряда было не слышно?

- Нет, хорошо всё слышно.

Она уже поняла, что попала не туда. Такого промаха давно не было.

- А если тебе слышно, то что ты у меня спрашиваешь, как получилось? А?

- Я думала насчёт пошлости. Ты вот говорил, что хорошо бы без неё обойтись. Моцарт всё-таки...

- Ну, и что ты скажешь по поводу этой самой пошлости? Была она или нет?

- Не знаю. Честное слово, не знаю. Я пошлости не слышала. Мне показалось, очень мило сыграли. У Владимирова манжеты были не в порядке.

- Очень мило сыграли? Манжеты у Владимирова не в порядке? Мило сыграли? Уйди от меня.

Он всё повторял, хотя она уже отошла. Всю дорогу до дома она шла за ним, стараясь не попадаться ему на глаза. Из его сутулой спины доносились всхлипывания, стоны.

- А ты знаешь, что Владимиров тот самый ещё и Итцигсон? Его, может, ещё до меня заберут. Ты понимаешь?

Перед самым домом Женя тихонько подкралась к Лифшицу и незаметно взяла его под руку. Он вздохнул и стал бормотать тише.

Тяжеловесы

Несмотря на длинный рост, был он худой, как усик гороха, что норовит обвиться вокруг ближнего шпагата. Янка приехал из провинции в белых тапочках, он был робкий, косолапый, так что каждый хотел ему морду бить.

Не было другого выхода, как пойти в дом спорта и записаться в секцию бокса. Тренировки были три раза в неделю, но он ходил каждый день. Когда не было Карла Янсона, он являлся на занятие к Эдгару Гиргенсону и смотрел на того из угла у двери, не отрываясь, спокойными голубыми глазками, пока тот не махал ему рукой – давай заходи. Не выражая никакой радости, Янка вливался в группу тренирующихся.

Через несколько месяцев мать стала замечать, что он не только расширяется, но и растёт в длину. Когда они въехали в свой полуподвал, он задевал волосами за потолок; теперь стал пригибаться, чтобы зайти. От расширения грудной клетки ему скоро стало трудно заходить домой через дверь, и он протискивался боком.

Через полгода он перешёл в полутяжёлый вес, ещё через полгода – в тяжёлый, и вёл себя соответственно. Нормальный боксёр держит вес на полпути между ногами. Янка стоял на задней ноге, где его было не достать, и оттуда вёл обстрел безразличными стайками ударов левой, пока противник не раскрывался. Каждый может опустить перчатки. Тогда Ян выскакивал на секунду из своего логова на задней ноге и наносил оттуда пушечный удар. Оттого, что удар только казался прямым, а на самом деле был с поворотом, с винтом или с закруткой, в обычные дни энергия возводилась в квадрат, а в радостные – в куб. Судья на ринге считал до десяти; противника уносили в раздевалку.

- Янка, – говорила мать, – что с потолком делать будем?

Он пожимал плечами. Там, где он каждый день по многу раз касался головой потолка, стёрлась штукатурка. В двух местах виднелся кирпич. Он стригся наголо. На темени у него образовалась сначала толстая кожа, а потом мозоль.

Мать достала у дворника белил и покрасила больные места потолка, отчего они стали белее окружающего пространства. Засыпая, Янка смотрел на белые пятна и думал, что год прошёл.

Носовую кость ему раздробили до того мелко и колюче, что хирургу пришлось её вынуть. Нос провалился и смотрел куриной попкой. В сочетании с широкими щеками это придавало ему добродушный вид.

Весом и винтовым ударом он легко вошёл в сборную республики, на всесоюзных соревнованиях всех раскидал и проиграл одному только Изосимову, чемпиону СССР.

Повторялось это пять лет подряд. Всех бьёт, в финале проигрывает по очкам. Янка стал пить, как заколдованный.

Когда он в пятый раз стал чемпионом республики, вместо обычного кубка ему вручили отлитую по заказу статуэтку из мельхиора. Тяжёлый боксёр держал вес на задней ноге. Поскольку статуэтка была уникальная, оригинал, а не копия, скульптору удалось передать ощущение сжатой пружины. Было видно, что мельхиоровый боксёр сейчас оттолкнётся правой ногой и огорошит противника убийственным ударом тектонической мощи. Поскольку противник отлит не был, мельхиоровый боксёр был одинок.

По вечерам Ян сидел с бутылкой сладкого вина и, когда никто не слышал, бранился со статуэткой.

- Александр, Саша, Александр Владимирович! Вот ты неправ. Не обижайся. Я тебе прямо скажу. Ты почему ни разу не открываешься? Не правильно это. Всякий боксёр, скажу больше, всякий человек должен в жизни кому-нибудь или когда-нибудь взять, да и открыться. Так почему не мне? Опустит один только разик перчатки. Я тебе прикокошу. Больно не будет. Полежишь в нокауте. Ну, что тебе стоит? А я стану чемпионом СССР. Мне квартиру дадут с высоким потолком. Я тебе в гости приглашу. Посидим, выпьем.

Мельхиоровый Изосимов молчал. Ян продолжал тренироваться, но от ежевечерних возлияний дыхалка стала уже не та. На следующий год он не вышел в чемпионы республики, на первенство Союза его не послали. Если бы поехал, в финале дрался бы он не с Изосимовым. Тот тоже в финал не вышел. Янка знал, что от него ускользнула верная победа.

Стал работать тренером в Доме спорта «Динамо», а по вечерам сидел в подвале ресторана около цирка. Круглый столик казался маленьким, когда он клал на него огромные локти. Едва оставалось место для чёрной бутылки фруктово-ягодного портвейна «Мессиаш», пузатой рюмки и статуэтки. Он верил, что это статуэтка Изосимова, и по вечерам вправлял тому мозги.

- Не хочешь со мной дружить? Другой скажет: «И не надо», а я скажу: «Жалко». А ведь ты прав. Настоящих друзей не бывает. Всякий рано или поздно предаст. Единственный друг – вино. Выпьешь – точно будешь пьян. Никому, кроме вина, не доверяй.

.....

Ложечка звякала в стакане. Вздрагивала бахрама скатерти на маленьком купейном столике. На сахарном домино то ли гуцул играл на трембите, то ли дул в австралийскую дуду, норовя выпустить в облако стрелу, отравленную нервнопаралитическим ядом кураре, австралийский абориген. Это не абориген, а гуцул. У австралийцев ценится лишь то, что снится. Во сне привиделось одному из них угольное изобретение, бумеранг или духи-предки.

У жены Лёли тряслась в такт движению щека. Вслух Александр называл её Лёля, но про себя думал о ней не иначе, как о жене-Лёле. Он не смотрел вниз, чтобы не видеть, как у неё трясутся ляжки. От этого его клонило в сон, как гуцула или аборигена. Две народности начали у него путаться: гуцул в шляпе и с трембитой и абориген с духовым ружьём. Что будет, если отравленная стрела попадёт в облако и оно замрёт? Он увидел парализованное облако и понял, что заснул.

Лёля ритмично жевала изюм в шоколаде. Сашин организм занимал всё купе. Зная за собой эту слабость – занимать всё пространство – он обычно держался подтянуто, хотя как можно быть подтянутым при весе за центнер? К тяжеловесам понятие «подтянутый» неприменимо. Ночью он распадался, расстилаясь грозовой тучей по двуспальной кровати. Ей оставалась узкая, колючая межа у края рядом с детской. С этим она свыклась, но тут, в купе на двоих, когда он задремал под утро, дышать стало нечем. Ей хотелось выйти в коридор, но она не знала, как перешагнуть через мясистые бёдра и синие икры в тренировочных брюках.

Хорошо, что ему дали путёвку в санаторий. «Янтарный берег» принадлежит администрации президента. Детская комната у них в квартире была – на всякий пожарный, а вот детей в ней не завелось. Первое время она с опасением думала, как будет при своём маленьком росте носить гигантских Сашиных детей. А рожать как? Они ж ей всё порвут. Но оказалось, что опасалась она зря. То ли он стрелял холостыми, то ли она была бесплодна, но ничего у них не завязалось.

На солнечном небе за окном висела тяжёлая туча со свинцовым брюхом. Она задумалась, что там, в этом брюхе, и в этот момент в репродуктор объявили, что поезд прибывает, Александр Изосимов открыл глаза и взялся за чемодан огромной рукой.

Дни в санатории шли неторопливо. Утром бассейн с холодной водой, завтрак с давно не виданными в Москве сосисками, чашка кофе, пляж. Часа через два после завтрака – купание то в тёплой, легко-солёной, светло-синей воде с пеной огромных волн, то в холодном штиле, какого опасаются парусники. Дрёма после обеда с лицом, скрытым позавчерашней газетой «Советская Латвия». Пишут всегда одно и то же, да и лень ворочать глазами яблоками буквы. В сумерки прогулка по пляжу, как уйдёт башенный закат. Вот уж кто каждый день новый! Медленная попытка иметь ребёнка и безмятежный сон в смолистом воздухе под шум сосен, с чувством выполненного долга.

Каждый день в сумерках, бредя по щиколотку в белом песке с пляжа через сосновый бор к серому каземату санатория, Лёля ныла:

- Поедем за покупками. Тебе же легче будет. Тут всё есть. В Москве уже год ведро не могу купить.

Саша отмалчивался, а в предпоследний день сломался. Утром, сразу после завтрака, сели в маршрутку, и через сорок пять минут вышли на привокзальной площади в городе.

Ведро было упомянуто для отвода глаз. В душе Лёля мечтала о вьетнамских босоножках и соблазнительной юбке в обтяжку, но ничего из этого не оказалось ни в особторге, ни в трикотажном магазине. Устали от ходьбы, зашли в комиссионку, вкусно, но бессмысленно поели в ресторанчике «Лиго», пока дома, в санатории, пропал обед, но, по иронии судьбы, купили-таки эмалированное ведро. Зелёное снаружи и белое внутри, оно било Лёлю по

ноге и своим великолепием напоминало, как опасно говорить что-нибудь к примеру или для отвода глаз.

По пути из магазина на вокзал они вольно шли по широкому мосту мимо памятника Свободе, как вдруг перед ними оказалось нечто, что они увидели впервые в жизни, а остальные люди не увидят никогда. На мосту стоял, слегка согнувшись, молодой человек. Голубоватое пламя было бледным в свете яркого солнца, но несомненно, явно было видно, что молодой человек горит, горит и клонится. Его пытается загасить огромного размера человек с отдалённо знакомым Саше лицом, с носом в виде куриной попки, но всё отдёргивает руку. Слишком горячо. Одежда на юноше местами тлеет и кое-где полыхает.

Саша рванул ведро у жены Лёли и бросился под мост. Зачерпнул воды из канала, и через считанные секунды облил юношу. Два гиганта – Саша и Ян - завернули худощавого юнца в откуда-то взявшееся одеяло и для верности окунули в канал. Обгоревшего запихнули в подоспевшую, как всегда, поздно, «скорую помощь»; она умчалась, некрасиво воя, а Саша с Лёлей пошли прочь, покачивая ведром. С ведра капало, и на асфальте за ними оставался редкий след капель.

Ян стоял, прислонившись к каменным перилам, и смотрел вслед уходящему Изосимову, даже не силясь понять, что сейчас произошло.

Там, в Москве

В Ленинграде я впервые оказался с бабушкой – лет в пять. Мы приехали под Новый год, рано темнело, поэтому Ленинград на долгие годы остался для меня ночным городом, залитым праздничными огнями. Я никогда не думал, что у нас столько родственников. Все они откуда-то меня знали, а бабушку называли по имени, как девочку. У каждого из них был свой запах. Они удивлялись, какой я большой, дарили конфеты и цветные карандаши. Пили чай с вареньем и, вспоминая далекую жизнь, то и дело промакивали глаза платочками. Они часто переходили на незнакомый язык, который, похоже, знали не хуже русского. «Азохнвэй, вэйз мир, зай гезунд», – то и дело восклицали они и покачивали головами. Бабушка объяснила мне, что на этом языке они говорили в детстве, когда жили на Украине. «До революции?» - спросил я.

Уже лет с семи-восьми на зимние каникулы в Ленинград меня стали отправлять одного. С собой мне давали лыжи, на всякий случай к ним еще подвязывали клюшку. Вечером папа отвозил меня на Ленинградский вокзал, а утром дедушка Гриша встречал меня в Ленинграде уже на Московском. В те времена мысль о том, что со мной может что-то случиться в дороге, просто не приходила никому в голову. Если поезд приходил до открытия метро, мы с дедушкой шли пешком. Желтый свет фонарей чуть отодвигал обступавшую ночь, дедушка нес чемодан, я – лыжи. Мы шли заснеженными переулками, одни в пустынном городе. Атланты и кариатиды смотрели нам вслед; из подворотен, подвывая, мела поземка. Я знал, что к концу нашего пути из-за поворота со стуком и звоном выскочит первый трамвай, а чуть раньше выйдут дворники с лопатами и скребками.

За тяжелой дверью парадного белела наполовину разрушенная мраморная лестница. По ней мы поднимались на второй этаж. Первое время я боялся дедушкиной квартиры – огромной, с шестиметровыми потолками, изразцовой печью, голландскими тарелками на стенах и армией фарфоровых статуэток в сервантах красного дерева. Она мне казалась чем-то вроде замка с привидениями. Проснувшись утром, я замирал в темноте, прислушиваясь к

каждому шороху, пока бабушка Вера не поднимет тяжелые гардины.

Дни моего пребывания в Ленинграде были расписаны заранее и распределены между родственниками – новогодние елки, музеи, театры и обязательное застолье вечером. К моему приходу доставали редкие продукты, готовили угощения, на столе непременно стоял мой любимый форшмак. К чаю пекли булочки с корицей, изюмом и другие сладости. (Не съеденное за столом нередко давали с собой в баночках с крышками). К середине каникул я уже немного уставал от настолько плотной культурной жизни и изысканного питания. И тут появлялся дядя Боря, родной брат папы. Он имел на меня особые права и забирал меня на несколько последних дней перед отъездом. Конечно, и там меня ожидал форшмак, домашняя буженина и новогодние мандарины. Отличие было в другом. Единственный из моих ленинградских родственников дядя Боря жил не в центре, а на далекой окраине. Долгое время там даже не было метро. И не в старинном доме, мало отличимом от дворца или музея, а в малогабаритной квартире на первом этаже блочной хрущевки. Там не было ни каминов, ни гардин, ни фарфора, ни фаянса. Даже столового серебра там не было. Примерно так же мы жили и в Москве. Поэтому там мне было, так сказать, психологически комфортней.

В тот год всё было как обычно; я обошел всех родственников, выслушал все рассказы о войне, блокаде и эвакуации (и только муж тети Мани дядя Фима вспоминал как о самом счастливом времени свою жизнь в германском плену в Первую империалистическую), посетил все обязательные музеи (включая мой любимый Суворовский), несколько неизменных елок (там давали сладкие подарки в бумажных сундучках) и спектакль про Швейка кукольного театра, где заведовала литературной частью тетя Лиля. Я поиграл в хоккей в Таврическом саду с внуком тети Маши Мариком Бенцманом, съездил с дядей Изей покататься на лыжах в Комарово, перечитал книги Кукаркина и Авенариуса про Чарли Чаплина. А еще я каждый день с кем-нибудь играл в шахматы и рисовал – акварелью и (чудесным приобретением) фломастерами.

Я уже мысленно прощался с Ленинградом, как вдруг вечером дядя Боря сказал, что позвонил папа: на днях надо будет переезжать в новую квартиру (наш новый кооперативный дом наконец построили), да еще бабушка

опять попала в больницу. В общем, в Москве сейчас как-то не до меня, поэтому я пока остаюсь в Ленинграде, а чтобы я не отстал, меня на время сдадут в какую-нибудь местную школу.

Во всех случаях это означало продолжение каникул. Я даже обрадовался. Я всегда любил события, происшествия и приключения.

Дядя Боря сходил в ближайшую школу и легко обо всём договорился. Тетя Валя погладила мне брюки, на меня надели синюю кофту с белыми полосками, дали старый дядькин портфель, - и уже через пару дней я стоял перед новым классом. Юная учительница, разительно отличающаяся от нашей заслуженной Веры Сигизмундовны, быстро представила меня классу, объяснив мое появление «семейными обстоятельствами». Я сел за пустующую парту, достал новенькие тетрадь, пенал и коробку фломастеров.

На следующей перемене меня обступили одноклассники. Некоторое время меня рассматривали молча, как зверя в зоопарке. Наконец раздался первый вопрос:

– А у вас что там, в Москве, можно в школу без формы ходить?

Я сказал, что нет, без формы в Москве ходить нельзя, и что моя школьная форма как раз в Москве и осталась.

- Не покупать же вторую! – поддержал меня еще кто-то.

- А чего ты в Москву к себе не едешь, что это еще за обстоятельства такие? – поинтересовался какой-то хмурый мальчик.

Я объяснил: новая квартира, бабушка в больнице.

- Ловко! – неодобрительно отозвались в толпе.

- Хорошо, - никак не могли успокоиться мои новые товарищи. - А тут-то ты чего делал?

- Отдыхал, - сказал я и сразу почувствовал, что меня не поняли.

- Ишь ты! А отчего это ты так устал?

- А вы что, не отдыхаете на каникулах, никуда не ездите?

- Так это летом – в пионерский лагерь или к бабке в деревню.

- Ну, вот! – сказал я.

- Чего вот?! Это совсем другое дело – там речка, велик, пацаны знакомые...

- А здесь – музеи... – неловко начал я.

- Музеи? – не поняли меня.

Я почувствовал, что отношение ко мне меняется в худшую сторону...

- А какие у нас тут музеи? Вот у вас там, в Москве, Кремль, эта, как ее, Царь-пушка...

Похоже, мои новые одноклассники и мои ленинградские родственники проживали в разных городах. Ленинград всегда казался мне культурной столицей страны. Здесь же, похоже, этого не знали; меня окружали жители глухой провинции, если не вовсе дыры.

- А у вас - Эрмитаж, Русский музей, музей Суворова... - попробовал я открыть глаза ленинградцам.

- Вообще-то, в Эрмитаже мы были – ходили в третьем классе, - вспомнил кто-то. - У нас тогда еще Васькин на обратной дороге чуть под трамвай не попал.

Всё равно на меня уже смотрели, как на больного.

И тут кто-то заметил фломастеры у меня на парте.

- Это чего такое, фломастеры, да?

- Фломастеры, - подтвердил я.

Столпившиеся вокруг меня жители города на Неве сокрушенно молчали, переживая увиденное.

В нашем классе фломастеры водились у двух девочек – Драновой и Петровой. У Драновой родители работали в торгпредстве в Японии, а у Петровой, похоже, были просто шпионами – они жили в Англии и их никто никогда не видел. А еще фломастеры появлялись у тех, кому они их подарили. Поэтому Дранову и Петрову часто приглашали на празднования дней рождения (Петрова, правда, вскоре перешла на полиэтиленовые пакеты с картинками и надписями по-английски).

В этом классе, похоже, про фломастеры слышали, но ни у кого их, конечно, не было.

- Ух, ты, - сказала какая-то девочка, - вот бы попробовать...

- А у вас там, в Москве, чего – у всех фломастеры есть?

Я задумался, как ответить, но тут же получил еще один вопрос.

- Слышь, а у тебя, может, и джинсы есть?

- Есть, - неожиданно сказал я, не успев сам себе удивиться.

- Американские, да? – не унимался любопытный.

- А какие еще?! - ответили за меня.

- А откуда? Отец, наверное, привез?

Обратной дороги не было, я кивнул.

- А часто он у тебя в загранку ездит?..

Слава Богу, прозвенел звонок. Начался урок математики. Я удивился серьезности, с которой здесь относились к учебе. В нашем классе унижаться из-за оценки означало навсегда потерять лицо. А здесь... Не решивший у доски задачу громил всерьез просил учительницу не ставить ему двойку и обещал прийти после уроков. Более того, за него вступились одноклассники.

- Не ставьте ему два, а то его отец прибудет. Он и так со смены на рогах приходит и всех на уши ставит...

Удивляло и многое другое. Хулигана Вербицкого, разбившего на перемене нос отличнику Козлову, всерьез называли зверем. («Ты, Вербицкий, не пионер, а зверь», - дословно сказал председатель совета отряда Витя Артемьев). Ко всему прочему мои новые товарищи отличались пугающим законопослушанием. В нашем (московском) классе сменную обувь, как правило, приносили (без этого не пускали в школу), но до последней возможности старались не надевать. (Мы всегда и во всём стояли на страже своей privacy). Здесь же ученики безропотно переобувались в «сменку», причем сменной обувью часто служили копеечные чешки или домашние шлепанцы.

Родители моих новых одноклассников часто работали в какую-то «ночную». Родителей здесь, кстати, называли не мама и папа, а мать и батя (если не вообще – маманя с батяней). Меня сразу же называли «москвич» (мне, честно говоря, казалось, что это слово, как, скажем, и «запорожец», больше подходит для обозначения автомобиля). «А вы москвича спросите... Пусть москвич скажет», - то и дело раздавалось в классе. Учительница пыталась с этим бороться и напоминала всем о моем имени, но и сама часто называла меня «москвичом», правда, неизменно добавляя «наш»: «А что скажет (думает) наш москвич?»

Мне действительно то и дело удавалось сказать последнее слово истины. На первом же уроке математики я смог решить задачу, показавшуюся сложной даже самой учительнице (о том, что точно такую же незадолго до моего отъезда мы разобрали дома с папой, я говорить не стал). Но лучше всего это получалось на уроках литературы. Ленинградцы невероятным образом путали Пушкина не только с Лермонтовым, но и с Некрасовым, плохо и мало читали, затруднялись с пересказом и с истолкованием литературных сюжетов. Моим успехам никто не удивлялся: понятное, дело – москвич! Вскоре мне и самому стало

казаться, что всё это не случайно, раз я учусь в Москве, да еще в специальной (французской) школе.

Ко мне подсел отличник Козлов – перенимать опыт. Козлова, правда, скоро погнало: «Хорош борзеть, Козел, ты и так - отличник!». За право сидеть со мной выстроилась целая очередь. Не последнюю роль в этом играли и фломастеры. Особенно яростная борьба шла перед контрольными. Учительница почему-то не вмешивалась, может, и ей я казался кем-то вроде ее случайного помощника. По ее просьбе я стал заниматься после уроков с отстающими.

Я вдруг окунулся в совершенно новую жизнь. Я и в Москве был не последним человеком в классе, но стремительность моего восхождения в Ленинграде превосходила всякое представление о социальном успехе. Меня тут же выбрали в совет отряда (учительница, правда, напомнила, что я, к сожалению, в их классе не навсегда). Уже через пару недель я стал кем-то вроде «смотрящего» в тюремной камере или третьей судьбы при синагоге. Моего внимания искали председатель совета отряда Артемьев, отличник Козлов и хулиган Вербицкий.

Девочек, похожих статусом на мою московскую соседку-красавицу Ирину Голошееву, в классе не было. Надо сказать, что девочек в классе вообще особо не жаловали; здесь, похоже, сохраняли актуальность заветы домостроя. При них, например, ругались матом (правда, девочки этого особо не стеснялись, а некоторые так и просто, не задумываясь, отвечали тем же). Короче, девочки в классе за людей не считались и занимали откровенно подчиненное положение. Была еще, правда, какая-то лошадиного роста дура, которая, оказавшись как-то со мной за одной партой, вдруг захихикала и зашептала: «Москвич, а москвич, а я чё покажу!»

Однажды я случайно вышел из школы вместе с тихой девочкой Катей, нам оказалось по дороге. Катя попросила меня рассказать о Москве. С этих пор на уроках я иногда ловил на себе ее грустный взгляд (сперва мне казалось, что она смотрит на фломастеры).

Как-то раз наш класс сняли с урока из-за репетиции к празднику 23 февраля. Кажется, мы что-то должны были спеть хором. Нас привели в актовый зал, на сцене возвышалась конструкция, уже частично занятая другими четвероклассниками. Пробираясь на свободное место, я случайно задел какого-то лысого крепыша, который, не

разжимая губ, зашипел на меня неразборчивым матом и вдруг изо всех сил пнул ногой в колено. Я ударил в ответ, не успев задуматься. И, надо сказать, на редкость удачно (английского выражения lucky punch я тогда еще не знал). Я попал кулаком сбоку точно в подбородок (как учил меня папа); голову лысого встряхнуло, и по причудливой траектории он полетел с верхнего этажа конструкции прямо на пол. Удивительно, что он сразу же вскочил на ноги. Но вместо того, чтобы броситься на меня, он вдруг наклонил голову и стал крутиться на одном месте, отфыркиваясь и бодая лысой головой воздух. Трудно сказать, на какую ступень лестницы Ламарка он вдруг провалился. Ни о каком продолжении драки не могло быть и речи. Вырывающегося и издающего трубные звуки лысого под руки увели его товарищи. На мое счастье или несчастье в этот момент в актовом зале не оказалось ни одного учителя. Началась репетиция.

- Ну, ты и даешь, москвич, - сказал мне кто-то из одноклассников, - да ты хоть знаешь, кого завалил?

Конечно же, я не знал. Лысый оказался известным бандитом, связанным с районной шпаной. Наш классный хулиган Вербицкий по сравнению с ним был сущим младенцем. Одноклассники прямо говорили, что теперь моя жизнь закончена. Определенней всех высказался командир нашего пионерского отряда Витя Артемьев.

- Ну, все, москвич, теперь тебе полная, - и он произнес слово на букву греческого алфавита, выражающую отношение длины окружности к ее диаметру.

Я находился в состоянии эйфории (еще одно греческое слово) и действительно мало что понимал. Радость победы заглушала предчувствие возможной расплаты. Я вдруг заметил, что одноклассники что-то держатся от меня подальше. И только Витя Артемьев, видно, всё же не зря избранный на ответственную должность, уже спускаясь в раздевалку, быстро сказал мне: «Слышь, а, может, тебе родственникам позвонить, чтобы встретили... А завтра – сразу в Москву».

Папа не раз рассказывал мне, как в детстве они вдвоем с дядей Борей спина к спине отражали атаки толп окрестных бандитов (Детство моего папы с дядей Борей - это вообще рассказ не для слабонервных). Не хватает только, чтобы дядя Боря на старости лет попал из-за меня в какую-нибудь передрагу.

Похоже, никто в классе действительно не верил, что я доживу до завтра. Я с горечью подумал, как недорога цена моего культурного и социального успеха. Я уже не в первый раз замечал, что в опасной ситуации рассчитывать не на кого. Дорога до дома не занимала и пятнадцати минут. Весь вопрос был в том, как ее пройти.

Я вспомнил, как папа рассказывал, что после войны в развалинах неподалеку от их дома на Кирочной поселились бандиты. Они нападали на прохожих, затаскивали их в развалины, грабили, насиловали и убивали. Тела жертв находили через несколько дней. Милиция сама боялась и ни во что не вмешивалась. Я так и не смог понять, как удалось выжить папе, ходившему мимо этих развалин по несколько раз на день.

Давно отзвенел звонок с последнего урока. Школьный гардероб стремительно пустел. В этот раз тех, кому по дороге вместе со мной, точно не нашлось. Одноклассники быстро выскальзывали из школы, стараясь не встретиться со мной взглядом. И тут я увидел, что девочка Катя уже давно оделась и не уходит.

- Москвич, можно, я пойду с тобой?

В голове промелькнуло: а способна ли на такое красавица Ирина Голошеева? Я было подумал, что если со мной пойдет девочка, то, может, меня и не тронут, а если тронут, то, может, она закричит и кто-нибудь придет на помощь, но... Я твердо сказал:

- Нет, я пойду один.

Я оглянулся и вздрогнул, увидев лицо Кати. Такое я видел только в кино. Таким взглядом провожали на эшафот.

Я вышел из школы. Я шел быстро, то и дело оглядываясь и едва удерживаясь, чтобы не побежать. И все равно... Я даже не понял, откуда они взялись. Я вдруг увидел, что окружен толпой старшеклассников.

- Постой, москвич, - от толпы отделился самый длинный и патлатый, - слышь, чего скажу...

Я никогда не бегал от опасности. У меня просто отнимались ноги. Я остановился.

- Слышь, москвич, - снова сказал длинный вместо того, чтобы сразу ударить, - может, не будем, а?

Я молчал, не понимая, что происходит.

- Ты что думаешь, мы тут не понимаем, что к чему? Понаедут ваши московские, начнется мочилово... Слышь, может, забьем на это?

Я долго не мог найти с ответом. Интересно, как это выглядело со стороны.

- Ладно, - сказал я, - так и быть, забьем. Живите дальше. Патлатый обрадовался.

- А этому козлу мы еще и сами добавим, - сказал он. - Будет думать в следующий раз, на кого лезет.

Я вспомнил, как бодающегося «козла» уводили одноклассники, и даже пожалел его.

Так значит, папа был прав, напрасно я не доверял его опыту: главное – не бояться! Я шел, окрыленный новым пониманием жизни; сколько же возможностей я уже упустил, но ничего, теперь всё будет иначе.

Я ничего не стал рассказывать дяде Боре. Да и в классе на следующий день все странным образом забыли о том, что случилось накануне.

Тем временем в Москве наша семья переехала в новую квартиру, бабушка всё так же лежала в больнице. И наконец, дядя Боря объявил, что мне уже можно ехать домой.

Расстался я со своим новым классом на удивление легко. Я словно дочитал главу и перевернул страницу. Новые товарищи, грустная девочка Катя, прощальное чаепитие с заверениями в вечной дружбе – всё разом осталось позади. Меня ждала Москва, мой московский класс и красавица Ирина Голошеева. Я был уверен, что мой ленинградский опыт поможет мне и в своем собственном классе подняться на новую высоту. Я даже мысленно примеривался, кого бы мне так же удачно ударить.

Меня встретил папа. Никогда еще мне не надо было ему столько рассказать. Мы шли по перрону, было темно. Я говорил, не переставая. Мы взяли такси. Я рассказывал обо всем, что со мной случилось – о ребятах, не знающих свой город, о своих впечатлениях от новой, неизвестной мне жизни, о моих приключениях, о том, как ловко я ударил хулигана, и о том чуде, что случилось потом (о своих успехах у девочек я рассказывать не стал). Я говорил всю дорогу. Наконец, такси остановилось у незнакомого нового дома, и я вспомнил, что мы переехали. Подъезд пахнул свежей краской. На наш второй этаж мы поднялись на лифте. На стенах кабины еще не было ни одной надписи. Двери лифта открывались и закрывались автоматически. Пол на лестничной площадке был покрыт мелкой плиткой. Папа достал связку ключей. Раньше мы жили в квартире под номером четыре, теперь, оказывается, – сорок четыре. Папа распахнул дверь. Я ахнул. Новая квартира сияла чистотой и

порядком. Ее простор подавлял. Ослепительно блестел паркет, покрытый лаком. Я коротко разбежался и проехался как на катке – через всю комнату до окна. В углу на высоких ножках стоял новенький телевизор с огромным экраном. Я почувствовал, что начинается новая прекрасная жизнь.

- Вот это будет твоя комната, - сказал папа.

У окна стоял мой письменный стол, мои книги - в новом книжном шкафу, у стены роскошный диван. Раньше мы жили в одной комнате с бабушкой.

- А бабушка? – вдруг спохватился я. - Где будет жить бабушка?

Папа почему-то ответил не сразу.

- Бабушки больше нет, - сказал он.

- Как нет? – не понял я.

- Бабушка умерла, - сказал папа. - Мы тебе не говорили, пока ты был в Ленинграде. А сегодня... я хотел тебе сказать сразу, но как-то не получилось. У тебя был такой радостный вид, ты столько всего хотел рассказать.

«Значит, пока я там, в Ленинграде, здесь, в Москве...»

- Я сейчас, - сказал я.

Я быстро нашел ванную комнату, зашел, сел на край ванны и включил воду. Ослепительный свет заливал белые стены. Лила вода из крана, беззвучно протискиваясь в узкую горловину раковины. Я вдруг почувствовал, что мне нечем дышать. Не сразу понял, что рядом стоит папа, и что он положил мне руку на плечо. Кажется, я забыл запереть дверь.

Мне часто снится один и тот же сон. Я долго брожу по улицам без цели и безошибочно выхожу к подъезду нашего старого дома. (Каждый раз меня удивляет эта логика обратного отсчета). Он пуст и заброшен. Я поднимаюсь по лестнице. Узнаю каждую ступеньку, каждый изгиб перил, каждую царапину на штукатурке. Останавливаюсь перед дверью в нашу квартиру. Она не заперта, я вхожу - и словно оказываюсь на пересвеченной фотографии. В золотых лучах вижу каждую пульсирующую пылинку. И еще – здесь что-то не так с пространством. Я восхищен крошечностью нашего бывшего жилья и в то же время его безмерностью. Какая-то непривычная геометрия. В глубине квартиры я вижу бабушку, она совсем не изменилась. Она стоит и молча смотрит на меня. И я чувствую, как уходят все тревоги. И всё вдруг становится мне понятным. Кроме одного: где же я был всё это время?

«Зарница»

«Жизнь упала как зарница...»

О. Мандельштам

Когда Вера Сигизмундовна объявила, что наш 4-й «А» примет участие в общешкольной военной игре «Зарница», мы так закричали от радости, словно узнали о долгожданном наступлении коммунизма. Вера Сигизмундовна сказала, что теперь у нас будет не класс, а рота, и не четыре октябрятских звездочки, а четыре взвода. Так из командира звездочки я сразу превратился в командира взвода. Командиром же всей роты Вера Сигизмундовна назначила верзилу Гарькова, по-видимому, как самого крупного и представительного.

На перемене ко мне подошел Славик Карасюк – поздравить. Он сказал, что по уставу у командира взвода должен быть заместитель (на случай болезни или ранения) и предложил на это место себя. Он обещал мне профессиональную помощь в подготовке личного состава и в вопросах военной стратегии и тактики. (Отец Карасюка был офицером Генштаба.)

Маленького Карасюка не случайно называли в классе «карасёнышем» - он обладал трогательным умением словно незначай выставить любого полным идиотом. Нелояльность Карасюка могла мне дорого обойтись. Дешевле было согласиться.

На следующий же день Карасюк пришел в школу в школьном кителе с пришитыми погонами. Погоны были настоящими – с красной полосой и одной звездочкой. Вечером моя бабушка позвонила отцу Карасюка, а на следующее утро вместо обычного похода в продуктовый магазин отправилась на метро в военторг. К моему возвращению из школы меня уже ожидали пара новеньких погон и бумажный пакетик с четырьмя золотыми звездочками. В нашей семье самой технически грамотной была бабушка. Вооружившись школьной линейкой и карандашом «Конструктор-2М», она разметила погоны, шилом сделала дырочки и прикрепила на каждый погон по две звездочки. К сожалению, приложенные к серому школьному кителю погоны сильно выступали крыльями, что, с учетом военной темы, делало меня несколько похожим на ангела смерти. Погоны подогнули и насмерть (опять же!) пришили к кителю. Я надел китель, подошел к зеркалу. И

ахнул. На меня смотрел не какой-нибудь «сын полка» (как на обложке книги Катаева), а лихой командир - молодой лейтенант, размахом плеч смахивающий на спортсмена-разрядника.

Вскоре и другие командиры взводов завели себе погоны, и теперь по утрам мы здоровались за руку, вставали в кружок и обсуждали возможные боевые действия. Карасюк приходил в школу с «Красной звездой», разворачивал ее на переменах и внимательно изучал страницу за страницей. То и дело он задумчиво говорил что-то вроде: «Да-а... пока в мире существует империалистическая угроза, рано нам еще успокаиваться...»

После уроков мы строили личный состав, отработывали строевой шаг, перестроение в колонну и шеренгу, повороты на месте и на марше. Первое время я чувствовал какое-то неудобство, отдавая команды. Но вскоре это прошло. Я даже научился солдафонскому «Р-р-разговорчики в строю!», а после команды «Вольно!» стал добавлять: «Можно оправиться и закурить!» Слабо разбирающаяся в военном деле Вера Сигизмундовна не могла нарадоваться нашей самостоятельности. Сама же она то и дело зачитывала нам на уроках подходящие к случаю отрывки из произведений русских писателей.

- В поэтическом ряду рядом с зарницей стоит слово заря – одно из прекраснейших слов русского языка, - взволнованно говорила Вера Сигизмундовна. - Есть в нем что-то девическое, целомудренное... Вот, послушайте: “Зарницы тревожились в небе, зарницы играли в хлебах”... Земля слушает их, хлеба слушают их... Полночная зарница! Звезда любви, звезда предраассветная!

Вскоре весь наш класс купил пилотки с красной звездой. Теперь мы, командиры, требовали, чтобы при встрече одноклассники отдавали нам честь. Узнав про это, папа не удержался и переспросил меня: что, и девочки тоже? Я подтвердил – да, и девочки тоже. «Ну-ну», - только и отозвался папа.

Шло время. В один из зимних дней Вера Сигизмундовна внезапно сообщила, что завтра вместо уроков наконец состоится игра, и чтобы мы пришли в школу с лыжами, как на физкультуру. Похоже, информация из штаба проведения игры доходила до начальной школы с трудом. На наши вопросы о том, как будет проходить игра, Вера Сигизмундовна сказала лишь то, что всех участников разбивают на две группы – зеленые и синие (красный был по

понятным причинам исключен), а все остальные детали мы узнаем на месте. Главное – не забыть лыжи и лопатку для снега.

Ночь перед боем я почти не спал и провел в возвышенном полубреду. То, как Суворов на перевале Сен-Готард, я вел свой взвод через глубокую часть оврага на краю нашего тропаревского леса (из снега вдруг проступали отвесные скальные выходы, овраг делался похожим на Альпы); то, как генерал Брусилов, совершив неожиданный маневр, прорывал укрепления противника; а то, как герои Сталинграда, ведя позиционную оборону, мы рыли траншеи и жили в них месяцами. И, конечно же, повсюду рядом со мной моя соседка и подруга, красавица Ирина Голошеева; она видит, как я принимаю решения и веду взвод к победе.

Под утро я всё же заснул. Мне снилось, что Ирину Голошееву ранили, и я выношу ее из-под огня противника прямо к ее родителям. «Спасибо, что ты не бросил нашу Ирочку», - скажет мне ее мама тетя Люся. К дому подъедет «скорая». Всю в бинтах и на носилках Ирину Голошееву увезут в больницу. Она бросит мне на прощанье благодарный взгляд, и дверца «скорой» за ней захлопнется. «Ты спас нашу дочь, и теперь она твоя, - скажут мне ее счастливые родители. - Если хочешь, можешь забрать ее к себе в квартиру».

И Ирина Голошеева, выйдя из больницы, перейдет жить к нам – с третьего этажа на второй – в комнату, которую мы делили с бабушкой. Теперь Ирина Голошеева будет спать со мной на одной кровати (как папа и мама в соседней комнате), а по утрам она будет вставать раньше, чтобы приготовить нам завтрак и погладить мою школьную форму. В школе мы и раньше были живой иллюстрацией на тему, может ли мальчик дружить с девочкой. Нас всегда ставили всем в пример. Теперь же, глядя на нас, Вера Сигизмундовна будет неизменно добавлять: «Фронтная дружба – самая крепкая».

Утром я еле встал, второпях собрался, а в последний момент под лыжную куртку на всякий случай надел школьный китель с погонами. За мной, как всегда, зашла красавица, и с лыжами наперевес мы побежали в школу.

Пустьерь перед школой был переполнен. Атмосфера была почему-то не столько праздничной, сколько тревожной. Многих, даже старшеклассников, пришли проводить родители. Чем-то все это смахивало на отправку мобилизованных на фронт. Мой взвод, слава Богу, явился в

полном составе. Без лыж пришла только Вера Сигизмундовна. Лопату она тоже не принесла. Славик Карасюк пришел, подпоясавшись офицерским ремнем, на шее у него висел бинокль в кожаном чехле. Наконец в темноте зимнего утра все двинулись в сторону леса.

Спуск в овраг, за которым начинался лес, смешал весь порядок. Участники игры налетали друг на друга, падали, на них тут же наезжали следующие... Царила полная неразбериха. Учителя и командиры тщетно пытались собрать классы и взводы, пересчитать их и построить. Вера Сигизмундовна сразу же отстала и потерялась. Я подумал, что сейчас мы все являемся отличной мишенью для артиллерии и авиации возможного противника. Кажется, что-то похожее происходило и в первые дни Великой Отечественной. Никто не знал, что делать и к чему готовиться. Верзила Гарьков в отсутствие Веры Сигизмундовны совершенно растерялся. Где-то вдали физрук Федор Михайлович что-то кричал в мегафон и свистел в свисток. Металась старшая пионервожатая Лена. Кажется, она отдавала какие-то указания. В такие минуты я обычно чувствую себя наиболее уверенно. Оставив вместо себя Карасюка, я подъехал к Лене.

- Ты кто, командир? – спросила Лена. - Какой класс?

Она сказала, что четвертые классы должны занять позицию в какой-нибудь ложбинке за поворотом леса, там закрепиться и ждать дальнейших распоряжений.

Прежде чем тащить за собой взвод, я решил быстро произвести разведку, чтобы найти самую лучшую позицию. Наш лес я знал вдоль и поперек. Я быстро поднялся на противоположный склон оврага, завернул за поворот леса, пересек еще несколько отрогов и нашел отличную, прикрытую со всех сторон, позицию. И так же быстро поехал назад. Уже отъехав на сотню метров, я вдруг заметил, что еду по чужим следам. Впрочем, чуть правее, чуть левее, никакого значения не имело – я отлично знал лес, и вот-вот из-за поворота должна была появиться толпа участников игры. Однако не только толпы, но и самого поворота что-то долго не было. Кажется, я свернул не в тот отрог оврага. Может, стоило вернуться к найденной позиции? Я поехал назад и еще минут через десять понял, что что-то не нахожу и ее тоже. А главное, куда-то ушла опушка. Со всех сторон меня окружал густой лес. Впрочем, беспокоиться было не о чем. Наш лес проходился пешком за час в любом направлении. Вопрос был только в том, как правильно

направление выбрать. Наконец, мелькнул просвет в деревьях, правда, не совсем с той стороны, где должна была быть опушка. Я побежал бегом, скатился в еще один овраг, поднялся. Просвет исчез. Я почувствовал вкус крови во рту. Снова вернулся обратно, потом свернул, проехал еще минут десять. Больше просветов не было. Я никак не мог понять, где я оказался. В нашем лесу я знал каждый подъем, каждый спуск, каждую тропинку. И не узнавал ничего вокруг. Лес непостижимо переменялся. Вспомнились русские народные сказки.

Я поплутал еще немного. Вдруг я услышал женские голоса; между деревьями мелькали тени. Навстречу мне ехали четыре девочки-старшеклассницы из нашей школы. У них были хорошие открытые лица. Может, немного взволнованные.

- Мальчик, - обратилась ко мне одна из них, - ты не видел, где здесь военная игра? А то мы чего-то потерялись...

Я с сожалением сказал, что тоже потерялся.

- А, ты из нашей школы? – обрадовались девочки. - А из какого класса?

Я сказал, что из четвертого.

- А разве такая малышня играет? – удивились девочки.

Пропустив мимо ушей «малышню», я сказал, что играет.

- Ну, поехали тогда вместе, - предложили девочки.

Трудно сказать, на что я понадеялся. На то, что это старшеклассницы, на то, что их много? Девочки плохо стояли на лыжах и шли медленно, тяжело опираясь на палки. Какая-то инерция мешала сразу же исправить ошибочное решение. Кроме того, мне казалось, что бросить одних в беде девочек – пусть и старших - будет некрасиво. В результате я так и плелся вслед за ними, испытывая тоскливое раздвоение.

- Слышь, - вдруг сказала одна из них, в красной курточке, - а ты какой, синий или зеленый?

Я сказал, что синий. Девочки вдруг замолчали.

- Девки, - вдруг зашептала все та же девочка, - а чего мы синего за собой тащим?

Только тут я заметил у них на рукавах зеленые повязки. Они остановились. Кажется, они знали о правилах игры больше, чем я. Как пишут в романах, мое сердце сжалось от нехороших предчувствий.

- Надо бы его – того!.. - горячо зашептала еще одна девочка, с косичкой, выбивающейся из-под шапочки. И я вдруг оказался окруженным со всех сторон четырьмя

старшеклассницами. Еще можно было рвануться изо всех сил...

- На лыжи ему наступай, - командовал еще кто-то, и я почувствовал себя как в капкане. Черт меня дернул поменять полужесткие крепления с резиночками и пружинами на жесткие. Металлические скобки намертво держали ботинки.

- Хватай его! - командовала все та же решительная девочка. На меня жарко навалились четыре тела. Если бы это были мальчики, я, наверное, стал бы драться. Но меня всегда учили, что драться с девочками нельзя.

- И как мы его? - горячо дыша, спросила другая девочка, в очках на круглом лице. (Люди в очках всегда вызывали у меня особое доверие.)

- Повязка должна быть... Слышь, где твоя повязка?

Никакой повязки у меня не было.

- Спрятал, гад! - сказала девочка в очках. - Давайте его обыщем. Выворачивайте ему карманы!

Я не сопротивлялся, хотя и сам чувствовал в этом что-то противоестественное. Восемь женских рук жадно зашарили по моему телу, расстегнули куртку, рубашку, одна из них, показавшаяся самой холодной, полезла под майку. Я дернулся.

- Не понимаешь по-хорошему? - сказала девочка с косичкой. Она подумала и добавила: - Сейчас как дам ...! (Мне сперва послышалось «звезды».) И вдруг покраснела. Я тоже покраснел. В нашем четвертом классе девочки так не говорили. С меня сняли куртку и обнаружили под ней китель с погонами.

- Ишь ты - офицер! Важная птица!

- Девки, - догадалась девочка в очках, - рвем ему погоны!

Затрещали нитки, вся бабушкина работа пошла прахом.

- Готов», - удовлетворенно сказала одна из девочек (вспомнилась пионерская клятва), - Всё, покойник.

Никакого покоя я не ощутил. Более того, я вдруг почувствовал, что едва сдерживаю слезы. Обрывки погон девочки зачем-то забрали себе. Одна из звездочек отвалилась и золотом мерцала из снега.

- Надо бы его допросить, - задумалась девочка в очках, - чего он тут вынюхивал, один в лесу?

Она легко пересекла границу двух миров. Я и сам перестал понимать, на каком я свете.

- А может, его в штаб отвести? - сказала еще одна.

- Не пойду, - наконец-то твердо сказал я.

- А давайте к дереву его привяжем, - догадалась девочка в красной курточке, - а потом вернемся за ним с нашими ребятами. Они ему и вломят, если что.

Я где-то читал, что на войне люди стремительно теряют человечность. Вернее, не все люди, а враги. Неужели мы уже успели стать друг для друга врагами? А еще я понял, что момент для сопротивления непоправимо упущен; я давно был прочно зажат четырьмя женскими телами. Меня придавили спиной к березе, из моих же штанов вытащили кожаный ремень и, заведя мои руки за ствол, замотали их ремнем.

- А он тут не замерзнет? – спохватилась самая человечная из девочек.

- Да мы сейчас, быстро, приведем ребят, и в штаб его, гада!

На меня накинули сверху куртку и уехали. Одна из девочек чуть задержалась.

- Мальчик, - сказала она, - ты не обижайся, ладно? Как говорится, *a laquerre comme a laquerre*, понимаешь?

Я понимающе кивнул, всё-таки французская спецшкола. И добрая девочка побежала догонять остальных.

А я остался. В лесу стояла тишина. Бесшумно осыпался снег с ветвей. Чуть начало светать. И тут над лесом вдруг взлетела красная ракета и зарницей опалила горизонт. Спустя мгновение до меня донеслось многоголосое протяжное «У-ра-а!» Кажется, начался штурм горы. Я не вернулся к своему взводу. Всё. Игра закончилась.

Тоска пронзила меня. Я вдруг понял, что совершенно не хочу ждать, когда за мной вернутся какие-то ребята, да еще, может, за что-то и «вломят». У меня пропало всякое желание играть по чужим правилам. Что я делаю в этом лесу на морозе, один, да еще привязанный к дереву? Впрочем, если они за мной не придут, может получиться еще хуже. А если меня вообще тут никто никогда не найдет?

От неосторожного движения сброшенная куртка давно свалилась в снег. Становилось как-то холодно. Сперва задубели ноги в ботинках, потом начало прихватывать руки. Холод сковал шею и пополз за шиворот. Неожиданно захотелось спать. Я как раз недавно прочитал рассказ Льва Толстого «Хозяин и работник». А еще я вдруг вспомнил изображение генерала Карбышева на марке серии, посвященной подвигам советских людей в Великой Отечественной войне. Бабушка объяснила мне, что фашисты взяли его в плен и обливали на морозе из шланга,

пока он не превратился в ледяную глыбу. Только этого мне не хватало. Я вдруг представил себе, как моим родителям приходит справка из школы: «...Ваш сын героически замерз, но не предал...» Чего это такого я не предал, какого черта я вообще во все это влез? Здоровый инстинкт самосохранения все же брал свое. Я почувствовал, как во мне пробуждается ярость, и рванулся изо всех сил. Ноги, скованные лыжами, поехали вперед, и я упал к подножию дерева, вывернув руки в суставах. Я вспомнил, как враги мучили сына Тараса Бульбы. Кажется, это называлась дыба. Я напряг руки и стал медленно подтягивать ноги. Выражение «протянуть ноги» в своем самом зловещем смысле вдруг сделалось мне по-особому понятным. Похоже, всерьез началась борьба за жизнь. Большой радости от того, что мне все же удалось встать, не было. Я всего лишь вернулся в исходное положение. Неудачная мысль о том, что навалившись спиной на березу, можно ее сломать или вырвать с корнем, быстро прошла. Все-таки, я был не медведь. О том, чтобы как-то развязать ремень, не могло быть и речи. Оставалось только перетереть его о ствол. Ремень был новый, кожаный, подарок папы. Связали меня как-то неожиданно умело. Перетиралась почему-то не столько кожа ремня, сколько кожа рук. Вспомнился Муций Сцевола. Ремень оказался очень хорошего качества. Возможно, мне вообще не удалось бы его перетереть, но, к счастью, вдруг что-то треснуло, и хватка ремня ослабла. Кажется, отлетела пряжка. Еще несколько усилий, и я освободил руки. Сбил снег и лед с одежды, надел куртку и медленно покатил в сторону, откуда взлетела красная ракета. Спешить мне больше было некуда. Я ехал и все никак не мог вспомнить – когда у меня еще было так погано на душе?

Лес снова стал узнаваем. И опушка тут же нашлась. Игра давно закончилась, все уже возвращались в школу. Как нарочно, первой же, кого я увидел, оказалась красавица Ирина Голошеева.

- Белкин, лапочка, ты где был? - закричала она тем отвратным тоном, каким в последнее время всё чаще обращалась ко мне на людях. (Такой тон моя мама называла *vulgaire*). Мне показалось, что за время моего отсутствия она заметно одичала. Я попробовал объяснить: поехал на разведку, встретил превосходящие силы противника и, в общем, как бы это сказать, они меня...

- А Белкина убили! - вдруг торжествующе закричала красавица и захохотала. - Вот умора!

Я явственно понял, что в ближайшее время она в нашу квартиру не переедет.

Дома меня ждали с обедом. Как специально, раньше пришел с работы папа. Вкусно пахло компотом, сваренным бабушкой. Меня, конечно, сразу же, спросили о том, как прошла «Зарница». Я сказал, что нормально, но патологическая честность заставила меня добавить, - но вообще-то меня убили. Все вдруг как-то вздрогнули.

- И много вас таких? – спросил папа и с усилием добавил: - Убитых?

Я сказал, что, кажется, я такой один.

- Азохн вэй! - ахнула бабушка.

- И как же это тебя угораздило? - осторожно спросил папа. Я рассказал. Установилось долгое молчание.

- Ты что, расстроился? – сказал, наконец, папа. - Подумаешь, ну, мало ли что в жизни бывает.

И, похоже, сам удивился тому, что сказал. Я сказал, что я совершенно не расстроился, но всё же как-то не очень приятно.

- И зачем такие игры устраивают? - не выдержала мама. - Тоже мне – патриотическое воспитание!

- Забыли, где живете? - как всегда, напомнил папа.

Раздался звонок в дверь. Это красавица пообедала и пришла ко мне вместе делать уроки. А еще она надеялась отыграться в шахматы. Жизнь снова входила в свои права.

Я и по сей день не знаю, что сделали убившие меня старшеклассницы с моими погонями. Никаких боевых действий между синими и зелеными, как оказалось, не было. И те, и другие долго окапывались, готовясь неизвестно к чему, потом по сигналу с разных сторон побежали к вершине горы. Командование моим взводом принял на себя Карасюк. Я так и не понял, кто первым водрузил знамя на вершину. Во всех случаях, напавшие на меня в лесу старшеклассницы взяли на себя лишнее. Можно, сказать, что убили меня случайно, из-за плохого знания правил игры. Вот. А Игоря Гарькова наградили почетной грамотой – за что, непонятно. А про меня никто и не вспомнил. Вернее, не узнал о том, что со мной случилось. Так это и осталось странным фактом моей биографии. Можно сказать, своеобразным фальстартом, а точнее, фальфинишем. Я и сам про это вскоре забыл. А сейчас вот что-то вспомнил. С чего бы это, интересно?

Рождение белого города, или «Дар аль-йехуд»

*Да отсохнет моя левая рука, если
позабуду Тель-Авив!*

*Надпись в общественном
туалете*

Должники и кредиторы

*Каждый великий успех имеет
своим истоком великую дерзость
воображения.*

Автор неизвестен

На рассвете 18-го числа месяца кислев 5580 года по еврейскому летоисчислению¹ трёхмачтовый корабль под турецким флагом подходил к берегам Яффо. Пассажиры в ожидании конца путешествия разбежались по своим каютам и упаковывали свой багаж. В отличие от них, Ишияху Аджимен - высокий статный человек лет сорока, - остался на палубе. Он был казначеем корпуса янычар и выглядел соответственно. Тщательно ухоженные усы отлично гармонировали с чёрными глазами и модно уложенными волосами, лишь чуть подёрнутыми сединой, которая не старила его, а придавала мужественности. Чёрная ермолка на голове была едва различима. Одет господин Аджимен был в костюм английского сукна наивысшего качества. Он не спустился в каюту, во-первых, потому что путешествовал налегке, а во-вторых - и это самое главное! - ни в коем случае не хотел пропустить момент входа в порт.

Посреди скал и утёсов, еле различимых в предрассветной дымке, Ишияху увидел огонёк, затем ещё один. И ещё один – в итоге весь берег засиял огнями. Увиденное пробудило в нём детские воспоминания о весёлом празднике Суккот когда он, семилетний мальчик, пройдя сквозь кромешную темноту, входил в раскрашенный, ярко освещённый и

¹ Пятница, 24-го ноября 1820-го года по григорианскому календарю.

наполненный лакомствами шалаш. Как и тогда, в нём вдруг проснулось ожидание чуда. Он почувствовал любимый с детства запах апельсинов. «Иоппия!» - прозвучало в мозгу библейское название порта. Название «Яффо» ему не нравилось.

- Вот он, красавец Яффо! - вывел его из задумчивости голос попутчика, албанца Леотрима. - Вот врата Палестины! Ну, и как вам нравится?

- Да, в общем-то, неплохо. Только знаешь, Леотрим, что странно: большой порт, морские ворота Святой Земли. А маяка почему-то нет. Хотя бы маленького...

- Вы знаете, я не первый раз сопровождаю нашего агу¹ Хусейна в его инспекциях в Яффо. Однажды мы с солдатами гуляли по набережной и разговорились с местными рыбаками. И они рассказали, что когда-то здесь был маяк. Правда, свет того маяка был очень слаб, но всё же помогал местным рыбакам. А свет маяка поддерживало сердце девушки, влюблённой в молодого рыбака. Но однажды её возлюбленный заплыл очень далеко. Для его спасения девушка отдала все свои силы, чтобы усилить свет. И угасла, а оставшись без её поддержки, маяк развалился. С тех пор нет больше путеводной звезды для заблудившихся лодок бедных рыбаков... Как вам история, понравилась?

- Да ничего, только грустная. А всё-таки в Яффо нужен маяк. Город бы от этого только выигрывал. - Да Абу-Набуту² сейчас не до этого. Ему бы шкуру спасти.³

Корабль остановился метрах в восьмистах от берега.

- Ближе не подойти, - сказал Леотрим, - мели. А с берега нас пока что не заберёшь, слишком высокие волны. Придётся ждать, пока море не успокоится.

- Ничего страшного, - ответил Ишияху, - подождём.

¹ Ага – командир корпуса янычар, принимавший участие во всех заседаниях высшего совета Османской империи – Дивана.

² Абу-Набут - прозвище губернатора Яффо (с 1807 по 1822-й год) Мехмет-бея. Буквально переводится как «отец палки». Прозвище он получил за свою привычку разгуливать с дубинкой по городу, и если провинившийся попадался ему под руку, то расправа происходила незамедлительно.

³ В 1819-м году Сулейман-паша выслал в Яффо войско. Абу-Набут бежал в Египет, и Мухаммед Али (правитель Египта в тот момент) исходатайствовал ему помилование султана. С того времени вся прибрежная Палестина вошла в состав Аккского пашалыка.

Полдня стояли и ждали, пока море не станет спокойнее. И лишь после обеда, едва волнение поутихло, с берега, отчаянно работая веслами, отправились несколько лодок. В них сидели городские полицейские и стражники, явно принаряженные по случаю приезда высокопоставленного гостя. Спустя несколько минут Хусейн и его свита спускались в украшенную коврами лодку аги. Гребцы в этой лодке были особенно нарядны, - рослые и выделяющиеся физической силой. Поэтому лодка без труда опередила все остальные.

Сойдя на берег, Ишияху как можно быстрее смешался с толпой народа. Вездесущая пыль немедленно заскрипела на зубах. В нос ударили миазмы нечистот. Не успел он отойти от берега, как к нему со всех сторон ринулись попрошайки, зазывалы, извозчики... Кое-как отцепившись от просителей, он, погруженный в свои мысли, пошел вдоль городской стены.

«Да, времени совсем немного; с исходом субботы надо будет немедленно отправиться в путь... - И вдруг решение само собой созрело: - В конце концов, я здесь для того, чтобы, может быть, сделать самое важное дело в жизни. Если не успею на корабль, значит - на то воля Всевышнего».

Придя к решению проблемы, он осмотрелся вокруг и понял, что от прибрежной вони и суеты не осталось и следа. Приятный запах апельсинов опять щекотал ноздри. Прямо напротив открытых городских ворот находилась небольшая прямоугольная каменная постройка с тремя куполами и двумя колоннами по краям. Строение было явно новое: камни ярко отсвечивали белизной. Перед сооружением стоял человек в ермолке и внимательно что-то разглядывал. Ишияху не спеша вышел за ворота и направился к этому человеку.

- Здравствуйте, - обратился к нему незнакомец. - Меня зовут Аһарон, Аһарон Маталон, а вас?

При ближайшем рассмотрении Аһарон оказался чуть ниже казначея и выглядел он постарше. Седина порядком окрасила его волосы, а ермолка закрывала расширяющуюся лысину. Прозрачные карие глаза внимательно изучали собеседника.

- Я Ишияху Аджимен.

- Вы приехали по делу или просто хотите посетить святыни?

- Ну, конечно же, посетить святыни; но и кое-какое дело у меня тоже имеется. А если не секрет, что вы так внимательно изучали на этой стене?

- Да понимаете, - улыбнулся собеседник, и улыбка совершенно преобразила его широкое скуластое лицо, – этот сабиль¹ в Яффо – притча во языцех. Его строительство началось лет пять назад, а закончилось совсем недавно; тут всё делается очень не спеша. Любопытна как раз история этого строительства. Вы, наверное, слышали, что наш, - на данный момент беглый, - губернатор правил в Яффо тяжелой палкой, за что жители любовно прозвали его Абу-Набут. Так вот, рассказывают, что однажды Абу-Набут отправился погулять за пределы своего города. Случайно задремав в тени из-за полуденной жары, правитель задержался и вернулся к единственным яффским воротам, когда на город опустилась ночная мгла. Он по привычке бухнул по тяжелым створкам своей палкой. Сверху раздался недовольный голос охранника:

- Жди утра, путник! По приказу нашего любимого владыки, с заходом солнца никто не входит и не выходит из города!

- Ослы, я Абу-Набут! - закричал градоначальник. - Впустите меня немедленно!

- Ты ишак, сын ишака с мозгами курицы, а не Абу-Набут, - ответил один из охранников, - иначе бы знал, что с наступлением темноты никому нет входа в город. И не приведи Аллах, что будет охраннику, послушавшемуся приказа мушарифа.

- Но мушариф² – это я. Открывайте ворота!

- Не говори глупости, странник, — отвечали стражники. - Абу-Набут, да продлятся его дни, спит в своем дворце. Жди утра.

В бешенстве заколотил Абу-Набут по воротам своей дубиной.

- Немедленно идите во дворец и убедитесь, что там никого нет.

В ответ раздался лишь смех.

- Никто не смеет тревожить покой нашего могущественного господина, когда он отдыхает. Уймись и жди рассвета, чужеземец.

Может быть, и узнали стражники своего губернатора, но уж очень сильно доставалось им от него прежде. Напрасно он осыпал проклятиями стражников, увещевал и даже молил. Охрана оставалась непреклонна. Пришлось ему

¹ Сабиль – фонтан (арабск.).

² Мушариф – прославленный, славный, знаменитый (арабск.).

получше укутаться в свой шерстяной плащ и зябнуть у стен города до восхода солнца.

Наутро продрогший, голодный и невероятно злой губернатор собрал приближённых и обратился к ним с пространной речью: «Проклят и сын проклятого тот, кто станет дружить с жителями Яффо!» — завершил он поток своего красноречия. После этого градоначальник приказал поставить на том месте, где провел ночь, большой сабиль. Так вот, многие торговцы в Яффо уверяли меня, что этот источник украшен той самой фразой о проклятых жителях. А я родился и вырос в Ираке и хорошо знаю арабский.

- Да, я тоже умею читать на арабском, - ответил Ишияху.

- Я из семьи выходцев из Марокко. Вполне нормальная и правильная надпись: «Этот фонтан был построен во дни владыки-победителя, достопочтенного господина нашего султана Мехмет-хана, да продлит Аллах его правление на все поколения и во все дни... Здравья каждому, утоляющему жажду».

- Надпись правильная, но не верная.

- То есть?

- Правильная по содержанию, но не верная по сути. Понимаете, у Всевышнего нет рук, поэтому ему всё приходится делать с помощью людей; а сам Он может лишь вкладывать в человеческие головы мысли и побуждать к действию.

- И как же определить, какое действие Творцу угодно, а какое нет?

- Да проще простого. Начинания, Ему угодные, Всевышний поддержит, а неугодные - нет. Однако нам пора возвращаться в город, скоро начнёт темнеть. Если уж мушарифу ворота не открыли, то что говорить о нас!..

- Вы действительно думаете, что во всей этой истории есть хоть доля правды?

- Нет, конечно. Но представлять, как губернатор молил ему открыть и плакал перед городскими воротами, всё равно приятно, - в глазах Ахарона заиграли весёлые искры.

Они не спеша прошли через городские ворота. Вдруг казначея кто-то окликнул по имени:

- Ишияху, вы что, ещё не уехали в Иерусалим?!

- Нет, Леотрим; вот-вот наступит суббота. Завтра поеду. А что ты здесь делаешь?

- Ага любит проводить внезапные проверки. Никто не ожидал, что прямо с корабля он отправится к городским

воротам, а он именно это и сделал. Если не найдёте, где переночевать, приходите к нам.

- Да посмотрим; думаю, что-нибудь найдётся.

Два еврея продолжили свой путь.

- А вы не любите беглого губернатора.

- Как можно любить человека, который пускает в ход палку по любому поводу?

- А вы хорошо говорите по-турецки.

- Да, так уж получилось, что этот язык я знаю неплохо. Хотя для того, чтобы простому еврею нормально жить при османской власти, абсолютно не нужно хорошо знать язык. Достаточно понимать значение двух слов: бакшиш¹ и палка. Если хочешь тихо и спокойно жить, всегда, в любом случае, нужно уметь дать бакшиш. И не спрашивайте меня, кому! Абсолютно всем! И не спрашивайте меня, сколько... Нет единой цены! Давайте столько, сколько вам учтиво и вежливо говорят при личной встрече, и всем будет хорошо. Бакшиш решает все проблемы. Но, не приведи Всевышний, отказаться дать бакшиш! В тот же момент появится жандарм, вы окажетесь в тюрьме, кишасей крысами, и ваши друзья и близкие должны будут собрать огромную сумму денег для того, чтобы вытащить вас оттуда.

Чуть переведя дух, он продолжил:

- А если вы не дали бакшиш просто потому, что у вас нет нужной суммы, с вами поступают совсем просто: кладут на деревянную лавку, снимают обувь и начинают отсчитывать тяжёлой тростью по пяткам. И уж после этого вы очень хорошо усвоите, что такое палка.

Ишияһу вдруг обнаружил, что в разговоре о тонкостях яффского турецкого языка они довольно значительно отделились от фонтана.

- Аһарон, подождите, а куда мы идём?

Лицо собеседника озарила обезоруживающая улыбка.

¹ Бакшиш (перс. بخشش¹; bakhshīsh от bakhshīdan — давать) — пожертвование, а также разновидность некоторых форм коррупции и взяточничества на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Согласно язвительному определению, которое дал этому явлению автор работ по археологии Лео Дойель, это «щедрое вознаграждения и взятки, грубо требуемые и любезно принимаемые местными жителями в обмен на незначительные либо вовсе не оказанные услуги».

- Ну, вообще-то, я хотел вас заболтать и привести к себе домой. У меня не хватает одного еврея до миньяна¹. Вы ведь собираетесь продолжить путь в один из четырёх святых городов², скорее всего - в Иерусалим; просто сейчас не уехали, потому что не хотите ехать в субботу. Поэтому размышляете о том, что надо бы искать место для ночлега. Я вижу, вы человек состоятельный, и, конечно же, вам не придётся, как многим евреям, которые в субботу оказались в Яффо, спать на улице, страдая от холода и вздрагивая при любом приближении незнакомца. Лихих людишек здесь хватает. Но поверьте: лучше и уютнее, чем у меня, вам нигде не будет. У меня кошерная еда, привезённая из Лода³, а главное - настоящий шабат с миньяном и обсуждением недельной главы.

- Но у меня нет ни талеса, ни филактерий.⁴

- И это вся ваша проблема? - озорная улыбка по-прежнему играла на губах Ахарона. - Да чтобы у моих друзей возникали только такие затруднения! У меня найдётся для вас и то, и другое.

- Так зачем же меня забалтывать? Я с удовольствием проведу шабат у вас.

Они остановились у дверей глинобитного домика, сливающегося с окружающими зданиями.

- Конечно, дом - не царские хоромы; поверьте, я жил в домах богаче и красивее этого, но даже такой дом здесь - для меня неслыханная удача! Я единственный еврей - собственник жилья в Яффо.

Первый вопрос, который пришёл казначею в голову, когда они вошли: «Как в таком небольшом месте может поместиться столько народу?» В трёхкомнатном домике собралось явно больше десятка человек. Было трудно ступить шаг, ни на кого не наткнувшись. Но, что поразило его

¹ Миньян (ивр. מִנְיָן — счёт, подсчёт, число) — в иудаизме кворум из десяти взрослых мужчин (старше 13 лет), необходимый для общественного богослужения и для ряда религиозных церемоний.

² Иерусалим, Хеврон, Тверия и Цфат. До конца XIX века в этих городах проживала основная часть еврейского населения Израиля.

³ Городок, находящийся на пути из Яффо в Иерусалим, километрах в 15 от Яффо.

⁴ Талес или талит (ивр. תְּלִיט) - молитвенное покрывало у евреев. Тфиллин или филактерии — элемент молитвенного облачения иудея: две маленькие коробочки из выкрашенной чёрной краской кожи кошерных животных, содержащие написанные на пергаменте отрывки из Торы.

ещё больше: такое столпотворение не доставляло ему, привыкшему к комфорту, никаких неудобств. Каждый, кто оказывался у него на пути, пытался первым подвинуться, если было куда, и освободить место. Незнакомые люди вели себя очень дружелюбно, в их движениях не чувствовалось скованности и напряжения. Атмосфера была на удивление доброжелательной, и Ишияху вдруг почувствовал благодать, которой не испытывал уже много лет.

Сотворив молитву, омыв руки и произнеся благословение, приступили к трапезе. Мужчины, благословив наступление субботы и выпив вина, взяли еду и удалились к своим жёнам и детям, так что Ишияху с Аһароном остались во главе стола вдвоём и спокойно продолжили беседу.

- Сегодня мы обсуждаем главу «Ваешев» — «И поселился». Эта глава объединяет в себе два, на первый взгляд, не связанных друг с другом рассказа. Первый - история конфликта Иосифа с братьями, приведшая к его продаже египтянам. Второй рассказывает историю Иегуды и Тамар. Как по-вашему, Ишияху, какова основная мысль этой главы?

- По-моему, история с Иосифом учит нас тому, что нельзя выделять одного ребёнка из всех; такое поведение приведёт к зависти со стороны других, а зависть способна и на убийство.

- Безусловно, это тоже. Каждая глава Вечной Книги учит нас множеству вещей, и то, что вы сказали, конечно же, содержится в этой главе. Но мой вопрос другой: какова основная мысль, что объединяет оба эти рассказа?

- Хм... Наверное, отношение к выполнению своих обязанностей.

- Вот это правильно! Я бы сказал по-другому: отношения между дающим и берущим в долг. Сначала мы видим первенца Якова, Рувима. Из предыдущей главы мы знаем, что Рувим был лишён права первородства. Он видит свой долг в том, чтобы вернуть Иосифа отцу, конечно же, надеясь, что в ответ Яков вернёт ему первородство¹. Долг-то он берёт, а вот вернуть его не хватает силы и ума, и Рувим так и не получает желаемого. Затем мы переходим к рассказу об Иегуде и Тамар. Тут мы видим, что невестка спланировала всё, от начала и до конца, учла все детали, поэтому её план удался полностью.

¹ Первородство давало право на двойную долю наследства.

В истории о злключениях Иосифа в Египте любимый сын праотца учёл почти всё, но не выработал план взыскания долга с виночерпия, и поэтому остался в тюрьме ещё на два долгих года. В этой главе Всевышний объясняет нам отношения между дающим и берущим в долг. Каждый из этих двоих должен осознавать, зачем ему это нужно, и действия каждой стороны должны быть строго спланированы.

- Так вот, - продолжил Аһарон, поправив ермолку, - долговые отношения особенно актуальны для здешней жизни. Три года назад я приехал в Иерусалим из Ирака. В Багдаде я занимался продажей и окраской тканей, и естественно, начал изучать возможности продолжать своё дело. Но в Иерусалиме у меня такой возможности не было. Мне говорили все вокруг: оставь свои фантазии. Не нужно тебе работать, молись за остальных евреев, живущих за границей, изучай Тору – живи с халуки¹! И знаете, я сначала пытался. Но у меня возникло несколько неразрешимых проблем. Во-первых, что это за жизнь на одном хлебе и воде! Я ни в коем случае не предъявляю претензий евреям, жертвующим деньги. Я говорю, что, жертвуя таким образом, как сейчас, евреи диаспоры развращают местных евреев. Дармовое всегда развращает. Если бы вы видели, как эти ешивы ругают и проклинают жертвующих, вы бы меня прекрасно поняли. Во-вторых, почему евреи на Земле Израиля не должны работать? Мне это понять было особенно трудно, ведь я люблю свою работу! Ещё отец мне говорил, да я и сам всегда жил по такому принципу: чтобы хамса² принесла удачу, нужно вкалывать за пятерых! Изучать Святое Писание – я и так всегда это делал после работы, но прежде - обеспечивал себе и своей семье достойный доход. Согласен, есть равнины, работа которых -

¹ Халука (חֲלוּקָה) - денежные отчисления евреев диаспоры в пользу евреев Эрец-Израэль; в более широком значении (особенно с конца XVIII в.) - организованная система материальной поддержки общинами диаспоры малоимущих евреев, живущих в Эрец-Израэль по религиозным мотивам.

² Хамса (араб. خمسة, ивр. חַמְסָה) — защитный амулет в форме ладони, которым пользуются евреи и арабы. Другое название — «рука Бога». Слово «хамса» имеет семитские корни и значит «пять». Как правило, хамса бывает симметричной, с большими пальцами с двух сторон, а не копирует анатомическую форму ладони.

изучение Писания и объяснение остальным евреям. Но заниматься этим должны лишь самые способные. Поверьте, большинство евреев, живущих с халуки, таковыми не являются!

То, что он говорил, поразительным образом совпадало с мыслями казначея. Ишияху отчётливо понял, что так долго откладывал своё путешествие не только из-за лени и занятости, но ещё и потому, что ему просто не хотелось давать деньги на халуку.

- И в-третьих, - продолжал Аһарон, - я смотрю на деньги, которые жертвуют евреи диаспоры, как на долговые отношения. Это не значит, что мы должны возвращать евреям диаспоры эти деньги. Просто каждый раз, жертвуя нам деньги, они должны знать - и проверять, - на что именно средства потрачены. Объясню на своём примере: три года назад, поняв, что в Иерусалиме подходящей работы нету, я начал присматриваться, где бы я мог открыть своё предприятие? Побывал в разных городах; прибыл сюда - и тут меня озарило: жить и работать я смогу только здесь! Когда ты рождаешься в семье делового человека, многие коммерческие навыки и понятия у тебя просто в крови. Отсюда приблизительно одинаковое расстояние что на север, что на юг. Сюда прибывает много паломников, которые с удовольствием купят мой товар. Тут единственный порт, из которого можно отправлять товар в другие земли. Я знаю, что говорю: здесь будет красивейший город. И главное - это будет еврейский город! И знаете, что я вам скажу: именно отсюда, - с белого города, который будет здесь, а не из Иерусалима, - начнётся новый Израиль!

- Да полноте вам; путеводная звезда этого места погасла, нет больше маяка.

- А, вам рыбаки уже рассказали историю о местном маяке? Но они не понимают настоящего смысла этой легенды. Это их маяк разрушился, это их звезда погасла, а наша ещё зажётся. И она засияет так ярко, что у наших врагов глаза полопаются!

Но я продолжу о себе. Когда я понял, что жить надо именно здесь, то начал думать: как практически это осуществить. Прежде всего, мне нужно было разрешение жить и работать в Яффо. Выходцы с Востока лучше всех понимают психологию турок и арабов, с ними надо вести дела очень аккуратно и ни в коем случае не забывать про бакшиш. Я обивал пороги их учреждений, а сколько заплатил!.. Но добился-таки от них разрешения! Сначала

снял помещение под свою лавку. Наша семья жила в Лоде, и мне каждый день приходилось приезжать сюда; еврею сдавать квартиру никто не хотел. Но где-то через месяц в лавку зашёл один араб. Ему нужно было забрать ткани ранним утром. Я ему объяснил, что просто физически не смогу открыть лавку слишком рано: приехать из Лода - занимает время. Тогда он разрешил мне переночевать здесь. Этот домик находился в страшно запущенном состоянии. Наутро, отгрузив ему товар, я сказал: «Послушай, Ахмад, ведь всё равно соседи видели, что ты пустил еврея переночевать; конфликта тебе не избежать, так хоть извлеки из этого выгоду. Сдай мне этот дом, всё же доход». Он согласился. Мы подружались, у него ковровая лавка недалеко от моей. Вскоре у него возникли большие затруднения. Корабль с партией ковров затонул по дороге в Венецию, он оказался на грани краха. Он начал частенько ко мне наведываться. Опытный коммерсант прекрасно видит, когда человек хочет попросить денег. Я сочувствовал ему, давал деньги, требуя лишь долговые расписки. Когда же сумма долга стала достаточно большой, я сам пришёл к нему с этими расписками. У него было всего два варианта: отписать мне дом или пойти в долговую яму. Понятно, что он выбрал. Позже он объяснил соседям: «Я продал не дом, а груды камней на песке. И если сумасшедший еврей дал мне за неё деньги, то почему бы их не взять». А я отремонтировал, достроил этот дом, и сейчас здесь действительно можно жить. Так вот, глава Вечной Книги говорит именно об этом. И у дающего, и у берущего в долг - свои цели, и каждый из них должен это осознавать.

- Так на что, по-вашему, нужно жертвовать?

Аһарон вздрогнул.

- Ишияху, вы сейчас, затронули больную струну моей души. Я об этом думаю уже давно. Посмотрите, как заполнен мой дом. Это лишь ничтожная часть людей, которые остались в Яффо. Вы не представляете, как часто я не могу помочь многим семьям, и как это меня огорчает. В данный момент постоянные двory евреев не принимают. В первую очередь евреям в Яффо нужен был бы свой дом: «Дар аль-йехуд» - еврейский дом. Я уже всё продумал и спланировал. Присмотрел место - на набережной, южнее армянского монастыря и латинского хосписа, чуть севернее францисканского монастыря святого Петра. Это должен быть двухэтажный дом с комнатами для гостей и синагогой во дворе. Я знаю, кого подмазать, определился и с суммами.

Он подошёл к столу, выдвинул ящичек и достал лист бумаги.

– Вот смотрите, тут всё расписано.

Ишияху на секунду прикрыл глаза, задумался, - и всё сошлось.

Перстень провидения

*Согласного судьба ведет, несогласного тащит насильно.
Сенека Младший*

Несколько месяцев назад его вызвал к себе ага Хусейн.

- Ишияху, у меня к тебе поручение.

Ага протянул ему письмо.

– Понимаешь, есть в Лимасоле семья Хаджупавли. У них винная лавка в районе порта. Предприятие перспективное, их вина пользуются большим спросом. Я им помогаю. Так вот, в последнее время выплаты от них сильно уменьшились.

- Но, ага, смотрите, вот он пишет, что расширяет дело, покупает новые виноградники, - и в будущем их выплаты увеличатся...

- Вот поэтому я вызвал тебя, а не кого-то из своих офицеров. Поезжай в Лимасол, разберись во всём на месте. Если действительно они расширяются, - что же, дело должно расти. Но если ты увидишь, что они меня обманывают, виновных накажешь прямо на месте. Я дам тебе нескольких солдат и офицера. Возьмёшь Леотрима, - толковый офицер. Албанцы вообще хорошие солдаты. О своей оплате не волнуйся.

На место прибыли к вечеру. Поселились в уединённом домишке, в стороне от жилого квартала. После того, как расположились, он решил выйти прогуляться с Леотримом. На пути им попался босоногий нищий.

- Подайте, Бога ради, на пропитание...

Попрошайка говорил грубым, сиплым голосом с сильным греческим акцентом. Нижняя часть его лица была замотана тряпкой.

- Работать надо, а не деньги кланчить, - ответил офицер, стоя у попрошайки за спиной.

- Не могу я, болен; пожалейте, господа хорошие!

Ишияху почувствовал, что раболепные интонации даются нищему с трудом. «Наверное, недавно занялся этим», - подумал он и кинул несколько медяков.

В целом город ему не понравился. Даже среди портовых городов Средиземноморья город выделялся вонью и запустением.

Наутро казначей направился в лавку Хаджупавли. Когда он проходил мимо жилого квартала, около него остановилась телега. С неё спрыгнул возница; его лицо было испещрено многочисленными ссадинами и шрамами. Он загородил Аджимену путь.

- Нам нужно поговорить!

Незнакомец обдал его запахом зивании¹. Казначей напрягся. Он уже где-то слышал этот голос.

- Не о чем мне с тобой разговаривать!

Неожиданно кто-то обхватил его сзади, а незнакомец стал совать ему в рот какую-то тряпку. Ишияху что было сил ударил головой стоящего сзади. Вдруг резкая боль в затылке пронзила голову...

Казначей очнулся в полной темноте. Он понял, что его, связанного по рукам и ногам, засунули в мешок и везут на телеге. Понятно: он похищен. Похитители, похоже, местная шантрапа, - не знают, кого взяли, и не должны об этом догадаться.

Вскоре телега остановилась. С него стянули мешок, и в глаза больно ударил солнечный свет. Когда глаза привыкли к свету, он, наконец, смог рассмотреть похитителей. Как он и думал, их было трое. «Меченый», как про себя назвал его казначей, оживлённо с кем-то беседовал. «Родственник, наверное», - подумал Аджимен. Такие же курчавые волосы, такая же фигура. У обоих были ружья за спиной. Рядом с ними стоял светловолосый паренёк лет семнадцати, повыше и покрепче их обоих. Под его правым глазом был свежий синяк.

«Меченый» наклонился и вынул кляп:

- Сам идти сможешь?

- Да, только ноги развяжи.

Бандит быстрым движением вынул нож из-за голенища сапога и ловко начал крутить его между пальцев; затем разрезал верёвки, стягивавшие ноги.

- Пошли в дом.

То, что он назвал домом, представляло собой ветхую, заброшенную хижину, посередине которой стоял

¹ Зивания (греч.) - виноградная самогонка, сестра итальянской граппы и грузинской чачи.

прогнивший стол. «Меченый» задвинул щеколду на двери, обошёл стол и сел на единственный в комнате стул.

- Садись, - он указал казначею на табуретку напротив.

На табурете Аджимен оказался намного ниже собеседника, на лице которого немедленно отразилось удовлетворение.

- Как тебя зовут?

- Ишияһу.

- И чем занимается господин Ишияһу?

- У меня винная лавка в Бешикташе¹.

- И как идут дела в винной лавке господина Ишияһу?

- Спасибо, не жалуюсь.

Собеседник встал, обошёл стол и отвесил пленнику оплеуху.

- Не умничай, жидяра! Так как идут дела в твоей винной лавке?

- Дела идут хорошо. Мои вина пользуются успехом и у евреев, и у христиан.

- А что господин делает в нашей глуши?

- Приехал забрать товар.

- И у кого?

- У Хаджупавли.

- У Хаджупавли, - повторил собеседник. - Важный господин имеет дело только с важными господами. А скажи мне, господин Ишияһу, кто эти люди, приехавшие с тобой?

«Значит, заметили нас, когда мы заселялись»...

- Грузчики.

- Так что же, нельзя местных нанять?

- Нет, я работаю только со своими. Местных нужно обучать. У меня на это нет времени.

- Ну, конечно, будут важные евреи иметь дело с местными голодранцами... А тот козёл, который учил меня жизни, он кто?

- Это Левент², - он вспомнил, как Леотрим представлялся солдатам, - их бригадир.

- Понятно, - удовлетворённо отметил «Меченый». - Так вот, господин Ишияһу, ты погостишь у нас немного.

- До каких пор?

- Пока деньги не принесут.

- И сколько денег вы хотите за моё освобождение?

¹ Приморский район Стамбула, около Босфорского пролива.

² Левент (турецк.) – лев, мужское имя.

- Совсем немного. Всего лишь сто пятьдесят лир.

- Да вы что, с ума сошли?! - воскликнул Ишияху, но увидев, что визави снова встаёт, осёкся. – Мои люди не найдут такие деньги. Тут раздобыть столько денег просто невозможно!

- Так ведь мы никуда не спешим! Мы готовы взять деньги по частям! Пусть сначала Левент отдаст нам то, что есть сейчас, потом возьмёт что-нибудь у Хаджупавли, потом может и в Стамбул съездить. Главное, чтобы мы видели, что нам хотят заплатить. Но если мы увидим, что Левент пытается нас обмануть, то он начнёт получать тебя по частям: палец, ухо, нос и так далее. Так что сейчас господину нужно будет написать письмо работнику.

- Хорошо, я напишу письмо.

Аджимен почувствовал, как кто-то подошёл сзади и разрезал верёвку. Освобождённый от пут, казначей растёр занемевшие руки. Тем временем паренёк положил перед ним лист, перо и чернильницу.

- Давай, пиши, - сказал «Меченый».

Казначей, немного подумав, начал писать: «Дорогой Левент! Пишет тебе Ишияху Аджимен. Я похищен. Люди, похитившие меня, требуют за моё освобождение выкуп в сто пятьдесят лир. Они согласны взять выкуп в несколько платежей. В случае неуплаты они грозятся высылать моё тело по частям: палец, ухо и т.д. Пожалуйста, сделай всё, что можешь, для того, чтобы мы могли скорее увидеться. С искренним уважением, Ишияху».

- Всё, я закончил.

Подошедший по кивку главаря паренёк зачитал письмо вслух.

- Хм, годится. Скажи мне, что выгравировано на твоём перстне?

- Моё имя и фамилия.

- Дай-ка сюда.

- Не могу, это подарок жены.

Он понимал, что делает глупость, но так некстати вспомнилось, с какой любовью жена на него смотрела, когда дарила этот перстень.

- Ого, да еврей, никак, заупрямился.

«Меченый» выхватил нож и, подставив между подбородком и горлом так, что проступила кровь, заставил пленника приподняться.

- Запомни, ты сейчас не на жидовском кагале, здесь мои правила. Ты делаешь то, что я говорю. Ты меня понял?

- Да.

Главарь вернулся на место, покрутил в руках перстень и взвесил на ладони. Юноша принёс ему огарок свечи. «Меченый» зажёл свечу, капнул на перстень воском и приложил к бумаге, а затем надел на средний палец.

- Протяни руки вперёд, - обратился он к казначею.

Ишияху выполнил распоряжение, и «Меченый» крепко связал ему руки вместе. Потом снял с плеча ружьё и протянул юноше со словами: «Смотри в оба!» Затем повернулся к Аджимену и весело молвил:

- Не скучай, еврей, я постараюсь управиться побыстрее.

Человек с курчавыми волосами запер за ним дверь и обратился к оставшимся:

- Идите, ждите в комнате.

В маленьком и тёмном помещении с крохотным окошечком наверху, у противоположных стен стояли узкие лавки. Ишияху сел на одну из них, его охранник расположился напротив. Ишияху подумал, что было бы неплохо установить с охранником личный контакт.

- Как тебя зовут?

- Извините, Ишияху, вам этого не нужно знать.

- Ну, как хочешь. Я просто думал: раз уж судьба столкнула нас, то надо же хоть о чём-то говорить.

- У нас ещё будет для этого время... Он плохо с вами разговаривал. Эти двое евреев в глаза не видели, а я с семьёй недавно переехал сюда из Салоник. Там много евреев, - хорошие люди, хорошие соседи. Вам трудно пришлось, отдохните. Если захотите в туалет, я вас выведу.

«Ну что же, хороший совет», - подумал казначей. Он лёг на лавку и почти сразу уснул.

Проснувшись, он не сразу осознал, где находится. Но оглядев комнату и ощутив верёвки на руках, немедленно вспомнил события этого дня.

- Я пить хочу, - обратился он к охраннику.

Тот поднялся и налил воды из кувшина, стоявшего в углу, в глиняную кружку.

- Скажи, - обратился Ишияху к пареньку, - сколько времени я проспал?

- Да где-то часа четыре.

- А ты чего расстроенный?

- Да чего-то он долго не возвращается.

- Он - это кто?

- Ну, тот, который с вами говорил.

- А ты по нему сильно скучаешь? - усмехнулся казначей.

- Нет, конечно. Он должен заехать на базар, купить продуктов.

- Ну, наверное, у него ещё другие дела. Мне помолиться надо.

- Да, конечно, я понимаю; не буду вам мешать.

Ишияху встал посередине комнаты, мысленно определил нахождение Израиля, поклонился и шёпотом начал читать «Шмонэ эсрэ»¹. Слова молитвы он поначалу произносил автоматически, и вдруг, дойдя до тринадцатого благословения, почувствовал, как всё изменилось. Слова полились, словно вода из горного ручья, а на душе появилась так давно им не испытываемая благодать.

«Господь мой и отцов моих! Пусть дойдёт до Тебя молитва моя. Воистину я и предки мои грешны! - Его глаза наполнились слезами, но он продолжал. - Во всём, постигшем меня, Ты праведен, потому что делал по правде, а я виновен, потому что забыл Тебя. Я служил врагам Твоим, я жил их жизнью... Не прощения я у Тебя прошу, нет мне прощения, я прошу возможности сделать самое большое доброе дело в своей жизни. Я обещал Тебе поехать на землю нашу и дать деньги для народа Твоего, но всё время себе выдумывал дела более важные. Об одном Тебя прошу, Отец Небесный, дай мне возможность исполнить обещанное! Если у меня будет возможность, первое, что я сделаю, - это поеду на Землю Израиля и пожертвую на обустройство нашей земли!»

Он и не заметил, как дошёл до последнего, девятнадцатого благословения. На душе было легко, заботы тревоги и беспокойство улетучились.

Закончив молитву, он сел на лавку и услышал стук в дверь.

- Наконец-то, - обрадовался охранник.

Неожиданно они услышали выстрел. Человек из другой комнаты что-то крикнул охраннику, но второй выстрел

¹ «Шмонэ-эсрэ», или «Амида» - является стержнем всех трёх ежедневных молитв. Шмонэ-эсрэ в переводе с иврита означает «восемнадцать», и в основе своей эта молитва состоит из восемнадцати благословений. «В основе своей», потому что после разрушения Второго Иерусалимского Храма к этой молитве было добавлено еще одно благословение – «И да не будет надежды доносчикам». Личные просьбы принято произносить в 13-м благословении.

оборвал его на полуслове. Множественные удары в дверь сотрясли хибару. Паренёк поднял ружьё и направил на казначея. На лице его отразилась мучительная внутренняя борьба.

- Если сейчас выстрелишь, - спокойно сказал Ишияху, - ты проживёшь не более нескольких минут, но каждую секунду ты будешь звать смерть, а она не будет приходить!

У охранника на глазах проступили слёзы.

- Положи ружьё, идиот, жив останешься! - рявкнул Аджимен.

Охранник нерешительно положил ружьё на лавку - и как раз вовремя. Дверь распахнулась от удара, и в комнату ворвался Леотрим. Мгновенно оценив обстановку, круговым движением от плеча, он прикладом своего трапезундского¹ ружья угодил в скулу охранника и сбил его с ног. Следом вбежали солдаты. Взяв лежащего на прицел, Леотрим обратился к казначею:

- Ишияху, с вами всё в порядке?

- Да, всё нормально.

Аджимен около двери увидел человека, остававшегося с ними, лежащим на боку. По кудрявым волосам стекала струйка крови из раны на виске.

На этот раз на стул сел Ишияху, а на табуретку усадили его бывшего охранника. Леотрим стал рядом с ним.

- Тебя как зовут? - обратился казначей к пареньку.

- Андреас Кассиниадис.

- Давно ты в Лимасоле живёшь?

- Нет, наша семья год назад переехала из Салоник.

- А чего вы переехали?

- Нам тут дом достался в наследство. В Салониках мы жили вместе с семьёй сестры отца. Тесно было.

- Эти двое, что были с тобой, кто они? Твои друзья?

- Это Папакостасы, Панайотис и Янис, они двоюродные братья, наши соседи.

- Тот, который со мной разговаривал - это кто из них?

- Панайотис.

- А значит, камнем приложил меня Янис?

¹ Трапезундские (тарабузанские) ружья - ружья изготовленные в Трабазунде, в основном армянскими мастерами. Несмотря на то, что такое ружьё стоило немалых денег, иметь его считалось делом чести офицера янычарского корпуса.

- Да.

- И зачем ты им нужен был? Тебе же платить надо.

- Наверное, думали, что вдвоём им тяжело будет с вами справиться. Вон вы как меня двинули...

Он показал на «фонарь» под глазом. Леотрим взглянул в сторону казначея и уважительно покачал головой.

- Ещё, чего доброго, убили бы вас при захвате. Да и дело сложное, с письмами надо дело иметь, а они писать и читать не умеют.

- А ты где научился?

- Немного в школе учился, выучил алфавит.

- Почему решили похитить именно меня?

- Не я это решал, но догадаться несложно. Посмотри на себя: на тебе...

Звонкая пощёчина Леотрима прервала его монолог.

- Уважение, сучье вымя! Ты не с бандитами разговариваешь, а с важным человеком!

- Извините, господин, но посмотрите на себя! На вас надето в десять раз больше, чем нормальная семья зарабатывает за год; один перстень чего стоит. Панайотис говорил, что еврей такой важный, наверное, из самого Стамбула. За него явно отвалят столько, сколько скажем.

- А откуда вообще взялась сумма в сто пятьдесят лир? Никто из вас никогда таких денег в глаза не видел!

- Да Янис ему тоже самое говорил, но Панайотис настаивал. Говорил: ты ничего не понимаешь. Это же евреи, они, как змея, извернутся, в игольное ушко пролезут, но деньги достанут. Да и много - не мало, если что, можно потом немного скинуть.

- А чей это дом, в котором мы сейчас находимся?

- Я не знаю. Панайотис говорил, что сюда никто не придёт.

- Конечно, не придёт, - усмехнулся Леотрим. - Он в ссоре убил хозяина этого дома.

- Слушай, Андреас, ведь ты неглупый парень, вон даже грамотный. Как же ты согласился на такое дело, участвовать в похищении человека?

- Деньги очень нужны. У меня сестра на выданье, ей в приданое дом нужен. Они мне двадцать лир предложили, этого на дом должно было хватить...

- Сын шакала, собачье отродье! - кулак албанца вошёл в его лицо слева, раскрошив два зуба. Губы окрасились кровью. - Ты не подумал, что еврея живым никто не отпустит! Он ваши лица видел, слышал голоса, человек состоятельный, при связях, нельзя отпускать!

- Мне Панайотис обещал, что никто не пострадает! - закричал парнишка, сплюнув кровь.

- Ну, раз Панайотис обещал... - саркастически хмыкнул офицер и обернулся к Ишияһу. В его глазах читался вопрос; даже не вопрос, а скорее - утверждение. Казначей отрицательно покачал головой. Брови офицера поднялись в недоумении.

Пленник, поняв, что немой диалог касается его дальнейшей судьбы, закричал:

- Господин, вы же мне обещали!

- Да, - усмехнулся Ишияһу, - но в том положении, в котором я это обещал, слова обещания не стоят даже времени, потраченного на их произнесение. Вопрос в другом, понимаешь, - продолжил он, вроде бы обращаясь к албанцу, но при этом в упор глядя на пленника. - Всевышнему не нужна лишняя кровь, а молодой человек хочет жить, и поэтому к властям не обратится. Я бы на его месте пошёл бы ещё дальше. Ведь у Папакостасов, конечно же, были собутыльники, а Панайотис не отличался ни трезвостью, ни ясностью ума, так что наверняка проболтался о готовящемся деле. А когда их приятели увидят, что их нет, начнут спрашивать Андреаса, куда же они подевались. А поскольку у юноши опыт невелик, у него могут начаться проблемы. Я бы на месте молодого человека уехал бы на несколько месяцев к сестре отца, на Салоники. Ведь им наверняка нужны рабочие руки.

Ишияһу отвернулся, давая понять, что разговор окончен.

- Ты чего расселся? - обратился к Андреасу Леотрим. - Ждёшь угощения? Чая с халвой?

Пленник направился к выходу, а офицер основательным пинком придал ему ускорение, и парень пулей выскочил из дома.

- Господи, хвала Всевышнему! Леотрим, как же ты меня нашёл?

- Ишияһу, говорю вам, это провидение, воля Аллаха!

Албанец наконец расслабился и сел на табурет. Самодовольная улыбка сменила суровое выражение лица.

- Проснулся я рано, слышал, как вы уходили. Обычно я люблю поспать подольше. Вы не оставляли никаких распоряжений, у меня была ещё куча времени, но не спится - и всё тут. Ладно, - думаю, - хоть чаю попью. А какой же чай

без пахлавы¹? В общем, на рынок надо идти. Я разбудил Фазилата, он на греческом складно калякает, и мы пошли. Накупили продуктов, возвращаемся домой, вдруг смотрю: останавливается телега. Этот, что в телеге, подзывает мальчишку, протягивает ему что-то, судя по виду, письмо, и показывает на наш дом. Ну, думаю, какая-то ерунда. Мы ведь ни от кого не ждём сообщений. Надо разобраться. Если помните, между кварталом и нашим домом есть несколько кипарисов, и если мальчишку перехватить там, то из телеги этого не увидеть. Послал я туда Фазилата, а сам к телеге направляюсь. А этот, возница, тем временем соскочил с телеги и отошёл справить малую нужду. Стал я между ним и телегой, смотрю, возвращается. О Аллах, ну и рожа! С такой его и в башибузуки² не взяли бы. Пригляделся: Аллах милосердный, это же вчерашний нищий! Вдруг смотрю на его руки, а на пальце-то - ваш перстень. Тут я больше не стал ждать ни секунды, достаю свой двуствольный пистолет, он у меня всегда с собой, взвожу оба курка и говорю: «Не двигайся, уважаемый, и доживёшь до вечерней молитвы». Ну, в этом, конечно, я его обманул, но Аллах меня простит, - он весело засмеялся. - А тут и Фазилат несётся со всех ног с перехваченным письмом. Этот Панайотис попытался бежать, но я ему колено прострелил. Затащили его к нам в дом, ну, а дальше - обычная практика.

Ишияһу вышел на улицу и посмотрел на лежащего рядом с дверью Панайотиса. Солнце почему-то особенно хорошо освещало пустую правую глазницу...

- Когда всё выяснили, решили взять с собой Панайотиса. Приехали на место, я, конечно же, первым делом осмотрелся: диспозиция прекрасная. Смотрю, человек подходит к двери, как же замечательно он стал мне на прицел! Но я не стреляю, ожидаю. Вижу, что-то пошло не так, Фазилат вдруг выстрелил в Панайотиса. Тут я больше ждать не стал и выстрелил этому, что в доме, прямо в голову, ну,

¹ Пахлава (или баклава) — популярное кондитерское изделие из слоёного теста с орехами в сиропе.

² Башибузуки (турецк. *başıbozuk*) — название иррегулярных военных отрядов в Османской империи. Слово «башибозук» в дословном переводе с турецкого означает «с неисправной головой», «безбашенный» (*baş* — голова, *bozuk* — испорченный, бешеный). Сопоставимо с русским «сорвиголова».

туда, где она должна быть. И она там была! Говорю вам, это воля Аллаха, это Он с утра меня с места сорвал!

«Тут ты прав, - подумал Ишияху. – То, что ты здесь, воистину воля провидения! Творец мне подсказал всё, что нужно сделать, даже сумму определил. Уж если лимасольская шпана определила мне цену - 150 лир, то я сам меньше себя оценить не могу никак».

- Ты молодец, Леотрим, тебе даже не представить, как я рад снова тебя видеть!

Офицер широко улыбнулся и достал перстень из кармана.

- Это ваше. Больше я вас никуда одного не отпущу. Не хотите пугать киприотов, так я не гордый, у входа постою.

Новая звезда

*Что кажется подчас лишь случаем слепым, то
рождено источником глубоким.*

Фридрих Шиллер

Ишияху открыл глаза.

- Аһарон, вы же понимаете; хоть мы и говорим о деле, угодном Всевышнему, всё же речь пойдёт о вопросах чисто деловых. Такие разговоры не ведутся до исхода шабата.¹ Давайте пока выпьем ещё вина, кстати, оно у вас замечательное.

После субботнего «маарива»² они вернулись к прерванному разговору.

- Итак, Аһарон, сколько всего денег потребуется на исполнение вашего замысла?

Собеседник опять достал свои записи.

- Смотрите, Ишияху, здесь всё расписано.

- Понимаете, у меня сейчас нет ни времени, ни охоты вникать во все подробности. Что написано в пункте «итог»?

- Сто пятьдесят лир.

У казначея дрожь побежала по телу.

«Это просто не может быть случайностью! Сила, наблюдающая за всеми живыми существами, прямоком направила меня на этот путь. Это Всевышний меня ведёт, не давая возможности сбиться с дороги».

¹ В субботу евреям нельзя обсуждать деловые вопросы.

² Субботний «маарив» – вечерняя молитва.

- Хорошо, вы получите эти деньги. Но какой же еврейский белый город? Это место даже не причислено к Святой Земле.

- Вы знаете, я тоже так думал. Но затем понял одну простую вещь: нам не дано предугадать все планы Всевышнего. И если Он нам отчётливо даёт понять Его речения, это надо просто исполнить, понимание придёт потом. Без этого места не обойтись. Отсюда примерно одинаковое расстояние на север и юг Святой Земли. Когда евреи начнут создавать свою страну, куда они будут приезжать? Сюда! Когда евреи начнут производить, им надо будет продавать товар. А откуда отправлять корабли? Только отсюда! Когда евреи захотят пользоваться иностранными товарами, куда будут приходиться корабли? Сюда! Когда евреи создадут свою страну, им нужны будут армия и флот. И где будет создаваться флот? Здесь!

- Эко куда загнули!.. Своя армия, свой флот, своя страна. Прямо пророк какой-то.

- Ишияһу, я говорю вам то, что чувствую! Я говорил со многими. На Святой Земле есть не только ешиботники, но и деловые люди. Если бы мы не верили, что на этой земле власть будет нашей, бросили ли бы всё в стране исхода и приехали бы сюда? Поверьте, новый Израиль начнётся не с Иерусалима, а с Белого Города! Да, пока что наши раввины не включили это место в Святую Землю, - ну что же, мы подождём. Кувшин наполняется не сразу, а постепенно, капля за каплей. Это место будет включено в состав Святой Земли, у раввинов просто не останется другого выхода.

- Хорошо. - Ишияһу расстегнул пиджак и отвязал от пояса увесистый мешочек. - Здесь сто пятьдесят золотых лир. Я буду проверять, как продвигается строительство «Дар аль-Йехуд», у меня есть такая возможность.

18-го ава 5615-го года¹ пожилой человек спускался по ступенькам «Еврейского дома», крепко держась за плечо своего сына Ицхака. Сын сразу понял, что отец в отличном настроении.

- Что тебе сказать, Ицхак? Этот министр Монтефиоре² меня утомил. Вошёл такой барственный, ну, типичный

¹ 2-го августа 1855-го года.

² Сэр Мозес Хаим Монтефиоре - один из известнейших британских евреев XIX века, финансист, баронет, общественный деятель и

английский вельможа. Начал спрашивать властным тоном: какие проблемы у евреев на Святой Земле? Ну, я дал ему поважничать, а потом сказал, что было бы правильно предоставить евреям возможность самим работать на своей земле. И между прочим, сообщил, что если пройти от того места, где мы сидим, несколько километров на северо-восток, то можно увидеть пардес¹ примерно в сто дунамов.² В этом фруктовом саду 5310 деревьев, среди них очень много этроговых³, причём их саженцы завезены из Корфу⁴. Кроме того, около полутора тысяч апельсиновых, а ещё - гранаты и лимоны. Так вот, сказал я, если выкупить этот фруктовый сад, было бы очень здорово. Сейчас там работают только арабы, но если евреи хотят научиться хозяйствовать, то без элементарных знаний по агрономии просто не обойтись! Поэтому очень хорошо было бы выкупить такой сад. Этим мы сразу убивали бы трёх зайцев: прежде всего, в саду работали бы и зарабатывали только евреи. Во-вторых, евреи получали бы так необходимые им элементарные сельскохозяйственные знания. И третье: за не такие уж большие деньги евреи получают так нужную им землю, участок в сто дунамов в районе моря, и это будет еврейская земля!

- Ты бы видел, как изменился англичанин после моих слов, - с воодушевлением произнёс Ахарон. – Вдруг его глаза загорелись юношеским огнём, а как преобразилось

филантроп. В Израиле его часто называют министром из-за созвучия «сар» (שׂר – министр, иврит) и «сэр».

¹ Пардес (иврит) – фруктовый сад.

² Дунам (от тур. dönüm) - единица измерения площади земельных участков в некоторых странах и на территориях, находившихся в прошлом под властью Османской империи: Израиль, Иордания, Ирак, Северный Кипр, Ливан, Ливия, Сирия, а также в странах бывшей Югославии. Метрический дунам, используемый сейчас в Израиле, Ливане, Иордании и Турции, равен: 1000 м², или 0,1 гектара, или 10 соткам.

³ Этрог, цитрон, цедрат (ивр. עֵטְרוֹג, лат. Citrusmedica) - вид многолетних растений из рода Citrus семейства Рутовые. Это одно из 4-х растений, необходимых для совершения заповеди «нетилат лулав» во время праздника Суккот.

⁴ Цитроны с острова Корфу (территория Греции) считаются наиболее подходящими для проведения иудейской религиозной церемонии.

лицо! Представляешь, он вскочил и начал рассказывать по комнате, ну, будто еврей, спорящий с другими в синагоге! Походил, походил и вдруг как заорёт: «Да, да! Евреи на Святой Земле обрабатывают свою землю! Сто дунамов у моря на Святой Земле!» Его уже было не остановить. С этого момента я понял, что дело сделано.

Аһарон вошёл в свой дом, попил воды из кувшина, заботливо поданного сыном, и сел в кресло.

- С возрастом начинаешь всё скорее понимать, с кем ты имеешь дело. Так вот, в отношении Монтефиоре могу тебе сказать - несмотря на всю его важность, он остаётся евреем, которому важнее всего - убедить других евреев в своей правоте. В общем-то, с ним было легко разговаривать.

Аһарон помолчал. Ицхак внимательно слушал.

- Например, с Ишияһу Аджименом было труднее; слишком много он набрался турецкого духа. Хвала Всевышнему, всё же еврейского в нём оказалось больше. Не дай он тогда денег, ничего бы не было вообще! Насколько мне известно, в Стамбуле у него начались неприятности, и он погиб через шесть лет при разгоне янычарского корпуса. Но всё-таки Творец дал мне силы убедить и его... Ох, жарко сегодня, - Аһарон опять потянулся к кувшину. – Хотя с англичанином было хорошо разговаривать, но есть один человек, с которым говорить легче всего. Это раввин Иегуда Леви из Рагузы¹.

Аһарон поудобнее устроился в кресле.

- Познакомились мы давно. В 1823-м году «Еврейский дом» распахнул двери для приезжих евреев. Через десять лет у меня уже было много постоянных жильцов. И я поехал в Иерусалим, и в раввинате обрисовал положение. В Яффо уже есть еврейское сообщество, а раз так - нужен и раввин. Они, конечно, скривились, но выхода не оставалось: есть евреи, есть синагога, - значит, нужен раввин. И раз в месяц стал приезжать новый раввин, Иегуда Леви.

В первый же свой приезд, после чтения недельной главы, он попросил меня остаться. И начал хвалить: какой я молодец, как много делаю для евреев Яффо. Я осторожно сказал, что, по-моему, неправильно, что эти места не включены в Святую Землю. В Писании обязательно должно быть место, позволяющее считать Яффо Израилем. И вдруг он меня поддержал! И сказал, что как раз работает над этим,

¹ Современный Дубровник, административный центр в Хорватии

ищет такое место в Писании. И что ты думаешь? Он не успокоился, пока-таки не нашёл такое место! Мало того, что нашёл - ещё и доказал свою правоту другим раввинам. Теперь Яффо относится к Святой Земле. А ведь до этого даже умерших евреев приходилось везти на верблюде в Иерусалим или Хеврон. Понимаешь, - Аһарон улыбнулся, - новое проторяет путь постепенно. На халуку сэр не дал бы и половины, а на фруктовый сад пожертвовал пятьсот лир, этого должно хватить. Кстати, что нового в городе? Какие слухи?

- Говорят, что собираются строить новый маяк, - Ицхак обтёр лицо отца платком.

«Вот, Ишияху, как видишь, зажигается новая звезда, - устало подумал Аһарон. - А ты твердил, что она навсегда погасла». Он взглянул на сына.

- Ну что же, давно пора. Ох, Ицхак, сколько же всего сделано, а сколько сделать предстоит! Но это уже буду делать не я. А этот Монтефиоре – молодец; он ведь не намного моложе меня, а столько энергии, - молодым фору даст. А у меня уже ноги плохо ходят, глаза плохо видят, наверное, уже недалёк час моего отдохновения.

Аһарон закрыл глаза и тихо, но очень внятно произнёс:

- Что ж, нас не будет, но будет Белый Город, и я для него сделал всё, что мог!

Спасти праведника

В родном Лежайске Мотке именовали «борода на ножках». Всевышний одарил его небольшим ростом и бурной растительностью. Голову по хасидскому обычаю Мотке остригал почти наголо, кроме пейсов, разумеется, а вот бороду не трогал вообще. Росла она бурно, завиваясь в жестяные колечки, и остановилась, лишь добравшись до пояса. А поскольку пояс у Мотке располагался совсем невысоко, людям, щедро наделенным статью, с высоты виделась густая борода, плывущая над самой землей.

Мотке зарабатывал на жизнь плотницким ремеслом. Руки у него были хорошие, и заказов, хвала Всевышнему, хватало. Он мог даже выбирать, кому-то отказывать, а кого-то пропускать без очереди. Тех, кто не умел удержаться от смеха, войдя в его мастерскую, Мотке выгонял без всякой жалости, каким бы выгодным ни был заказ.

Не рассмеяться при виде бороды с рубанком, вырастающей из кучи желтой стружки, было действительно трудно. Однако жители Лежайска — и поляки, и евреи — знали о нервном поведении Мотке и старались обойтись без шуток и многозначительных улыбок.

Своей жизнью и жизнью всей своей семьи Мотке был обязан Зеэву Жаботинскому. В 1936 году Мотке поехал в Люблин, обновить плотницкий инструмент, и случайно оказался на его выступлении. Честно говоря, хасиду Бобовского ребе нечего было делать на таком собрании, но так уж получилось. Видимо, у Всевышнего были свои планы на Мотке, и поэтому Он подсунул ему старого приятеля, жившего теперь в Люблине, от которого не было никакой возможности отвязаться. Приятель и затащил его в клуб «Бейтара», где выступал заморский гость.

Слова Жаботинского сразили Мотке. Он никогда еще не слышал столь умело и точно выстроенной речи, где холодные доводы разума перемежались эмоциональными выбросами.

— Если вы не ликвидируете диаспору, диаспора ликвидирует вас, — зывал Жаботинский.

Мотке был старым подписчиком газеты «Идишер арбайтер» («Еврейский рабочий»), выпускавшейся партией «Агудас Исроэль», которую поддерживал Бобовский ребе. В передовицах на чем свет кляли Жаботинского, «врага евреев», желающего изгнать их из Польши. Но на поверку этот «враг» выглядел куда убедительнее своих оппонентов.

— Темная туча нависла над Европой! — почти кричал Жаботинский. — Нет спасения, нет защитника, только немедленная эвакуация. Бегите в Палестину, оставляйте без жалости свои дома, свои пожитки. Речь не идет о «лучше или хуже», вопрос стоит — погибнуть или остаться в живых!

Некоторые слушали зачарованно, кое-кто иронически улыбался, однако многие глядели равнодушно, словно на паяца в базарном балагане. Только не Мотке. Магия слов Жаботинского перевернула его сердце, и он стал смотреть на события в Польше и соседней Германии его глазами.

Поначалу родственники и друзья пробовали уговорить обезумевшего плотника выбросить из головы идею переезда в Палестину, но быстро отступили. Мотке, словно заколдованный, не слушал ни габая, ни раввина, ни солидных, уважаемых членов еврейской общины Лежайска.

Наконец Шейна, жена Мотке, высвободила время от многочисленных домашних и базарных дел и взялась за мужа. Шейна по праву считалась одной из лучших торговек рыбой в Лежайске, и выдержать натиск ее базарного красноречия было совсем непросто.

— Ты что, газеты совсем не читаешь? — с нескрываемой иронией спросила она. — Этим сионистам в Палестине самим есть нечего. Ну, кто тебя там ждет, кому ты там нужен?

— На руки найдутся муки, — с достоинством ответил Мотке. — Плотники везде нужны, особенно где дома строят. А в Палестине их строят, и еще как! Ты что, сама газет не читаешь?

— А как же мы бросим могилы? — зашла с другой стороны Шейна. — Родители, бабушки, дедушки, - всех оставим тут?

— Машиах уже в дверях! — запальчиво возразил Мотке. — Ото-то откроется, и мертвые взойдут на Святую Землю. А ты уже там: здравствуйте, дорогие.

Шейна презрительно фыркнула, сразу не сообразив, чем можно отразить столь демагогический выпад.

— А ребе? Куда ты будешь ездить на осенние праздники? — сделала она ход конем.

Теперь пришел черед Мотке презрительно фыркать. Бобовский ребе занимал в иерархии ценностей Шейны далеко не первое место. И хоть от Лежайска до Бобова рукой подать, - чтобы вырваться на день-другой к ребе, Мотке каждый раз приходилось пускать в ход тяжелую артиллерию со всем имеющимся боезапасом.

— Сейчас ты о ребе вспомнила?! Что тебе ребе? — наконец выдал он из себя.

— А тебе что? — тут же парировал Шейна. — Раз ты считаешь себя хасидом, напиши своему наставнику. Посмотрим, как ответит умный старый еврей.

Мотке только рукой махнул. Назвать праведника умным старым евреем могла только базарная торговка. Впрочем, Шейна таковой и являлась, поэтому обижаться было не на кого, а возражать некому. Они были женаты так долго и так прочно приросли друг к другу, что уже не воспринимали себя раздельно. Разговор с женой представлялся Мотке подобием внутреннего монолога, словно одна часть его сознания спорила с другой.

В те годы женились очень рано, так было принято в Лежайске, да и Бобовский ребе всячески способствовал ранним бракам своих хасидов.

— Меньше грязи прилипнет, — объяснял ребе доброхотам, ратующим за прогресс, образование и женитьбу после приобретения специальности.

Под хупой шестнадцатилетняя Шейна стояла, раскачиваясь от волнения. Ростом она была чуть выше семнадцатилетнего жениха и походила на молодое деревце, трепещущее под порывами ветра. Мотке смотрел на хрупкий стан невесты с замиранием сердца от мысли, что скоро сможет его обнять, и с опаской: уж больно subtilной выглядела его будущая супруга.

После первых родов Шейна заметно раздалась, а после вторых крупно увеличилась. Третьих Бог не дал, но Шейна со своим объемистым животиком постоянно выглядела, будто на пятом или шестом месяце беременности. Если бы Мотке спросили, любит ли он свою жену, он бы, скорее всего, на несколько мгновений замер от непонимания вопроса. Любит ли человек свою ногу, или руку, или голову? Любит ли он свое сердце? Шейна давно стала частью его самого, его организма, его способа осознания действительности.

Поэтому советом жены Мотке не пренебрег и тут же написал Бобовскому ребе. Вопреки ожиданиям Шейны, тот почему-то не стал возражать, а, напротив, дал свое

благословение на переезд в Эрец-Исроэль. После этого Мотке совсем закусил удила и понесся к своей цели, точно призовой скакун на ипподроме.

Шейна надеялась, что спасение придет от иноверцев и английское посольство откажет ее мужу в прощении, ведь шифс-карту на всю семью получить практически невозможно. Увы, гои и на сей раз подвели — спустя три месяца после подачи прошения Мотке ворвался в дом, приплясывая и подпрыгивая, размахивая конвертом с толстыми печатями и внушительным гербом.

Ровно через год после выступления Жаботинского в Люблине, Мотке, плотно окруженный домочадцами, ступил на Святую Землю. Это его и спасло. Почти все евреи Лежайска: рассудительные раввины, умудренные знатоки Торы, важные комментаторы международных событий, зажиточные торговцы, учителя, водоносы, столяры, портные, нищие, кухарки, белошвейки, уличные торговки, — все, все, все несколько лет спустя были безжалостно расстреляны и зарыты в общей могиле.

Работа нашлась сразу и не где-нибудь, а в самом Тель-Авиве. Чиновник на бирже труда заполнил бланк, порылся в картотеке и протянул Мотке направление.

— Плотником на стройку годится? Строительство не государственное, частное, но плотник — он ведь везде плотник, не так ли?

— Еще как! — вскричал Мотке и рассыпался в благодарностях.

Правда, лицо чиновника показалось ему слегка зловещим, но он отбросил свои подозрения и вспомнил о них только в конце первого дня работы.

Распорядитель поручил ему закончить опалубку для колонны. Половина работы была уже сделана, оставалось только догнать доски до верха и окончательно закрепить те, которые в основании. Мотке обошел опалубку и критически хмыкнул. Тот, кто ее устанавливал, был явно кривым на один глаз или неумехой. Опалубка стояла под углом, небольшим, градусов пять-шесть, но с учетом высоты колонны разница между верхом и низом должна была получиться ощутимой.

Недолго думая, Мотке взялся разбирать уже сделанное. Спустя час от опалубки не осталось и следа, Мотке отер лоб и решил немного передохнуть перед возведением новой. И тут на него орлом налетел распорядитель.

— Ты что натворил? — заорал он. — День работы пошел насмарку!

— Но опалубка стояла под углом! — возразил Мотке. — Колонна тоже выйдет кривой. Разве это красиво?

— Много ты понимаешь! — не успокаивался распорядитель. — Давай вали отсюда, мне самоуправщики на стройке не нужны.

Мотке отряхнул брюки и повернулся, чтобы уйти, как вдруг перед ним возник сухощавый человек, в сером костюме и такой же серой, франтовато сдвинутой набок шляпе.

— Одну минуточку, — произнес человек. Его идиш больше напоминал немецкий, но Мотке все-таки понимал смысл слов. — Так вы разрушили эту опалубку потому, что она стояла немного под углом?

— Да, именно так.

— А вы можете построить ее прямо, точно под девяносто градусов?

— Ну, абсолютно точно не берусь, но на глаз не отличите.

— Приступайте, — велел человек, смотря через распорядителя работ так, словно его вообще не существовало.

Мотке работал без обеденного перерыва, взмок от пота от кепки до носков, но к концу дня опалубка была завершена. Человек в серой шляпе принимал работу вместе с распорядителем. Вернее, тот стоял и смотрел, как человек обходит опалубку с разных сторон, приседает на корточки, прикладывает ладонь к носу, на глаз определяя угол.

— Отлично! — воскликнул он, сдвигая шляпу на затылок. — Мне такие люди нужны, вы приняты.

— Ладно, — с кислым видом произнес распорядитель. — Завтра с утра приходи. Но если вздумаешь ломать или переделывать, спроси сначала меня, понял?

— Понял, — кивнул Мотке.

Когда начальство покинуло стройку, другие рабочие, весь день наблюдавшие за Мотке, подошли с поздравлениями:

— Ты первый, кто угодил нашему сумасшедшему!

Оказалось, что человек в сером костюме и шляпе - архитектор из Берлина, Александр Леви, и что он дерется с прорабами и рабочими, требуя абсолютно точного выполнения всех его предписаний.

— Ему, видите ли, надо, чтобы солнечные лучи на закате преломлялись ровно на стыке стен, — объяснили рабочие. — Поэтому мы должны из кожи вон вылезть, но возвести эти стены точно так, как он нарисовал. Доброго слова от него не услышишь, одни претензии. Просто сумасшедший; тут же не Берлин, тут Восток.

С каждым новым днем Мотке поручали все более сложные работы. То, как он их выполнял, нравилось сумасшедшему архитектору, и вскоре весть о том, что наконец-то отыскался плотник, которого хвалит Александр Леви, облетела Тель-Авив. Город был еще маленьким, все стройки на виду, рабочие чуть ли не наперечет, поэтому, когда Леви закончил дом, впоследствии названный «Пагодой» из-за экстравагантного верхнего этажа, Мотке сразу предложили место на другой стройке.

Шейна тоже не теряла времени даром. Когда серые предрассветные тени начинали сменять фиолетовую черноту южной ночи, она с двумя плетеными корзинами в руках отправлялась в морской порт Яффо. Рыбаки, выходявшие на лов еще с вечера, возвращались после восхода солнца, и на пристани их поджидали перекупщики. Пробриться к товару сквозь их сплоченные ряды было вовсе не просто, но Шейну не зря называли лучшей торговкой Лежайска, имея в виду не столько коммерческие таланты, сколько пробивной характер, луженую глотку и острый язык. Она пробилась. Один шепотливый перекупщик сунулся было отваживаться, но, получив по полной, позорно бежал, потирая уши:

— Тю, скаженная баба, глотка, что твоя сирена, оглохнуть можно.

Говорил он, разумеется, по-арабски, используя куда более крепкие выражения, но смысл слов был примерно таким.

Другой, здоровенный амбал, которого перекупщики использовали для перетаскивания корзин и ящиков, набитых свежей рыбой, по их же наущению стал действовать более решительно. Когда одна из лодок пришвартовалась, и рыбаки начали вытаскивать на пирс корзины с рыбой, перекупщики дружно двинулись за добычей. Шейна тоже пошла вместе со всеми, и тут амбал попытался ей помешать, сунув свои лапищи туда, куда не следует совать. Оскорбленная женщина взвыла, издав звук, напоминающий оповещение о воздушной атаке.

Народ немедленно расступился, ожидая представления, но дело закончилось быстрее, чем предполагали его зачинщики. Вместо того чтобы поднять скандал, Шейна залепила амбалу пощечину такой силы, что тот свалился с пирса прямо в лазурную воду утреннего моря. Толпа дружно ахнула; амбал вынырнул и, фыркая, по-собачьи поплыл к

сходням, а Шейна в горделивом одиночестве подошла к рыбакам и тут же выхватила из корзины самый лучший товар.

После той оплеухи членство Шейны в сплоченной группе перекупщиков рыбы Яффского порта уже никем не оспаривалась.

Каждое утро, набрав две корзины каменного окуня, которого местные называли локусом, кефали, странно именуемой бури, и скумбрии, по местному макрели, она топала обратно в Тель-Авив на рынок «Кармель». Вот тут в ход вступали ее коммерческие таланты, и к десяти утра, взмокшая от беготни и крика, Шейна возвращалась домой со свернутыми в тугую трубочку банкнотами, упрятанными по привычке в бездонные недра ее объемистого лифчика.

Дети уже были в школе, муж — на стройке, Шейна прикрывала жалюзи, именуемые трисами, раздевалась догола, бросала в стирку провонявшую рыбой и потом одежду, забиралась в душ и долго смывала с себя усталость. Потом неспешно вкушала кофе с пахлавой и к возвращению детей из школы начинала вторую часть дня, когда ее называли не госпожа Шейна, а просто мама.

Лежайск, дождливая Польша и вообще вся прошлая жизнь отодвинулись куда-то далеко. Бешеное солнце Средиземноморья выжигало память буквально на глазах. Спустя несколько лет Мотке и Шейне стало казаться, будто они всегда жили в белом городе посреди желтых песков, а пальмы из диковинной экзотики превратились в заурядный элемент пейзажа, как прежде липа или береза.

Одного лишь не хватало Мотке для полного счастья — могил праведников. Разумеется, на Святой Земле их было в достатке, Мотке несколько раз ездил в Цфат и плакал от счастья возле могилы святого Ари и Йосефа Каро. Свежий ветер Галилеи сушил слезы, гора Мерон, покрытая зелеными кучами деревьев, высилась перед глазами.

«Вот ведь как получается, — думал Мотке. — Сотни лет евреи Польши рассказывали друг другу сказку о Цфате и кладбище каббалистов. И вот я стою здесь, и вокруг меня вовсе не сказка, а самая настоящая быль. Души моих предков взирают с небес и думают: он здесь, он добрался».

Но сколько раз можно себе позволить поездку в Иерусалим, Цфат или Тверию? В Лежайске Мотке ходил на могилу ребе Элимелеха каждую неделю, а иногда даже чаще. Он уже знал часы, когда домик над могилой пустовал, усаживался возле решетки, окружающей надгробие, и читал псалмы. После десяти-пятнадцати минут вечность

прикасалась крылом к его сердцу, реальность отступала, заботы, тревоги и недуги пропадали в никуда, и Мотке, словно зачарованный, раскачивался над книгой Псалмов.

Счастье длилось недолго, но воспоминание о тех минутах, когда сладкое щемление сердца и возвышенное ликование ума сливаются воедино, сопровождало его несколько дней, до нового свидания.

В Тель-Авиве святых могил не было. Ну, не ходить же в самом-то деле к надгробию Ахад ха-Ама или Бялика? И Мотке отодвинул воспоминание о счастье в дальний уголок своей памяти. Новая жизнь под новым солнцем была яркой и беспощадной. Она требовала всего человека, со всем его нутром и помыслами. И он пошел ей навстречу, целиком и без остатка попробовав стать другим.

Но прошлое не сдавалось. В Европе началась война, Гитлер и Сталин поделили Польшу, и газеты наполнились тревожными сообщениями. Поначалу Мотке и Шейна пытались не думать о бедах, закрываясь от них, точно ставнями от яркого света, привычным ходом жизни, размеренной заботами будней. Но когда письма из Лежайска перестали приходить, прошлое всплыло из памяти и во весь рост встало перед мысленным взором.

Армия Роммеля триумфально шествовала по Африке, одерживая одну победу за другой. Смутные волны страха прокатывались по Тель-Авиву. Если Роммель разобьет англичан и ворвется в Палестину, от еврейских городов не останется даже памяти. Как-то вечером, после ужина, Мотке рассказал жене последнюю новость:

— Принято решение, если немцы подойдут к Палестине, все еврейское население соберется на горе Кармель.

— Ну, и что мы будем там делать?

— Будем защищаться. Стоять насмерть до последнего человека, как на Масаде. Там уже роют окопы и строят укрепления.

— Защищаться! — презрительно фыркнула Шейна. — Много такие вояки, как мы с тобой, навоюют! Посмотри, как немцы разгромили Войско польское. А уж сильнее армии в Европе не было!

Лет десять назад Шейна побывала на военном параде в честь приезда в Лежайск маршала Пилсудского. Три эскадрона кавалерии, прошедшие на рысях, потрясли ее воображение, и с тех пор она была убеждена в непобедимости польской армии.

— Мы не одни, — возразил Мотке. — Англичане прикроют Кармель с воздуха, мы заминировали все подходы к горе и будем сражаться.

— А есть что вы будете? Где хранить еду на такую прорву народу?

— Бог поможет, — с твердой уверенностью ответил Мотке. — Защитит своих детей на Святой Земле.

— Тю-тю. — Шейна покрутила пальцем у виска, и на том разговор прервался.

Однако следующим утром, не надеясь ни на чьи милости, она начала сушить сухари и вялить рыбу. К счастью, англичане разбили Роммеля под Эль-Аламейном, и угроза миновала.

Прошло еще несколько лет. Существовать в постоянном страхе и беспокойстве невозможно, память и разум сами собой вытесняют события, мешающие спокойствию, к дальним границам сознания. Жизнь потихоньку налаживалась, Шейна открыла в своем квартале рыбную лавку и стала прилично зарабатывать. Теперь ей не было нужды бегать спозаранку в Яффо, перекупщики сами приносили товар к ее дверям.

Мотке стал бригадиром и больше управлял и указывал, чем орудовал долотом и рубанком. В его бороде появились толстые серебряные нити, отрос животик, а в голосе возникли наставительные нотки. Еще бы, ведь он жил в Тель-Авиве больше десяти лет — совсем немалый срок для города, основанного каких-нибудь тридцать лет тому назад.

Незаметно выросли дети. Старшая дочка, хвала Создателю, вышла замуж за религиозного парня. Ну, не такого религиозного, как в Лежайске, но соблюдающего субботу и кашрут. По крайней мере, у них в доме Мотке и Шейна могли без опасения сесть за стол. А вот сын...

Сын совсем отбился от рук и от Бога. Вступил в ударные отряды подпольной еврейской армии и целыми ночами пропадал неизвестно где. Возвращался под утро, пропахший пороховой гарью, грязный, иногда исцарапанный до крови. Где он таскался по ночам, что делал — полная тайна. Ни слова родителям, ни намек. Будто не они вырастили и обучили его, не они дали ему силы ходить в ночные рейды по арабским деревням.

При этом он всё ещё учился в школе, и летом ему предстояли выпускные экзамены.

— Но ты же совсем не сидел за учебниками! — с горечью и удивлением восклицала Шейна, наблюдая, как мальчик

после бессонной ночи собирается в школу. — Разве можно в таком состоянии идти на занятия? Ты просто уснешь за партой, и больше ничего. А что будет, если тебя вызовут к доске? — вопрошала она, округляя от страха глаза.

— Мама, — снисходительно пояснял сын, — у меня есть волшебная фраза.

— Какая ещё волшебная фраза?! — возмущалась Шейна, презиравшая запрещенное Торой колдовство.

— Если меня вызовут, мама, я скажу учительнице, что этой ночью был немного занят. И всё, понимаешь, и всё...

— Что всё? — не брала в толк Шейна.

— Всё, — ещё снисходительнее произносил сын, — это хорошая оценка без единого сказанного мною слова.

— Ну и порядки у вас в школе, ну и порядки! — всплескивала руками Шейна.

— Что ты хочешь от мальчика, — вступал в разговор Мотке, как только за сыном закрывалась входная дверь. — Будто сама не знаешь, молодежи у нас совсем мало. Все юноши его возраста или в Пальмахе, или в Хагане. Учатся по ночам военному делу, гоняются за арабскими бандитами. Придет день, кто нас защитит, Шейна, если не эти мальчики, кто?

И день пришёл. После речи Бен-Гуриона о провозглашении Государства Израиль Тель-Авив превратился в сплошную танцевальную площадку. Танцевали все, - и дети, и старики, и те, кто давно забыл, как передвигают ноги в такт музыке. Веселье не прерывалось до рассвета, улицы, парки, площади были забиты людьми.

А потом... потом началась Война за независимость. Провозгласить государство было куда проще, чем защитить его от сотен тысяч злобных арабов.

Когда египетская авиация в первый раз бомбила Тель-Авив, Мотке стоял на крыше строящегося дома. Он, будто в кино, видел, как от низко пролетающих самолетов отделялись черные комочки бомб и как после глухого взрыва взмывали вверх фонтаны дыма и пыли.

Погибли сорок три человека, десятки были ранены. Взрывной волной вынесло стекла в рыбной лавке Шейны.

— Что теперь будет, что будет? — восклицала она, все еще дрожа от пережитого страха. — Они ведь станут прилетать каждый день!

— Не станут, мама, — успокаивал ее сын. — Вот увидишь, больше их не пустят.

— Кто не пустит, как не пустит? — плакала Шейна.

— А вот увидишь, — многозначительно произнес сын. Он явно что-то знал, но не хотел говорить.

Когда на следующий день завывли сирены воздушной тревоги, Мотке был уже дома и сразу полез на крышку.

— Сумасшедший, что ты делаешь? — вцепилась в него Шейна.

— Если мальчик сказал, что не пустят, значит, не пустят, — ответил Мотке, вырывая руку из цепких пальцев жены. — И я хочу увидеть как.

Египетские бомбардировщики шли со стороны моря. Солнце весело сверкало на фюзеляжах, и низко летящие машины совсем не походили на посланцев смерти. Вдруг им навстречу метнулась группка одномоторных самолетов, размерами куда меньшими, чем бомбардировщики. Впереди, чуть покачивая крыльями, летела машина, выкрашенная в черный цвет. Мотке услышал перестук, будто кто-то вдалеке колотил палкой по частому забору.

Египтяне сломали строй и начали спешно уходить, кто правым разворотом, кто левым. Истребители не стали их преследовать, а барражировали вдоль берега, пока бомбардировщики не скрылись в облаках, плавающих над морем.

— Черный «спитфайр» пилотировал командир эскадрильи Эзер Вейцман, — вечером объяснил сын. — Это племянник самого Хаима Вейцмана и большой швицер¹, но летчик классный. Он эти самолеты утащил с авиабазы англичан в Тель-Нофе. Разобрал на части и спрятал где-то в Тель-Авиве. Британцы носом землю рыли, но так и не нашли. И видите, как эти истребители пригодились!

Началась Война за независимость. Сын и зять Мотке ушли в армию, сын отличился в боях и после завершения военных действий стал офицером. А зятя сильно ранили, он чудом выжил, около года приходил в себя, но, в конце концов, всё-таки обрел прежнее здоровье. Жизнь - опять новая, сверкающая иными красками, - потащила Мотке по своим широким проспектам и кривым закоулкам. Совсем новый поворот начался со статьи в газете «Давар»². Честно говоря, Мотке не выписывал и вообще не брал в руки этот рупор левых антирелигиозных сил, но рабочие на стройке, зная, что он из Лежайска, подсунули ему номер. В статье

¹ Задавака, трепач (идишистский сленг).

² «ДАВА́Р» (слово), газета на иврите, издаваемая с 1925 г. по 1995 г.

подробно разбирались положение дел в Польше, а один абзац рассказывал о Лежайске. В родном городе Мотке не осталось ни одного еврея.

Поначалу он не придавал этому особого значения. О случившемся в Европе много писали в те годы, по улицам ходили люди, вырвавшиеся из ада, с синими номерами на руках. Мотке и Шейна иногда встречали старых знакомых, как-то так получилось, что все они оказались в Тель-Авиве, и все искали помощи и поддержки. Разумеется, помочь всем Мотке не мог, он же не Сохнут, но что было в силах — делал. Устраивал на работу, делился старой одеждой, мебелью, приглашал на субботние трапезы, просто рассказывал о местной жизни и советовал, советовал, советовал.

Тем вечером, пересказав содержание статьи Шейне, он вдруг чуть не подпрыгнул от мысли: как же там ребе Элимелех? Он ведь остался совсем один посреди полуразрушенного кладбища! Больше чем полтора века на его могиле ежедневно зажигали свечи, тысячи евреев приходили молиться, просить и плакать в домике, защищавшем надгробие. А что будет теперь? Кто побелит домик перед Песахом, кто зажжет свечи, кто скажет кадиш в день смерти праведника?

А если... тут Мотке от волнения сглотнул и принялся нервно расхаживать по комнате, оставляя без внимания удивленные взоры Шейны. Кто знает, что взбредет в голову полякам? Могут запросто разрушить могилу, могут сделать из надгробия жернова, могут... да мало ли что взбредет на ум фанатичным католикам? Ведь некому сейчас ни воспротивиться, ни защитить, ни подмазать власть, если нужно. Нет больше в Лежайске евреев, ни одного не осталось!

Что же делать? И чем больше Мотке думал, чем дольше расхаживал по комнате, тем яснее видел выход: могилу ребе Элимелеха надо перевезти на Святую Землю!

Нет, он никому ничего не сказал. Переночевал с этой мыслью, проработал день, неустанно перекатывая ее в голове. И только вечером, после ужина, в те немногие минуты перед сном, когда они с женой обсуждали дела на завтра, открылся.

— Тю-тю, — выразительно покрутила пальцем возле виска Шейна. — Да ты совсем рехнулся.

— Почему? — искренне удивился Мотке.

— Не твоего ума это дело, — объяснила Шейна. — И не по зубам. Кто ты такой? Плотник на стройке, лист Талмуда

толком разобрать не умеешь. Есть большие праведники, есть мудрецы, есть богачи, есть, в конце концов, раввинат в Израиле. Вот пусть они этим и занимаются.

— Но это мне нужно, пойми. — Он приложил руки к груди.
— Мне лично не хватает могилы ребе Элимелеха.

— Ну, я же говорю, рехнулся! — вскричала Шейна. Пока только в пятую часть силы голоса, как бы прогревая двигатель. — Могилы ему не хватает! Все остальное у тебя уже есть?

— Когда я тащил вас на веревке в Палестину, — огрызнулся Мотке, — ты тоже кричала, что я рехнулся. Где бы ты сейчас была, если б мы остались в Лежайске? Лежала бы неподалеку от ребе Элимелеха...

Мотке махнул рукой и закончил разговор. Погасив свет в спальне, он растянулся в постели лицом к стене и долго рассматривал дрожащие тени листьев. Уличный фонарь освещал дерево под окном, превращая белую стену в экран, по которому метались причудливые тени. Воображение Мотке само собой складывало их в картинки, полные самого неожиданного смысла.

«А ведь кое в чем Шейна права, — подумал он, уже засыпая. — Надо сначала расспросить раввинов. А вдруг моя затея действительно бессмысленна и запрещена Галахой, еврейским законом?»

Неподалеку от Тель-Авива располагался городок Бней-Брак, в котором жили очень ортодоксальные евреи, и среди них великий праведник и законоучитель ребе Авром-Йешая Карелиц, известный как Хазон Иш. Правда, не хасид, увы, скорее наоборот, но поблизости мудрецов такого масштаба не водилось, и Мотке отправился в Бней-Брак.

Мудрец обитал в небольшом домике весьма скромного вида. Это Мотке сразу понравилось, именно так и должно выглядеть жилище настоящего праведника. Перед дверями стояла очередь, евреи самого разного вида терпеливо дожидались возможности задать вопрос.

«Совсем как у нас в Бобове на приеме у ребе», — подумал Мотке и сразу ощутил себя дома. В маленькой прихожей перед дверью, ведущей в комнату мудреца, помещались только три-четыре человека. Мотке благоговейно присел на расшатанный стул и стал дожидаться своей очереди.

Внезапно в прихожую ворвалась разгневанная женщина и, указав пальцем на одного из ожидавших приема, вскричала:

— Ты опять здесь? Зачем?

— Посоветоваться. Отцу не становится лучше. Что делать? — смущенно произнес посетитель.

— С врачами советуйся! — возмутилась женщина. — Себе голову морочишь и нам покоя не даешь. Уходи, уходи, откуда пришел!

Она уперла руки в бока и смерила собеседника с ног до головы презрительным взглядом. Тот опустил голову, но с места не сдвинулся.

— Слышишь, что я тебя говорю?

Посетитель замер, словно превратившись в каменную статую.

— Эх, — махнула рукой женщина. — Не с кем и не о чем!

Шурша платьем, она вышла из прихожей, в сердцах хлопнув дверь.

— Кто это? — шепотом спросил Мотке у соседа.

— Ребецн Бася, жена Хазон Иша.

— Однако!.. — изумленно произнес Мотке.

Сосед молча развел руками и уткнулся в книжечку псалмов. Он явно не хотел продолжить обсуждение темы.

Знаменитый раввин оказался болезненного вида стариком. Он полулежал в глубоком кресле, и на его лице столь явно читалось страдание, что Мотке на несколько секунд забыл, для чего пришел.

Праведник поднял глаза и спросил:

— Что стоит на повестке дня?

Мотке быстро и немного сбивчиво изложил свое дело. Хазон Иш пожевал губами, опустил голову и замолчал.

— Со всех точек зрения, — произнес он после нескольких томительных минут, — не стоит беспокоить прах умершего.

Ответ был получен. Ясный и однозначный ответ. Мотке поблагодарил и пошел к двери.

Голос мудреца остановил его уже на пороге:

— У вас дети есть?

— Сын и дочь.

— В какой ешиве учится сын?

— Он уже большой, офицер в армии.

— Ваш сын соблюдает субботу?

Мотке закашлялся.

— Ну, как вам сказать... Иногда соблюдает, иногда нет...

— Вот его и спасайте, — неожиданно твердым голосом произнес Хазон Иш. — А прах ребе Элимелеха оставьте в покое.

По дороге домой Мотке распекал себя на все лады.

«А что ты ждал от миснагеда? — в сотый раз спрашивал себя он. — И не просто от миснагеда, а от главы всех миснагедов. Не зря же его называют преемником Виленского Гаона. Тот бы ответил точно так же! Ох, не зря, не зря говаривали у нас в Лежайске: выслушай миснагеда и поступи наоборот!»

Через неделю Мотке поехал в Иерусалим, к главе гурских хасидов ребе Исроэлю Алтеру. Едва переступив порог дома учения, где гурский ребе принимал посетителей, Мотке понял, что оказался дома. Вокруг говорили на его родном польском диалекте идиш, а одежда так напоминала ему родной Лежайск и Бобов, что на глазах невольно выступили слезы.

Лицо ребе обрамляли пышные седые пейсы, а взгляд, казалось, проникал в самую глубину души. Мотке невольно поежился; Бобовский ребе, с которым он советовался всю предыдущую жизнь, походил на доброго дедушку, от него исходили почти физически ощущаемые волны любви. Ребе Исроэль выглядел суровым судьей, наставником, укорителем, его чуть выпуклые глаза строго смотрели на собеседника.

Мотке собрался с духом и рассказал о своем замысле. Ребе внимательно слушал, и с каждым произнесенным словом его грозное лицо смягчалось. Так оно было на самом деле или нет, но Мотке показалось, будто к концу его небольшой речи перед ним сидел совсем другой человек.

— Недавно из Лиженска вернулся мой хасид, — сказал ребе на удивление мягким голосом. — Я думаю, секретарь помнит историю, которую тот рассказал.

Он перевел взгляд на дверь, и спустя несколько секунд та распахнулась. Секретарь почтительно переступил порог и чуть ли не на цыпочках приблизился к ребе Исроэлю.

— Расскажи про могилу ребе Элимелеха.

Секретарь по-птичьему склонил голову к плечу, постоял немного, словно отыскивая в глубинах памяти заказанную историю, и начал:

— Убийцы обратили внимание, что евреи каждый день собираются в домике на кладбище, и решили, будто они прячут в могиле драгоценности. Одним утром они ворвались в домик, сломали памятник и вытащили гроб. Вскрыли крышку и обомлели от ужаса: ребе Элимелех лежал совершенно целым, с таким грозным лицом, что убийцы испугались и поспешили оставить кладбище. Евреи вернули цадика на место упокоения и запечатали могилу.

— Негоже нарушать покой праведника. — Ребе Исроэль говорил мягко, но каждое его слово отпечатывалось в сердце Мотке. — И спасать его ни к чему, он сам в состоянии о себе позаботиться. К тому же куда лучше нас. И не забывай, скоро, очень скоро придет Машиах, и ребе Элимелех окажется на Святой Земле. Если же у тебя есть потребность молиться на могиле цадика, можешь ходить к моему святому отцу, ребе Аврому-Мордехаю. Его усыпальница находится тут, во дворе дома учения.

Разумеется, выйдя от ребе Исроэля, Мотке направился напрямик на могилу его отца. Но не то! Не то! Невозможно сравнить с ощущениями, заполнявшими его сердце, в домике рядом с ребе Элимелехом.

О переносе могилы речь уже не шла, но история, рассказанная секретарем, не выходила из головы Мотке. И чем больше он думал, тем больше ему хотелось хотя бы один раз попасть в Лежайск.

— Нет, ты определенно свихнулся, — сказала Шейна. — Нормальные люди уезжают из Польши, а ненормальные хотят в нее вернуться.

— Но я же ненадолго, — возразил Мотке. — К ребе Элимелеху, на могилы родителей. И твоих, между прочим, тоже. Побелить, покрасить, починить, если нужно.

— Да делай что хочешь, — махнула рукой Шейна. — Нет больше моих сил бороться с твоим сумасшествием.

Подготовка к поездке заняла почти год. В Лежайск Мотке попал ранней осенью, когда сирень еще не успела пожелтеть, но по утрам над полями долго висит слоистый туман.

Он шел по улицам, узнавая и не узнавая. Когда-то всё тут было наполнено еврейским присутствием — и вывески магазинчиков, и говор, и лица, лица, лица. От всего этого не осталось даже следа, столица хасидизма превратилась в крохотный польский городок.

Мотке не стал ни с кем заговаривать, хотя успел поймать несколько изумленных взоров. Еще бы: он родился и вырос в этом городке, тут его знал каждый житель, да что там житель, - каждая собака. Впрочем, собаки за это время все перемерли. И не только собаки.

Ворота кладбищенской ограды оказались запертыми. Можно было, конечно, перемахнуть через невысокий забор, но если заперты ворота, то, скорее всего, заперта и дверь в домик. Интересно, кому это могло понадобиться?

Сжимая ручку дорожного чемодана, Мотке отправился на поиски. Они завершились, практически не начавшись; через пять минут он наткнулся на Казюка, Казимира, с которым еще мальчишкой дрался из-за всякой ерунды, а потом вместе торговал сделанной утварью.

Казюк искренне обрадовался старому приятелю.

— Как ты здорово сообразил удрать отсюда задолго до войны, — несколько раз повторил он на польском диалекте идиша. — Ты и представить себе не можешь, как тут стало плохо. Нам, полякам, в своей стране было невмоготу, а уж про вашего брата и говорить нечего. — Он горестно махнул рукой. — Ты ведь знаешь, что тут творилось?

— Знаю, — грустно подтвердил Мотке. — Знаю.

Выяснилось, что Казюк и есть тот самый сторож, который отпирает и запирает ворота кладбища и усыпальницу праведника. Жил он по соседству, и, забросив чемодан к нему домой, старые приятели отправились к ребе Элимелеху.

— Пойдем быстрее, мне скоро открывать, — бросил Казюк.

Мотке не стал выяснять, что за спешность в открывании заброшенного еврейского кладбища. Его интересовало другое.

— Говорят, будто немцы вскрывали могилу, — осторожно начал он. — Ты слышал что-нибудь?

— Конечно слышал. И не только слышал, я помогал вашим старикам опускать гроб обратно.

— Так расскажи, расскажи, как оно было! — вскричал Мотке.

— Сплошное глупство и ничего, кроме него. Какой-то дурак из наших поляков по злобе донес немцам, будто евреи прячут в могиле золото. Комендант послал взвод саперов, те взломали постамент, вытащили гроб, увидели, что, кроме костей, в нем ничего нет, бросили всё как есть и ушли. А я потом со стариками долго возился, пока навел относительный порядок.

Мотке от изумления едва передвигал ноги. Когда они оказались рядом с домиком, и Казюк принялся возиться с замком, из-за ограды кладбища донеслись звуки веселой музыки. Обернувшись, Мотке увидел свадебный кортеж из нескольких повозок. На передней сидели невеста в фате и жених в костюме с алой розой в петлице.

— Что тут происходит? — едва выговорил Мотке.

— Как что? Свадьба. Обычай теперь такой — после костела ехать к праведнику за благословением.

У Мотке от изумления отвисла челюсть.

— За чем, за чем? — заикаясь, переспросил он.

— За благословением святого цадика, — невозмутимо ответил Казюк. — Он ведь не только ваш, еврейский угодник, но и наш. В Польше жил, на польской земле творил чудеса, в польской земле похоронен.

Мотке стоял, точно оглушенный. А жених вёл невесту по дорожке прямо к раскрытой двери усыпальницы. Полупьяные парни, друзья жениха, тащили подвыпивших подружек невесты в глубину кладбища, под густую тень столетних деревьев, и жаркие объятия приключались прямо на могильных плитах.

Публикации Архива русско-израильской литературы
Бар-Иланского университета

Михаил Юдсон

«Остатки»

Составление Романа Кацмана

Мы продолжаем публикацию фрагментов, сохранившихся в архиве Михаила Исааковича Юдсона (1956-2019) в конверте под названием «Остатки». Предыдущие публикации см. начиная с №14.

*

1 апреля 2014 г. Плохо мне. Придет серенький рачок — и утащит за бочок...

-

Смутное время и его смутанты. Повылезли!

-

«Когда-то я solo выпивал бутылку и не пьянел...» — грустно писал поздний Чехов в письме к Немировичу.

-

Ох, страна Израиля — большой кибуц «К Ибенимат!»

Эх, литературка! Премии-хрении... Не попал в короткий список? Ну и шорт с ним!..

*

Слово «руссофобия» придумал не Шафаревич, конечно, а Алданов (еврей Ландау).

-

У языка свои законы. Слово «путешественник» прижилось, а «приключенник» или «похожденник» — нет (а в словаре Даля осталось).

-

Шура Балаганов — сибиряк. Город такой — Балаганск, Иркутской области.

*

Московия — Третий Мир, а четвертому не бывать...

-

Третий Мир ходит на демонстрации с плакатом: «Янки, убирайтесь домой! И меня прихватите с собой!»

-

Как говорил герой Зоценко (Егорка Дранов): «Я и без чтения в восхищении!» (наоборот про Пастернака: «Не читал, но осуждаю»).

*

В день Джойса брожу по Тель-Авиву. [Датировано 16 июня 2014.] Всё собираюсь к Грише (здесь и далее Григорий Подольский) — в Иерусалим, но неизменно оказываюсь у Яши (здесь и далее Яков Шехтер) — и пью!!!

Естественно — как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе... На Пушкина берем, на арапа!..

Якобы странствующий литератор — де лит!..

Моисеи утраченного пространства-времени — в нас Сван сидит безвылазно совместно с Блюмом... Как выражался Борхес, «достаточно неизвестный литератор».

*

У Федора Михайловича Царствие есть небесное, в записных тетрадах к «Мертвому дому» есть притча, как жид мужика дрова колоть нанимал. Мужик колет да кряхтит, ну, жид его пожалел: «Я тебе помогу. Ты коли, а уж кряхтеть я буду». Вот они и кряхтят за Русь-то несмолкаемо!..

-

Изредка я вынужден, к сожалению, покидать культурное пространство своего съемного чулана и выползать наружу.

*

Бродикбегство от тутошней реальности — мечты о метрополии...

-

Где-то сеча идет меж федералами-южанами и конфедератами-северянами (в Америке-то наоборот было).

-

Жизнь — некий текст. Недаром в Судный день желают «хорошей записи» в Книге судеб.

-

«Сабры» (растение такое кактусиное с колючками) — здешние уроженцы так себя гордо кличут. А мы «репы» — репатрианты.

Кибенимат (ивритское бранное слово, есть в словарях)

*

Мое «пьяное» брожение от Яши до Гриши. Треугольник. Астрахань, Одесса — от воды родимой к средиземной воде. От заоблачной воблы и тамошней тараньки — к здешней рыбе-фиш, по фаршированному щучьему веленью...

Гриша лечит болезных, Яша куёт чего-то железного, вроде огненных колесниц.

-
Существуют оседлые юродивые и бродячие городские сумасшедшие — их взгляд на литературный процесс тоже представляет интерес.

*

В общем, мы живем, под собою не чуя штаны... Не то чтобы совсем без порток судьбой пущены — но как-то оголённо.... Язык с трудом ворочается — ворочаться?!

-
Нас много здесь русскоговорящих читающих — миллион — этакий крупный российский город — скажем, Волгоград-на-Иордане. И пишут многие, и есть, как везде, в общем, талантливые и не очень.

*

Старичок у Карабчи ставил свои книги на полку — трётся с холщовой сумкой, ворует книжки?! Не-ет!... Символ русскоязычного писательства израильского — мы тремся подле (поодаль) Метрополии, родимых толп носителей языка в пещерах метро — норовим всунуть свои книжки на московскую полку... Участь печальная слова печатного... «Мы чужие на этом празднике жизни» (Яша, у Гриши — койка наготове. Печально).

Александр Карабчиевский сообщил: «Это восходит к истории, которую я услышал от продавщицы тель-авивского книжного магазина «Дон-Кихот» и пересказал Мише. История такова: продавщица заметила старичка с сумкой, возящегося у полки с поэтическими сборниками. Заподозрив, что он ворует книги, она решительно направилась к нему, и оказалось, что он — наоборот, — тайком ставит на магазинную полку свои (авторские) книжки, а разрешения на это у продавщицы спросить не решается. Вероятно, на Мишу этот случай произвёл некоторое впечатление».

*

Израильское русскоязычие, перефразируя, так сказать, Т. С. Элиота, это — сателлитная литература.

-
Приключения — это странствия «при ключе», будь то деревянный человечек (тело) или Кастальский источник (дух). Иду себе, бреду к Русскому вокзалу!

*

Как еще Д. И. Писарев неутопаемо писал: «Выводить тоненьким дискантом некоторые модуляции общелиберального мяукания».

-
Манихейство развелось... Дуализм крепчал! Стенка на стенку! К барьеру!.. Доносится дружное: «Мы — Третий Крым!», по другую разбойно бродит недужный призрак

Стеньки Мюнхенского... Мы здесь тихо Третьего Храма
дождаемся, а мир кипит, булькает...

Изъ рай иль?..

-

Вирша — она как векша, прыг-скок, дао решки всё
грызёт... Вот это поэзия, вот бы у кого господам поэтам
учиться! А не репу чесать!..

*

«И бледнолицый иудей...» (Иосиф Уткин)

-

А врата-то татарва
Порубила на дрова,
А князей взяла в друзья —
Без Орды родам нельзя!

-

Гилгул Гулага — Красное Колесо.

-

На Ближнем Востоке и пишут с востока на запад — справа
налево...

-

Ленин называл российского («великоросса или
украинца») мужика — «тупой, заскорузлый, оседлый и
медвежь-дикий, приросший к своей куче навоза». Ильич
противопоставлял ему «подвижного пролетария» —
наднационального, надо полагать.

*

У Шагала картина «Летящая повозка» — ну, возница-
балагула возносится к облакам. Так там на местечковом
домишке надпись «Лавка», но прописаны лишь первые три
буквы: «Лав» — любовь, лазурь, летанье...

-

Малограмотная бабушка Бабеля считала, что богатырь —
это богатый человек.

-

Пушкин — ас,
Есенин — сани...

-

Злой Зоил ползёт к скрижалям, точит свой кинжал...

-

«Критика есть суждение, основанное на правилах
образованного вкуса, беспристрастное и свободное»
(Василий Жуковский).

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Этгар Керет

«Mistic»

Рядом со мной в самолёте, глуповато улыбаясь, сидел человек, который знал, что я собираюсь сказать. Вот это было самое большее, что меня просто бесило в нём – он не был даже умным или чутким, и тем не менее, за пару секунд до того, как я собирался открыть рот, он произносил именно то, что я хотел сказать...

- У вас есть «Мистик» от «Герлен»? – спросил он стюардессу за секунду до того, как я собирался это сделать. И она профессионально улыбнулась, показав красивые зубы, и ответила, что как раз остался один, последний флакон.

- Жена обожает эти духи, просто обожает. Если я возвращаюсь из-за границы и не привожу ей «Мистик» из дьюти фри, она говорит, что я её больше не люблю. Так что, если я посмею вернуться домой хотя бы без одного флакона этих духов, у меня будет большая проблема.

Вот - это было как раз то, что я собирался произнести, но человек, который знал, что я собирался произнести, просто украл у меня слова, даже не моргнув.

Когда шасси самолёта коснулись посадочной полосы, сосед включил мобильный телефон (за секунду до меня!) и позвонил жене:

- Мы приземлились. Ну, извини, я знаю, что должен был вернуться вчера, но рейс отложили. Не веришь? Проверь сама – позвони Арику. Я знаю, что у тебя нет его номера, я тебе сейчас продиктую.

(Понимаете? И у меня есть знакомый в турагентстве, и его зовут Арик, и он также всегда «прикроет» меня, когда нужно).

Когда самолёт подкатил к зданию аэровокзала, он всё ещё говорил по телефону. И говорил именно то, что я обычно говорю. Механически, как попугай. Его слова были очень точными – именно то, что и нужно произносить в такой ситуации. Но ситуация-то была заурядная, ничего из ряда вон выходящего; как, собственно, и у меня.

На мой звонок ответа пока не было, но было достаточно услышать, что говорил человек, который знал, что я собираюсь сказать, как у меня пропало всякое желание говорить. Вдруг, послушав, что он говорит, я понял, что я из подобного вранья уже выйду в совсем другую реальность, - она меня не простит, не поверит больше уже никогда. Все будущие поездки станут просто адом, а промежутки времени между ними ещё ужаснее...

...Он продолжал и продолжал говорить, произносить фразы, которые я заготовил, но так и не озвучил. Словесный поток не прекращался: говорун то убыстрял речь, то менял интонацию, словно тонущий, который барахтается всё отчаяннее, лишь бы оставаться на плаву...

Люди начали продвигаться к выходу из салона. Всё еще продолжая разговаривать, он поднялся с кресла, свободной рукой взял сумку с ноутбуком и тоже двинулся по проходу между креслами, забыв взять из багажной полки пакет с духами, которые купил в полёте. Я видел это, но не стал напоминать ему про пакет и продолжал сидеть. Постепенно салон опустел. В нем остались только я и ещё одна полная верующая женщина с кучей детишек. Я поднялся и, как ни в чём не бывало, открыл багажную полку и достал пакет с духами, словно он был мой. Сквозь прозрачный пластик можно было увидеть коробочку «Мистик» от «Герлен» и чек из duty free.

...Жена обожает эти духи, просто обожает. Если я возвращаюсь из-за границы и не привожу ей «Мистик» из duty free, она говорит, что я её больше не люблю. Так что, если я посмею вернуться домой хотя бы без одного пузырёчка этих духов, у меня будет большая проблема...

«Со мною вот что происходит...»

Позвонила мама и спросила, что я собираюсь подарить отцу на день рождения. Дело в том, что я, как правило, дарю книгу, а поскольку все обычно знают, какую книгу папа хочет, она тревожилась, чтобы мы все не принесли один и тот же подарок... Тогда я сказал, что найду что-нибудь другое и, действительно, побродив в Интернете, обнаружил нечто замечательное – записи песен альбома I Haven't Got Anything Better To Do начала 50-х годов бразильской певицы Аструд Жилберту¹, который не продавался в Израиле. Тексты песен и музыка отражали очарование стилевых направлений: от берущей за сердце «босса новы» до утончённого джаза, пока он с годами не превратился в распространившуюся по всему миру заурадную индустрию.

Постепенно, килобайт за килобайтом, я скачал весь этот давнишний альбом на мой компьютер, перенёс запись на компакт-диск, сам напечатал конверт-обложку и, когда подошла дата дня рождения, отправился на праздничный обед с участием папы-мамы, брата и его семьи. Я знал, что папа будет от диска в полном восторге, и действительно, он чрезвычайно обрадовался подарку – его глаза сияли. К вечеру я вернулся домой, улёгся на диван перед телевизором и незаметно заснул.

Проснулся я спустя часа четыре – оттого, что кто-то осторожно тронул меня за плечо. Я приоткрыл глаза: надо мной стояла незнакомая молодая женщина, в правой руке она держала утюг... Когда я попытался приподняться, она отпрыгнула от дивана и подняла руку с утюгом, явно готовая к нападению.

Мы молча уставились друг на друга.

- Ты – кто? – спросила она.

- А ты кто? – спросил и я, осознав, что ситуация напряжённая и не стоит делать резких движений. – Я здесь живу.

- Нет, это я здесь живу.

¹Альбом был выпущен компанией «Verve» (США) в 1970 году.

Я машинально огляделся – всё было моё. Хотя... Нет, это же не мой дом! Это квартира, в которой мы жили, когда я только женился. Именно здесь, как я хотел, жил бы Йотам - мой сын, которого у меня так и не было...

Я похолодел.

- Извините, - произнёс я. – Извините, я попал не в тот дом.

- Да неужели?

- Извините, - повторил я. – Когда-то я жил здесь, а сейчас перепутал, не знаю – как... Как это произошло...

Она молчала, но было видно, что она пытается понять, правду ли я говорю. Затем прищурилась и всмотрелась в меня внимательно:

- Вы... Вы - тот писатель... который жил здесь когда-то.

- Точно...

Я улыбнулся ей самой извиняющейся и как бы растерянной улыбкой из своего арсенала улыбок.

– Я действительно сожалею, я сейчас принимаю эти таблетки, которые... ну, вконец задурили мне голову, простите...

Она чуть расслабилась. Утюг не положила, но опустила руку с ним.

- Нам говорили, что вы жили здесь. Говорила эта... – посредник из агентства.

- Да, я прожил тут десять лет.

Мы помолчали.

- Я действительно сожалею, - завёл я опять свою шарманку, - не знаю, как это случилось. Может... может я уже пойду?..

- Ладно.

Она чуть отступила назад с утюгом, не выпуская его из рук.

Я обулся и встал – она следила за мной.

- Вы тут практически ничего не изменили, - показал я вокруг.

Она промолчала, однако поставила утюг на обеденный стол, хотя и не отошла от него, на всякий случай – ведь нет гарантии, что писатели не подвержены вспышкам агрессии.

- Ну, я пойду.

Она кивнула, а я взял свою сумку и направился к двери.

- А как же вы вошли? – вдруг спросила она, за секунду до того, как я открыл дверь, чтобы выйти.

Я остановился. А ведь она права. Я огляделся и увидел мой ключ в замке двери с внутренней стороны; он был

вставлен не до конца, выступал. Так мы с женой делали все годы, пока жили здесь, возвращаясь домой.

- Похоже, у меня остался ключ, - произнёс я и указал на замок, хотя и раньше помнил, что где-то у меня был этот ключ. Оказалось, я носил его с собой...

- Оставьте его там, - попросила она.

- Разумеется, - произнёс я и открыл дверь, - и извините ещё раз.

Она кивнула, но, похоже, всё ещё не очень верила мне.

Я вышел и услышал, как она поспешно заперла за мной дверь.

Когда я добрался домой, Лиат уже ждала меня, страшно сердитая.

- Где ты был?! Я уже четыре часа не могу связаться с тобой.

- Да отключил звук на телефоне, а что? Что-то случилось?

- Случилось?! Ты должен был отвезти Ширу к стоматологу.

- Сегодня?

- Именно сегодня! Да что с тобой такое? – продолжала она бушевать.

- Ох, даже не спрашивай, - начал я. – Я был у мамы и папы, и...

- У кого ты был? – прервала она меня.

- У папы был день рождения, и... - продолжил было я, и остановился, увидев, как она на меня уставилась.

- В чём дело? – спросил я.

- Да какой мог быть «день рождения»?!

И тут я замер, вспомнив, что папа умер семь лет назад... И брата у меня нет, но есть две сестры. И всё, что я начал рассказывать Лиат, не могло произойти...

- Ладно, это всё мне приснилось, - пробормотал я.

- Что?!

- Ну, я спал... и это мне приснилось.

- Это где же ты спал?

- В... - начал было я и осёкся: ну вот, не хватало мне ещё рассказать ей, как я пришёл в свою прежнюю квартиру и улёгся спать.

Обо всём произошедшем со мной я рассказал своему психиатру. Однако более всего его насторожило завершение истории: по прошествии двух дней я взял Ширу навестить бабушку – мою мать, которая одна продолжала жить в том доме, в котором родители прожили всю жизнь. Так вот, там звучали песни Аструд Жильберту с того диска, который я сделал для папы...

Старина Ю-Ю

В один из дней нынешнего карантина я выхожу из больницы «Ихиллов» с пакетом лекарств в руке. Осторожно иду по улице Вайцмана, прикрывая рукой глаза от солнца, потому что был у окулиста, и он перед осмотром закапал мне лекарство для расширения зрачков, и у меня всё чуть расплывается. Вдруг наблюдаю перед собой мужчину, направляющегося ко мне с протянутой рукой. Его особая походка напоминает мне кого-то из прошлого, однако пока не узнаю.

- А вот и великий Захави, - произносит он чуть насмешливо. - Как поживаешь в эти сумасшедшие дни?

Я благодарю его за любезность и намереваюсь продолжить движение, однако встречный – одетый в прекрасный пиджак и держащий в руке резную трость – преграждает мне путь.

- Не уйдёшь, пока не вспомнишь меня, - изрекает он.

Попытка объяснить ему, что я был у врача, и у меня всё ещё расширены зрачки, не срабатывает.

- Давай отойдём в тень, - говорит он и тянет меня под козырёк будки охранников на въезде в больницу. - Давай, взглядишь, - говорит он мне, вручая свою трость, отходит и снова приближается своей необычной походкой, словно идёт на кончиках пальцев, поднимаясь и опускаясь на ходу.

- А-а-а! - восклицаю я. – Старина Ю-Ю!

И он обнимает меня, пытаюсь поцеловать в щёку, чего я терпеть не могу.

Я узнаю запах лосьона после бритья «Brut», который давно пропал из продажи, но был чрезвычайно популярен у шпаны 60-70-х годов прошлого века.

- Знаешь, - продолжает он, словно раскрывает секрет, - когда в последний раз я тянул срок, кто-то передал мне твой сборник «На краю канавы», где один рассказ – обо мне. Много неточных деталей, но в целом – неплохо.

По правде говоря, я рад видеть, что чувак всё ещё жив, хотя, по моему соображению, ему должно быть лет 75-80; к тому же выглядит он на миллион долларов.

- Ну, чем теперь занят? – спрашиваю я.

Старина Ю-Ю широко улыбается и говорит: «Я в страховом бизнесе – оформляю полисы и не выполняю обязательств». Он суёт мне в руку визитную карточку, но из-за всё ещё расширенных зрачков я не могу прочитать. Бормочу, что был рад его видеть, но должен идти домой, чтобы полежать с закрытыми глазами, а при случае – увидимся.

- Ты должен угостить меня коньяком, - говорит Ю-Ю. - Давай как-нибудь посидим в баре, у меня есть для тебя пара классных сюжетов.

...Вернувшись домой, я дождался, пока глаза вернулись в нормальное состояние, нашёл сборник «На краю канавы», перечитал рассказ о старине Ю-Ю и без ложной скромности решил опубликовать его здесь. Почитайте.

Говорят, что Ю-Ю в силу своей скупости спит минимум 18 часов в сутки, чтобы сэкономить расходы на завтрак, обед, сигареты и всё остальное, что не нужно человеку, постоянно лежащему в кровати и не реагирующему ни на что происходящее вокруг.

Когда он не спит, Ю-Ю имеет обыкновение перемещаться между заведениями, где подают алкоголь, зевает, жалуется на скуку и усталость от жизни, а каждые пять минут заявляет, что идёт спать.

Многие готовы побиться о заклад, что с ногами у Ю-Ю что-то не в порядке. Он двигается, как пружина: подпрыгнет – присядет, подпрыгнет – присядет, словно ходит на кончиках пальцев. Кроме того, человек, который спит большую часть суток и непрерывно зевает, когда не спит, явно не в ладах с собственной головой.

С другой стороны, есть и такие, кто утверждает, что в те часы, когда Ю-Ю вроде бы спит у себя дома, на самом деле он без приглашения и в отсутствие хозяев посещает квартиры состоятельных людей в Северном Тель-Авиве. Два-три парня даже готовы поклясться мамой, что своими глазами видели, как Ю-Ю с ловкостью обезьяны взбирался по трубам на внешней стене дома и исчезал в окнах роскошных пентхаусов.

В один из дней в Особом отделе Управления полиции тель-авивского округа раздаётся телефонный звонок, и аноним сообщает, что за последние дни Микаэль Шукрун, более известный как Ю-Ю, обчистил несколько

«упакованных» квартир, что добавило в его закрома две-три сотни тысяч «зелёных».

Парни из Особого отдела – настоящие профессионалы, которые используют в своей работе всякие штучки: переодевания, прослушку и многое другое, чтобы доказать, что их клиенты – преступники, а не праведники, какими они обычно прикидываются. Сыскари складывают два плюс два и понимают, что поступившая инфа и факты ограбления квартир в Северном Тель-Авиве указывают на одного опытного домушника.

Следаки пускают за Ю-Ю «хвост» и выясняют, что тот живёт вместе со своей старой матерью в ветхой хибаре в квартале Шапира. Ещё люди из НН¹ сообщили, что мамаша Ю-Ю имеет обыкновение собирать остатки продуктов из мусорных баков возле рынка в квартале «А-Тиква», а на обратном пути домой идёт с протянутой рукой и просит милостыню. Сотрудник, тайно наведавшийся в развалюху Ю-Ю и его матери, заявил, что не может того быть, чтобы человек, который обнёс пару десятков дорогих квартир, жил в такой вонючей конуре. Более того, топтуны, следившие за хавирой Ю-Ю, сообщили, что уже несколько последних ночей не видели, чтобы тот выходил из дома. Всё это родило предположение, что кто-то задвинул парням из Особого отдела чернуху, и не стоит более тратить служебное время на старину Ю-Ю.

Как-то поздним вечером сидел я у стойки в баре «Судьи» и вдруг слышу, как кто-то сзади просит меня подвинуться – старина Ю-Ю! А надо сказать, что он тогда был мне интересен тем, что частенько рассказывал разные майсы, от которых, правда, нужно было отнимать половину, чтобы приблизиться к истине.

Он заказывает себе виски в высоком стакане для пива и шепчет мне в ухо: «Не верь барменам, все – стукачи, работающие на легавых».

Уже через полчаса моё терпение выслушивать его байки иссякает, и я мечтаю отвалить, но пристрастие к дешёвому коньяку, который заказывает мне Ю-Ю, всё же удерживает меня возле него.

В какой-то момент, уже крепко набравшись, Ю-Ю наклоняется ко мне и шепчет в ухо:

- Послушай историю, но станешь трупаком, сукин сын, если выболтаешь хоть слово.

¹НН – наружное наблюдение, слежка.

Итак, однажды моя старая мамаша, мудрая как царь Соломон, и знающая абсолютно всё, что происходит в нашем квартале, обратила внимание в нашем магазинчике на двух типов, покупавших всякие перекусы и лёгкие напитки. Проследила – они вошли в пустующее здание в двадцати метрах напротив нашей халупы.

Она рассказывает о них мне, и я просекаю, что это легавые в гражданке.

Я отправляю её на рынок – якобы пособирать всякое гнильё и поклянчить для вида у людей лиру-другую. Короче – изобразить нищету голимую. Также передаю ей большую бухту «зелёных» моих накоплений – чтобы спрятала где нужно, иначе мне за неё пропишут не меньше пятерика в государственном пансионате. А затем неделю не выхожу из дома – просто засох: ни горло промочить, ни в картишки не перекинуться, ни порезвиться со своей новой куколкой, которая пока позволяет только чуть прикоснуться к ней – не более того. Вот такой держу режим.

Кроме того, - усмехается Ю-Ю, - выпускаю компанию шестёрок, которые несут обо мне, как о нищетолюбивом, а я что – буду рассказывать, что отложил приличную сумму «зелёных» на покупку виллы, чтобы затем развернуться взрослому?

И вот вчера ментовские собрали манатки и убралась из квартала, поэтому сегодня я решил оттянуться, отметить окончание спектакля.

- Скажи Ю-Ю, а почему же ты празднуешь один, а не со своей новой куколкой? – спрашиваю я.

- Почему? – грустно переспрашивает Ю-Ю. – Да потому что нельзя верить никому: я зарисовал эту сучку, когда она была за рулём автомобиля, который увозил этих, что следили за мной...

Когда мои глаза вернулись в нормальное состояние после «Ихилова», я спустился в магазинчик кое-что прикупить. Похожу к кассе, а бумажника-то и нет в кармане рубашки. Проверил в карманах брюк – нет. Вернулся домой, поискал – нет. И тут я вспомнил, как тепло обнял меня Ю-Ю при встрече...

Сукин сын всегда был отличным карманником.

Я быстро позвонил в компанию «Исракард» – заблокировать кредитку, а мне говорят, что за последние два часа ею оплатили дезодоранты, лосьоны после бритья и ароматические масла для ванной – всего на 1200 шекелей,

а в супермаркете по ней закуплено деликатесов на 700
шекелей...

Ю-Ю был прав – верить никому нельзя.

Перевёл с иврита Александр Крюков

Кто мне скажет, как жить после Винницы,
Как натягивать свитер и знать –
Сердце подлое стерпится, свыкнется,
Успокоит его белизна
Проходящего облака, берега
Желтизна, разогретый песок.
И Торжок устоит, и Америка,
И Камчатка, и ближний лесок,

Магазин, огородов мозаика,
Дед, меняющий колесо.
Где калитка, не знаю. Не знаю, как
Чай поставить. Не знаю, и всё.

– Этот госпиталь стёрт с земли...
– Наши мальчики не могли...
– Прямо в пятиэтажку – танк...
– Это только фашисты так...
– И снесённые города...
– Наши мальчики – никогда...
– И в полях поджигали рожь...
– Наши мальчики? Всё ты врешь...
– И прикладами всех – в подвал...
– Наш-то мальчик не воевал...
– Это дети лежит в земле...
– Что вы делали восемь лет...
– Муж убит, без ноги жена...
– Ну, какая у них страна...
– А у нас не страна – стена...
– Не пшеница, а белена...
– А какая у ней цена?..
– Только пуля... Иди ты на...

Не давай мне спать,
Не давай мне спать.
Двухлетняя Ева больше не ляжет в кровать
С мамой, не привалится к ней плотнее:
Россия взрывается, превращая Украину в Помпеи.
Ева уже начала лепетать слова,

Под ногами у Евы трава,
Она прибежит и скажет: «Зеленоглазый мой,
Хорошо, что мама сгорела вместе со мной,
А белый мишка с нами всегда обедал,
И теперь он чёрный. Посмотри, какой у нас тёплый пепел».
Ты прорастёшь сквозь неё, как бобовый стебель –
Ева станет Тобой.

Не давай мне спать,
Не давай мне спать,
Не давай мне пятиться через рожицу, через гать,
Через просеку, по тропе той самой –
От двухлетней Евы, горящей в обнимку с мамой.
Не давай мне зажмуриться, покуда рвёт
Родину танками, покуда её живот
Переполнен лавой,
И покуда глаз косит, и квадратный рот
Со вставною челюстью без запинки врёт
Про былую славу.

А от Евы с мамой останется пустота,
Как в Помпеях, гибким
И прозрачным воздухом залита –
Белым гипсом.
Не давай мне спать, натянув на голову дом:
Вот же ямка с пеплом, где лежали они вдвоём:
Я куда ни шагну – и сразу же упаду
В Евину пустоту.

Она, конечно, будет тосковать
И падать на кровать, и гладить кубик
И пирамидку – так любил играть –
Но семь лимонов – как же их не брать.
Квартиру купит.

И комнату получит младший брат,
И домик – бабушка.
Мясной отдел, плакат
В советском гастрономе, где корова
Расчерчена на множество частей:
Грудинка, голень, толстый край, филей –
А сколько заплатили ей
За каплю крови?

За первый шаг и – бух! Устал? Я понесу,
Подую, за веснушки на носу,
За цыпки на руках, за где опять тетрадки,
За круглый подбородок, первый пух,
За где ты был, я не спала до двух,
За это – мам, да ладно, всё в порядке.

Она молчит и смотрит в потолок.
Поделен сын, как жертвенный телок –
Колени, плечи, грудь, вчерашний сухпаёк
И голова в пятнистой кепке, то ли
В бейсболке. Все на празднике, и вот –
Всем причитается, и каждый есть и пьёт.
Она ушла бы...

Только не уйдёт –
Поскольку в доле.

Чёрствый батон голубям крошен.
Хлеб дорожает. Дожить до зимы.
Главное – это остаться хорошим.
Мы – не фашисты. Фашисты – не мы.

Камень Алатырь – белый, горючий,
Шёлковый ворон каркает мне:
Вправо поедешь – окажешься в Буче,
Влево поедешь – очнёшься в тюрьме.

Долго ли, коротко ли – куда там
Едем – неважно. Закат. Заря.
Главное – это сказать солдатам,
Что умирают они не зря.

Шагом державным, рысью крысиной,
Птичка пропала: увяз коготок.
Чехов выхаркивает Россию
Красными сгустками на платок.

Кто виновен – никто не виновен.
Ведь не бабка в разбитых очках,
Ведь не девочка в плащике новом
На рассыпчатых каблучках,

И не водопроводчик чумазый,
Матерясь, залезающий в люк,
Не мужик, выбирающий мясо,
Макароны, морковку и лук,

Не училка у светофора
С вереницей четвёртого “б”,
И не тот коробейник проворный,
С тёплой пиццей спешащий к тебе.

Кто виновен? – Не надо, не в тему,
Дней-то солнечных наперечёт.
Только кровь проступает сквозь стены –
И течёт, и течет, и течёт.

Секретики

Бусинкой, камушком, мелким секретиком из фольги,
Маленьким, меленьким, голеньким - убеги,
Спрячься под стеклышком в ямочке земляной,
Бабочкой мертвой, цветочком, травинкою под фольгой,
Пупсиком, куколкой, колечком из Луна-парка,
Выиграшем радостным, словно Парки
Девочкам не наткали будущих бед
Через десятки лет.
В вырытой впадинке, как в слюдяном гробу,
Девочки прячут сокровища и судьбу,
Пупса хоронят, стелют перо воронье,
Клевера четырехпалый листок, счастья-беды глоток.
Бусину, главное, бусинку не забыть,
Смальты кусочек, и в виде зонтика снить,
Фантик, обертку блестящую, шелковистый платочек,
Вышитый между строчек.
Сверху фольгу, стекло бутылочное, но над ним -
Из травинок сухих серебристый нимб,
Гнездышко травяное, и ни гу-гу -
Никакому врагу,
А тем более другу - хуже еще, чем врагу...

Когда от внезапного взрыва
Ей руку отбросит красиво
В тот кювет придорожный, где растет подорожник,
Который уже не поможет...
- Как живется тебе с одной рукой?
- Это словно не я, будто кто-то другой.
- Как живется тебе с воспаленной культёю?
- Я лелею ее, как больного котенка.
- Как же хлопаешь ты в ладоши?
- По коленке стучу, мой хороший.
И она научилась жить без руки,
И одною рукою печь пироги,
И доить козу, и стеречь беду,
И полоть лебеду в саду.
А рука проросла сквозь сорняки,

Счастье человека призрачно, как крыло стрекозы,
как прозрачное трепетание, слюдяной призыв...
Вот она летит над водой, над кувшинкой, над полем, над...
Вот комочек на лобовом стекле - стрекоза иль баб
очка ударилась - уже не понять.
Они будут лететь, разбиваясь, опять и опять...

Путь человека кончается, как путь стрекозы.
В глотки огромных жаб ускользает жизнь.
На стекле лобовом, на летнем лугу, или в морозный день.
вместо светлого блеска крыл - всё накрывшая
серая тень...

Цыплят по осени...

А осенью паутинки звенят в просвете
Между ветвями, когда их срывает ветер.
И льдинки хрустят по утрам, затянувши лужи,
И дети на них наступают – и всяк простужен.
И горло дерет наждаком, и туман над лесом,
Как будто бы покрывала кто-то развесил.
И если идти по траве, то коснутся чресел
Кусты, чьи названья звучат, как строчки из песен.
А я несу цыплёнка в горсти — вдоль просек.
И рук никак ни сжать, ни разжать, и его не бросить.
А вокруг подступают кусты, и сомкнулась осень.
Осень, тебе чего от птенца-то нужно?
Ни звонких туманов, ни нежных паучьих кружев,
Ни этих капель на ветках – серых больных жемчужин —
Тебе не отдам, хоть они и твои, – довольно,
Уже отдавала, кидала в дурные волны
Тех, что несла в кармашке, поближе к сердцу
Тех, кому никогда не играла ни фуг, ни скерцо.
Я вообще ни на чем не играю – только на нервах.
Этот птенец совсем не последний, отнюдь не первый.
Я несу цыплёнка сквозь лес, не сжимая рук.
Ничего не слышу, лишь птичьего сердца стук.

Такое стремительное зерно,
Такие крылатые острые птицы –
Как тень от рисунка на кимоно,
Что ночью приснится.

Летели, как пули ночные, стрижи,
И стригли пространство, и не задевая
Ни время крылом, ни пространство веслом –
Летели до рая.

Откуда весло? – ну а пули – откуда?
Откуда растёт это странное чудо?
И росчерк от клюва на рукаве,
Кузнечик в траве, и мотив в голове –
Такой удивлённый и странный мотивчик.
Услышавший музыку эту - счастливчик,
Он сон записать успевает едва ли,
Покуда росточек из сна прорывает
Земное пространство – ужели из сна?
И, снегу не веря, приходит весна.
Вы знаете? Вправду? И будут стрижи?
А пули? Поверь удивительной лжи.
Возможно, от правды не отличая
Её, ты достигнешь и странного рая,
Где смешаны звуки вороньего грая,
Трещанья сверчка и собачьего лая,
Играй же, играй... Не гадай, дарвалдая...

Тоскующий хищник стоит в световом луче,
И бабочка сидит у него на правом плече,
За левым плечом притаился большой таракан.
Тоскующий хищник несчастен и сильно пьян.
Он видит: котёнок бежит за тонким лучом,
Он видит: опёнок растёт за трухлявым пнём,
Он знает: скоро опять упадёт закат,
А утром - рассвет, и хищник покинет град,
Тот град обречённый, который уже не спасти,
Тот град обречённых, что звезды зажали в горсти,
Он лапой пытался трогать морское дно,
До звезд не допрыгнул - теперь-то ему всё равно,
Он помнит лишь луч, как плясал в световом столбе
Больной мотылёк, и как капля текла по губе.
Как капля дождя оказалась слезы солоней,
Как стыла беда, и все нити тянулись к ней,
А солнечный луч прорезает большую мглу,
Застыл в янтаре мотылек, но стрекочет сверчок в углу...

Декабрьский Петербург

Снег кончился, а ты еще идешь,
Фланелькой протирая окуляры
Бинокля белого. Взгляни на крышу –
Карниз, а меж сосуллек спрятан дождь.
Таится дождь в преддверии весны,
Сокрыты шишки в веточках сосны,
Неспешно наливаясь клейким соком.
Укрылось солнце за дворцом высоким,
Невольню проникая в наши сны.
Тут между лунами на небе – пять часов,
В ночи, на ощупь, движутся трамваи,
И не хватает красок, голосов.
Но кто снежинки с варежки сдувает?
Кто топчется в подъезде, отряхнув
Сугробы, что налипли на ботинках?
И кто со хтонью пляшет под сурдинку,
Без поз, и просьб, и слёз, и слов?
Тут прорастает музыкой трава,
А там, потом – случится синева,
Лучи, заря, и корюшки улов -
Потом, не с нами, с кем-то, но сперва
Вдохни морозный воздух, гулкий, колкий,
И, снег стряхнувши тоненькой метёлкой,
Войди туда, где отступает тьма.
И жди: любая долгая зима
Когда-то кончится, и будет май, но толку
Не будет, коль не дадено ума...

А ты за музыку, всегда держись за музыку!
Смотри, озябшему котёнку чешут пузико,
Послушай, как волнуется сверчок,
Лежит гниющий яблочный бочок
В снегу под яблоней – но ты держись за музыку,
Тяни из воздуха упругую мелодию,
Покуда музыку твою не покорило,
Покуда жизнь твою не покорежило,
Пока не кончилось, пока совсем не кончилось -
Держись за музыку, кричи: «А хочешь пончиков?
А может, чаю с апельсиновым варением?"
Пока не кончилось, пока стихотворение
Не перешло туда, где только музыка,

Пока не стали мы кому-то там обузой,
Пока мы здесь, и остывает в кружке чай
Под острою звездою, невзначай.
Летит над бездною звезда Полюнь,
А мы про пончики с вареньем говорим.

*«И зонтичный цветок тебе
для счастья нужен...»
Антон Яржомбек*

Чем ближе тьма и страшнее жизнь,
Тем ярче краски на горизонте.
Тебя пинают - а ты держись
За этот сказочный желтый зонтик.
Там убивают, а ты смотри
На брызги горного водопада..
В тебя стреляли, но снегири
Сверкали грудками, на ограде
Твоей темницы сидят скворцы,
Там, за окошком с решеткой частой
Стрижи летают, и в рыжей ржи
Гуляет ветер, и пахнет слаще:
Считай, что медом или травой,
Не думай: сладко не трупы пахнут.
Птенец под деревом - как живой,
А вдруг никто не сыграет в ящик?.
Чем больше марево, тем заря
Прекрасней кажется и тревожней.
Дожить хотя бы до ноября...
А там так плохо уже, что можно...

7 апреля

Уж какие тут Благие вести,
нам одна сегодня весть нужна –
в клюв тебе оливковые ветви,
и – лети как можно круче к ветру
прочь с земли поганая война.

Бедные дороги Украины!
Что узбічча – то опасный юз,
крошатся колёсами руины,
я степей распахнутых – боюсь.

Что за дым вползает в альвеолы?
Впрочем, лучше мне о том не знать.
Идеальных шариков пионов
не заметит страшная весна.
Тихий свет ложится в тихий омут.
Всё теперь украдено у нас.

Вытолкнет взбешённость сухожилий
новый смертоносный профитроль.
Мы благих вестей не заслужили.
Если можешь – небо им закрой.

Мы не виноваты. Но нам не отмыться.
Мы всюду чужие. Особенно дома.
Не клята, не мята, не сныть, не мелисса -
от ужаса взглядом уткнёшься в ладони,

сотри себя с диска, из памяти, с флешки,
готовься, оденься по первому сроку,
гляди - в дыры окон, дверей головешки -
ты взят на прицел украинским барокко.

Скорлупка сознания кажется хрупкой,
совсем ненадёжной – но двинуться рано,
не всё ещё знаешь... Молчит Мариуполь
тревожней пустыни в преддверье бурана.

Злословит ведущий, злорадствует пресса
агитновостями четвёртого рейха.
Всей пятой колонной взорвать поднебесье –
и то – не простится, вот разве прозреют...

Неспособных ужаснуться войне
отчего-то так и тянет ко мне.
Что такое ты надел на глаза –
что его не пробивает слеза?

Трезво выверил, своей головой –
так ты вымокнешь от слёз и умрёшь.
Но пока-то ты сухой и живой,
лживый напрочь, и стихи твои – ложь.

Вы, пожалуй, что, страшнее войны -
с нецензурным выраженьем лица,
да с эмпатиями за полцены,
да с готовностью мочить до конца.

Малодушному вся жизнь – трын-трава,
ужас мёртвых городов – нипочём.
От извивов в ваших новых словах
умолкает тот, за правым плечом.

Маски-шоу до поры хороши.
Оказалось, за душой – ни души.
Как мне жаль вас, вы закрыты любви,
жизни ваши - сериал-водевиль.
«Я ничтожен – не поднять головы.

Нелогичен, но практичен и сер».
Мимикрируй – хоть под СССР
зачарованных твоих ебеней,
неспособных ужаснуться войне.

Вы ж кричали – нашу лодку не тронь,
мол, страшит вас бунт, восстание, хтось,
что ж теперь молчите – дни сочтены,
дно двойное не надёжней стены.

Весь бэкграунд – незначительный штрих
к беспощадной лоск сорвавшей весне.

Разъедает вас война изнутри –
неспособных ужаснуться вовне.

Страшновато оказаться в стране
и вину не признающих в вине.

Снявши скальп – по волосам уже не...

Слушайся, детка, ложись-ка в кровать -
русские сказки идут убивать.
Выключи лампу, не спи, но молчи –
бомбардировщики воют в ночи,
завтра приедет Иван на печи.

Слышишь – несётся ковёр-самолёт,
молнию с громом на город наслёт.
Щука в реке – обернись, говорит
высокоточной ракетой «Калибр».

А Василиса утешит ребят
в Курске, в Воронеже – но не тебя...
Вот они, братья, стоят у костра -
месяц Июль так похож на Февраль.
А Колобка загоняет спираль
страха в чужую неверную даль.

Змей-то, Горыныч, пока что живой -
с третьей, контрольной своей головой.
Шёлковы рыжие кудри огня.
Ты попроси его – чур, не меня.
Глазки закрой – не вползёт в твои сны
злое пророчество духов лесных.

Горькая правда ли, сладкая ложь –
так не бывает, ты не умрёшь,
выдернут репку – и пустишься в рост.
сквозь молодильные яблоки звёзд,
но перед тем упадёшь до поры
в руки рыдающей той медсестры.

Любимый мой поруганный язык –
везде объект опаски и укора,
а дома – применяй его азы
с оглядкой на товарища майора.

Не зарастёт инверсионный след,
как не вмещает VPN мобила.
Болит во мне страна, которой нет.
Уже вторая. Я её любила.

Но нам нельзя ни дома, ни любви –
за них мы и наказаны войною.
Моё перо умеет так немного,
ему не переплюнуть паранойю
сторонников пиара на крови.

Нас не впервые предаёт страна,
но – не язык, его к святым причисли.
Язык живой, он слушается нас,
он, как ребёнок, впитывает смыслы.

Мы не успеем выяснить, кто прав –
и станем поголовно виноваты –
и есть за что! – со всех сторон собрав
презрение, бойкоты и блокады.

Казалось бы – беги, покуда цел,
в чужие города, в чужие храмы...
...В тревожном чемоданчике пробел –
ещё б тире и запятых два грамма.

Ниагара

Я вернулась через десять лет.
Здравствуй, Ниагара! Я скучала.
Льющийся рекою лунный свет,
Время всё опять начать сначала.

Осень ярко брызнула листвой,
Закружила танго листопада.
Словно всё случилось не со мной,
Но, наверное, тогда так было надо.

Я стою всё там же, на мосту,
Глядя на туман над водопадом,
Где вода стремится в пустоту,
И до дна не дотянуться взглядом.

Унося столетия вперёд ,
Убегая вместе с бурунами,
Ниагара просится в полёт -
И летит, рождая радуг пламя.

Мне не страшно на твоём краю,
Мы парим с тобою, Ниагара!
Над обрывом у воды стою,
Слыша сердца мира здесь удары.

Кто я?

Кто я? Космополит безродный?
Кровей намешано во мне,
Историй жизни бесподобных
Со всех сторон по всей родне.

Так можно ль выбрать из соцветий?
И как с отобранными быть?
Не заглянуть мне в глубь столетий,
Не выбрать мне, кого любить.

Еврей, башкирка, русский, поляк,
Цыганка, белорус и финн:
Кому какая вышла доля,
Но мой геном теперь един.
Религий, вер, учений море:

И кантонист, и коммунист,
И выкрестами поневоле
Наш род отмечен и нечист.

Я - стык культур, коктейль историй,
Сплав языков и генов смесь,
Развоплощений и теорий,
И прошлых жизней слитых взвесь.

Душа приходит за уроком
И выбирает, с кем и где
Ей воплотиться. Быть пророком
Иль слепо следовать судьбе.

Мы кровью слиты неразрывно
С тем прошлым, что для нас темно.
Тоска по правде неизбывна.
Как приоткрыть судьбы окно?

Как опознать свой код и выход?
Как приподнять ракии ткань?
Тропами предков путь наш выткан,
И Господа ведёт нас длань.

Октябрь две тысячи двадцать -
Привал перед выходом в зиму...
Осенняя грусть навигаций
Меж теми, кто были любимы.

Вот сорваны-скомканы тайны,
Подобно словам на странице
Той книги, что просто случайно
Раскрыла реальные лица.

Лишь грустно - не тяжко, не больно.
Всё просто сложилось узором,
Где рыцарь и дама невольюно
Исчезли за мысленным взором,

Где нет больше веры и правды,
Где смена прошла парадигмы.
Доверия нет. И преграды.
И только рождаются рифмы.

Медовый год

Парадоксальный этот год
Принес всего и понемногу:
Эмоций вихрь, водоворот
Событий, грусть, любовь, тревогу...

Разворошил угли внутри,
И пламя выпустил на волю,
Согрел предчувствием любви
И стер наклейку «обездолен».

С друзьями выстроил мосты
Сквозь зумы, годы, расстоянья.
Отдраил суть до чистоты,
Поверил шкалы пониманья,

Где свой/чужой разрезан круг.
Поток общенья ограничен:
Переплетаем пальцы рук
Лишь с тем, кто нам небезразличен.

Август

Август - словно вечер воскресенья:
Радость с грустью смешаны в коктейль.
Осень скоро сдует флёр веселья,
Листопадом выстелив постель.

Шорохом листвы наполнит скверы,
Разукрасит лес в охру и медь,
Хвойные штрихи внесёт умело,
Даст нам шанс ещё раз всё успеть.

Летней суматохи стихнут волны,
Искрами прольётся звездопад.
До краев мечтой бокал наполнив,
Август возвращает нас назад,

Дарит щедро зеркала и время,
Чтоб успеть присесть и отразить -
Где мы? Кто мы? Дальше будем с кеми?
Что запомнить? Что пора забыть?

Август - словно вечер воскресенья.
Капуччино и арбузный фреш.
Пойманный кусочек вдохновенья.
Межсезонье. Новый год. Рубеж.

Воздух сентября

Осенью воздух прозрачнее,
Дышится легче и стылее...
Будет ли выбор удачнее?
Тщетны ли будут усилия?

Можно ль делиться смыслами?
Столько вопросов не спрошено...
Выслан сентябрь листьями.
Небо в кармашек уложено.

Можно просыпать горести
Солью из слез неплаканых.
Можно закончить повести,
Пар выпуская клапаном.

Месяца серп-полукружие
Сквозь облака проглянется.
Можно сложить оружие.
Пленных и вдов не останется.

Корабль

Ранним утром, на рассвете
Взгляд уходит в глубину...
Паруса наполнил ветер,
Нос врезается в волну,

Вкус открытий и скитаний
Мачты, реи, кливера...
Скинув груз из ожиданий,
Порт покинуть нам пора,

Нам пора мечтать и верить,
И оставить тёплый быт.

Кораблю судьбу доверить,
Знать, что путь всегда открыт,

Что границы все условны,
И проверены узлы.
Шкипер хмур, немногословен,
Помнит правила игры,

Знает лучшие маршруты,
Карты знает наизусть,
Мели, скалы, рифы, бухты,
И куда доставить груз...

Бригантина? Каравелла?
Клиппер? Яхта? Всё одно...
Снег идёт. Корабль сделан.
И поставлен на окно.

За край объектива

что хочет человек и что он ждёт,
когда внутри него уже не жжёт,
а звякает негромко, равномерно,
как пряжка на моем ремне, наверно,
— что видит он, когда он видит дом
над лесом и рекой, окно, и в нём
себя, рукой дрожащей чашку чая
сжимавшего, затем что жизнь такая,
что вот она — а завтра её нет,
потом он выключает в доме свет,
и дерево придвинулось вплотную —
затем что жизнь отверстие в иную,
где тот же снег висит на волоске
тобой ещё не тронутой тоске

как подлинно, как зримо всё живое
ранение природы ножевое
как этот алфавит похож на лес
и как болит во мне его надрез
— вот птица недалёкого полёта
как будто перетаскивает что-то
с той стороны на эту и обратно,
а время желторото и всеядно
гнездо себе где хочет, там и вьёт,
а птица в клюве жизнь свою несёт

А. Б.

вот и зима, и земля из-под ног
столбики света роняет на воздух
чёрный по небу скользит поводок
тянет состав электричка на отдых
— нет ничего и не надо жалеть,
кроме трамваев твоих перезвона,
царских орлов почерневшая медь
лишняя тяжесть на лодке харона —
снегом засыпан вокзальный казан,
мир замирает на ножке штатива

только один дребезжащий стакан
едет и едет за край объектива

...под землёй
на перегоне в метро, в час пик
неввысокий седой человек
в старомодном плаще
— мой отец
стоял в другом конце вагона
и чей-то локоть
мешал разглядеть его
как следует

я помнил его таким
с детства — тёмный
взгляд из-под бровей,
синева на щеках,
очки на цепочке, газетка,
— берет, который
я донашивал в школе
и этот взгляд — в себя
когда внутри
сlediшь за поплавком

(наверное, так
устроена мысль)

я, помню, дёрнулся:
— отец! — хотел окликнуть
или как в детстве "папа" —
но двери открылись
толпа схлынула
поплавок исчез

...снег снег снег
мокрый снег слетал медленно
и тут же таял, не оставляя
следа — словно
сквозь асфальт
про-ва-ли-вал-ся
— мои мысли
были похожи на этот снег
тоже ниоткуда слетали
и тоже без следа

падали
снег падал —
я поднимался
и машины поднимались
и дома над подвалами
и деревья, которые
больше не держались
за корни
— поднимались тоже

(наверное, так
устроена память)

за тридцать лет до этого
мой отец умер

ПСКОВ

блаженный фёдор и юродивый андрей
на свалке ржавых пару батарей
нашли и вниз к реке тащили,
впрягшись в коляску детскую в четыре
копыта, в кеды рваные обутых,
по красных партизан к фоме в запрудах
— теперь, сказал блаженный, заживём
в тепле, накроем стол, за стол сзовем
timoшку одноглазого и лавра
и мавру-бабу, хоть она и лярва —
пусть лишнего возьмёт на грудь фома
нам не страшна голубушка-зима
(это говорил юродивому блаженный)
— а тот молчал, он был глухой по ходу
потом они спустили груз на воду
и вниз на батареях отошли
воды речной не трогая почти
андрей смотрел вперед,
другой был сзади —
коляску без колес они не взяли

Одним из первых редакторов Гомера
был Зенодот Эфесский —
учёный библиотекарь из Александрии.
Это он перекроил "Илиаду"
слепого, как корешок книги, рапсода.

От сотен прочих поэтов Эллады и вовсе
ничего не осталось.

Слишком хрупок папирус.
Слишком дорог пергамент.
Слишком мало места в библиотеке.

Филологи мира и ныне
пеплом нечистым главу осыпают.

Но поэзия?

Не больше, чем дерево о собственных листьях.
Или об облаках небо.
Или мойщики старых пергаментов
в подвалах Александрийской библиотеки,
каждый день смывающих в Лету
тысячи тысячи тысячи строк
неизвестных поэтов.

Любезный мой сверчок!
Непостоянству мира
да будет твой шесток
и сладкозвучна лира
моя — преградой. Пусть
наставлен сумрак ночи,
тем ярче млечный путь,
а зимний путь короче.
Что ветхий мотылёк
и бабочка беспечна?
Полёт их невысок
и повесть скоротечна.
А с песенкой твоей,
как мореходу с кручи
волны, маяк видней
— и молнии певучи.
Пусть вавилонов жрец
читает зодиаки —
мне в завитках колец
видны иные знаки.
Неслышная, одна
к другой душе слетает.
Что ищет в ней она?
И лира замолкает.

Урим и Тумим

Я, утратив Урим и Тумим¹,
О потере скорблю ежечасно,
Точно той же тоскою томим,
Что и предки мои - не напрасно.

Доверяйте пустейшим словам,
Выбивайте ответ из полена,
Нагадают на картах пусть вам -
Ох, мизерная всё же замена!

Не отыщется тайной травы,
Прямо к ним приводящей и чуду.
Совершенства и Светы, увы! -
Безвозвратны... и звать их не буду.

Царства рушатся и города -
Об Урим и Тумим нету вести...
...Я угадываю их всегда
Там, где Память и Истина вместе.

Глядит на нас. Думает: "Что за уроды.
Откуда в них эта жестокость тупая?
Ведь, в общем, не злобны они от природы.
Нет, право, другого я ждал урожая.

Какие здесь средства помогут, лекарства?
Как им воздавать по делам их и вере?
Такому хоть деньги давай, хоть полцарства -
Останется тем же рабом на галере.

Быть может, болезни и опыт страданья?..
Я пробовал - в массе своей неизменно.
Бессмысленно с первых минут мирозданья
Ломать этих тварей чрез Божье колено.
Ведь малая часть - пусть от бедствий, от мук ли
Своих и, конечно же, ближних, тем паче,
Очнулась сама, и в сердцах, точно угли,
Отныне их жгут. Так всегда - не иначе.

¹ Урим и Тумим - упоминаемые в Библии предметы, при помощи которых первосвященник от имени народа или царя вопрошал Бога.

Не стоит к виску вороненое дуло... -
Ведь все отвечают не массой, а лично..."
Рывком что-то вроде того промелькнуло,
И я просыпаюсь на койке больничной.

Лучше быть убитым, чем убивать самому,
Лучше - оклеветанным, чем писать наветы.
Впрочем, всё это, скажу, тоже ведь - как кому.
Кто я такой, чтобы всем раздавать советы?

Следуя им, не попадешь ты, конечно, в рай,
Поскольку нигде нет в мире такого места.
Мне совсем всё равно - Огонь меня покарай -
Что говорит об этом предмете Авеста.

Я - зороастриец, люблю сидеть у костра,
Глядя в пламя, которое этому радо,
Сознающий, скажу с улыбкой, что мне пора
Проверить лично гипотезу рая-ада.

Я и парс, и гебр, и немножко совсем - еврей.
Я и стихийный огнепоклонник, пожалуй,
Перемешавший не один десяток идей,
Взявший из сотен гипотез по доле малой.

Это варево из противоречивых грез
Так бессистемно, что в чем-то по-детски мило.
А Зло неизбежно приходит на землю слез...
Но стараюсь, чтоб не чрез меня приходило.

Бегемот

*Вот бегемот, которого Я создал...
Иов. 40, 10*

Вот бегемот, которого Он создал,
как нас с тобой; он ест траву, как вол.
Какая сила в чреслах, крепость в мышцах!..
Спокоен он. Как ты - не балабол.
Как трубы медные, его литые ноги,
и хвост, как кедр, и весь он - исполин.
Вот он лежит под ивой, смотрит кротко -
Сравни его с собой. Один ли здесь аршин?

Одну ли меру применил Создатель,
когда тебя и бегемота сотворил?
В кого вложил Он большее старанье
и на кого потратил больше сил?

Гора ему приносит пищу, тень - деревья.
Под кровом тростника, в тиши болот
Он создан в назидание тебе - о, раб ничтожный,
ничтожнейших страстей водоворот.

Он пьет, не торопясь, речную воду.
Железо - кости, кожа - из парчи.
Не ты, а он - вершина мыслей Божьих.
Оставь его в покое... Помолчи!

Василистник¹ очень помогает от василисков,
Аспидистра² - от аспидов и подобной живности.
Я читал столько трактатов, манускриптов и списков,
Что нисколько не сомневаюсь в их эффективности.

От драконов лечит смола драконова дерева³ -
Если цапнет тебя, то помажешь укус смолою,
И рука отрастает... а эффект - ты измерь его:
Девять пальцев, и будто всегда и была такою.

Впрочем, полностью доверяя сказаньям и рунам,
Не встречал этих тварей, и не видел подобного.
Если честно, я полагаю, что в мире подлунном
Нет создания, более человека, - вредного.

А от него не придумано средства толкового -
Нет ни мазей, ни трав, ни смол, ни корней, ни отваров.
Только горько вздохну - ну, что же скажешь тут нового?
Нет спасенья, увы, от подобных людям кошмаров.

¹ Василистник - *Thalictrum*.

² Аспидистра – *Aspidistra*.

³ Драконово дерево - *Dracaena draco*.

Абажур

Уткнувшись носом в загородку тела,
Душа внимательно рассматривает мир
Молочная бутылка запотела
А рядом тряпочка, протертая до дыр.

Обои выцвели, но старый абажур
Оранжевым, патриархальным цветом
Окрасил комнату, и бахромы ажур –
Граница между тем и этим светом.

Кто так вырезал аккуратно
Эти светлые облака,
Промокнул чернильные пятна
Первых лужиц из-под окна?

Кто так всё завертел, занавесил,
Будто всё - само по себе,
Дождь пролил, облака подвесил,
И прикрыл тропинку к Себе.

До кости пронзило,
До мозга в костях -
Мы здесь лишь проездом,
Мы только в гостях.
И строго назначен
Маршрут поездов,
И выверен час
Разведенья мостов.

Ноябрь на висках

Ноябрь на висках... Российское руно –
сугробы на домах, а под землей метро.
Ну а у нас дожди проплыли в первый раз,
как тот большой букет, что нес я в первый класс.

Но я забыл права, просрочил платежи,
вот жизнь и протекла, все смыло миражи...
Пропитана земля посланием с высот
и мерно по лучу проходит пешеход.

Как беззащитен он и одинок,
росток трепещущий – мой мыслящий тростник,
по проводам уже пустили ток
и вохровец надежен, как тройник.

Подопытная тьма уже легла,
обуглились древесные угли,
спустилась ночь, и мертвенная мгла,
уже забила в щели и углы.

Магнитом проведи над головой
И помани! Так стружку теребит
и тянет вверх, сквозь грязь и перегой,
и пробивает непробудный щит.

Маска

Глазной хрусталик пролетевшей птицы
Защелкнул мир на два дверных замка,
Ее движенье в лужице дробится,
Как дребезжанье старого звонка.

Глазной хрусталик пролетевшей птицы
Дробит и делит отраженный мир,
Рвет на квадратики и белит лица,
Кто заказал безумный этот пир!

Отдай мое лицо, я смою грим,
А шрамы зарубцуются в конце ...
Под куполом танцует грустный мим,
И маска стынет на его лице.

Карнавальные маски

Карнавальные маски – кругами по жизни,
Как от книжек-раскрасок летящие брызги -
Как на жизнь и на смерть лотерейный билет,
Разноцветные кляксы на чистый паркет.

Карнавальные маски на пире судьбы...
Только вот неувязка -в толкучке борьбы,
Чтоб тебя не снесло карнавальной толпой,
Чтобы маска не слиплась с твоей бородой.

Карнавальные маски, как круги по воде.
Стая кружит по небу, а ты – по земле...
Голова ходит кругом, и надо понять –
Как нащупать лицо и себя отыграть.

Одиннадцатый день войны с Газой

*«Я трамвайная вишенка страшной поры»
О. Мандельштам*

Столярной стружкой щурится волна,
И грозно тычет в небо, сжавши пальцы.
К нам в окна грозно косит глаз война
И в дом стучат не гости, а скитальцы.

Прорвалась марля жизни – наша быль
Лишь боль и страх – ведь приговор до вышки.
Летят ракеты, разбивая в пыль
Бетон домов и новые покрышки.

Что с вишенкой моей?! Одна полынь,
И черной кровью набухают вены ...
Вглядись в разрыв, и взгляд туда докнижь.
И зачерпни на пригоршню из пены...

Вишневой стружкой щурится волна,
Короткий шаг – и ты у кромки моря,
И где-то вдалеке шумит война,
И нет у смерти прав на наше горе.

Невероятно

Невероятно – на краю обрыва
Пустила корни, раздробив скалу,
Наивная, в зеленых кудрях, ива,
Зашкалила, перечеркнув шкалу.

Откуда взялось зернышко? Как птица
Его сюда снесла из дальнего гнезда?
Из той расщелины, где зреют лица,
И зарождается сверх новая звезда.

На перекрестке неба и земли
Порхает ива, заземляя небо,
А небо окрыляет лик земли,
И плещется земля приливом хлеба.

Этот день

Этот день я выскреб до дна,
Как ребенок варенье из банки.
Встал рассвет – на разрыв полотна
Черной простыни ночи... Как ранка

На коленке багровым пятном.
Жгучим йодом промазано небо ...
Пронеслись журавли косяком
В ту заморскую даль, где я не был.

И не буду уже никогда
Лес роняет листву спозаранку,
И багровые листья летят...
И никак не затянется ранка.

Жил параллельно борозде, ни шагу поперечно,
Я думал жизнь как блик во тьме, а оказалось вечность.
Как утром мятный леденец забросить под язык,
А оказалось, каждый шаг трепещет, как родник.

И каждый вновь рожденный миг – бурлит и бьет ключом,
И производит легкий сдвиг в пространстве над плечом,
И бродит слово и гудит в продрогших проводах,
И вслед ему журчит родник в бездонных небесах.

Попытка психоанализа

(из новых стихотворений)

Рош ха-Шана

В поднебесном вертограде
наш еврей не о награде
думает, когда последних
слив, пустых и бесполезных,
собирает два ведра;
он торопится, пора
в синагогу отправляться —
в Книгу Жизни записаться.

Он молчит, наш тугодум,
и заходит в старый дом,
надевает свой пиджак,
свой немецкий лапсердак,
где прорезанные шлицы
(иностранные жилицы)
тихо шепчут в унисон:
«жизнисоножизнисон»,
где записочка от дочек
без заглавных букв и точек:
«Papa sorry we will never»
(это нервы это нервы);
где записка от жены:
«мы любовью сожжены»;
где счета от кредиторов
(не укрыться от которых).

Наш еврей свою кипу
надевает на бегу,
он своих целует дочек
мимо щечек, мимо щечек,
он жену свою целует:
«Honey, do you know I love you?»

Им пора, в который раз,
в Книге Жизни нет прикрас,
в ней всегда — наверняка,
Шана това уметука!

Попытка психоанализа в апрельский снегопад

Когда унижен и заснежен
лежит апрель на мостовых,
резной клинок достав из ножен
воспоминальных, из Москвы
холодной, но не позабытой,
весенне-зимней, чуть живой,
наш иммигрант, с утра небритый,
получит мейл: «Привет, родной.

Я твой двойник обоеполый,
я тот, кто счастья не искал,
я мост над Яузою полой,
я деревянный истукан,
я тот, который не уехал,
кто не побрезговал страной, —
советской юности утеха
любвеобильной и больной.

Припомнил, милый, иль петитом
прикажешь вымостить слова?
Предатель мой! Чтоб быть поэтом
Нужны особые права.

Зачем ты лезешь к нам стихами?
Оставь наш русский интернет.
Американскими стогами
твой луг уставлен, мокрыми следами
устелен Бостон город твой,
и по-английски ты с женой
ликуешь и грустишь словами
которым здесь признанья нет».

Помедлив, иммигрант еврейский
айпад захлопнет. За окном

пейзаж почти гиперборейский
ему покажется родным.
Он свистом подзовет собаку,
на землю он сойдет с крыльца, —
там снег лежит, там ждут субботу,
что обручального кольца.

В детской больнице «Сафра» в Рамат-Гане

Скорая сволочь, скорее гони
туда, где горят голубые огни,
шестиконечной звездой в небесах
пылают болезни во всех корпусах,
туда, где старик-йеменит семенит
по коридору в приемный покой,
где всякий еврейский отец знаменит,
и мать взирает с безумной тоской
на сына с раздробленную рукой.

Здесь земской больницы висит аромат,
охранница держит в руке автомат.
Пустите спасите, невинная кровь,
висок рассечен, раскорёжена бровь,
«Для дочки скорее зовите врача!
Сделайте что-нибудь! Черт вас возьми!
Не стойте как старая каланча.
Вас что, не учили работать с детьми?
Нет сил от медлительной этой возни».

«Умерьте свой пыл. Долго ждать до утра», —
дежурная мне отвечает сестра,
похожая на лейтенанта спецназа
с глазами усталого водолаза.
«Здесь вам не Америка. Поняли это?
У нас, по законам военной страны
детей украшают ожоги и шрамы».
Я понял. И вспомнил тяжелые рифмы
из первых стихов фронтового поэта.

От Сахалина до Смоленска

весёлый азраил
печальный конь в пальто
я б русский позабыл
за это и за то
на каменной гряде
в придуманной стране
никто уже нигде
не вспомнит обо мне
из глины из беды
торчат как провода
сосуды для воды
а я хочу туда
куда летит снаряд
в меня лишь одного
куда глаза глядят
не видя ничего

позором новостей и мороком страстей
пропитанный насквозь бежал я не в элладу
немножко посмешить детей моих детей
и тело окунуть в солёную прохладу
бессрочных отпусков закончится сезон
когда я испарюсь не пойманный радаром
поскольку был убит не язвою в сизо
а солнечным ударом

дивлюсь я на небо на купол железный
пикейный жилет чёрный ворон облезлый
солёный источник слепой бастион
одесса самара ришон-ле-цион
любимая спит и боится проснуться
ещё подышу чтобы к ней не вернуться
полцарства в золе за хромого коня
любимая вряд ли узнает меня

как я сюда попал
на экране монитора
взрывались и рушились дома
разлетались на части
тела людей и животных
а у меня в голове
как вода в затоне
стояла мёртвая тишина
а потом завывала сирена
или это мой пёс
оставшийся дома один
или это я сам
и снова наступила мертвая тишина
как я сюда попал
вокруг меня эвкалипты и пальмы
лимонные и бутылочные деревья
на пальцах голых без коры стволов
вросших ногтями корней в жёлтую глину
детские игрушки школьные тетрадки
нижнее женское бельё
старые чёрно-белые фотографии
шприцы и таблетки
вокруг меня папоротники акации
кокосы каштаны платаны
гоголи бабели платоновы
горенштейны
а этот маленький похож на айги
наверное я уже умер
и все говорят на иврите

на высохшей глине с гробницами вровень
ничтожная личность которая против
война это время беспомощной крови
бессмысленной плоти
мой русский язык соглядатай бездомный
сгодится на то чтоб у края нирваны
в удушливом мраке жилплощади съёмной
расчёсывать раны
я больше не верю в бессмертную душу

я больше не знаю безумных влечений
я смысла не вижу я смысла не слышу
не помню значений

и вот когда не жалко никого
и паутина острая как леска
не существо ползёт а вещество
течёт от сахалина до смоленска
смола и гной молозиво и яд
полоний ртуть химические газы
я сумраком как будущим объят
любой предлог опаснее проказы
иных уж нет и не было иных
на яблоке последнего налива
шумит листва как хор глухонемых
и жертва улыбается глумливо
чернеет плоть вся в плесени стена
где соль земли там высохшее море
россиянасекомая страна
спасибо что не умер в коридоре
спасибо за бумагу и печать
за пятна нефтяные под глазами
и будущее если замолчать
уже никто не выразит словами

как хотелось во сне умереть
вместе с вечной подругой непрочной
сколько лет тебе старче ответь
ну не двадцать уж точно
этот март этот мрак эта дрожь
этот город слепой и свирепый
слипся рис на ягненка похож
на свидетельство жертвы нелепой

от взрывной всё крадущей волны
от квартиры где обыска ждали
от вины от войны от страны
от любви от звериной печали
унесло вслед за пятой волной
эмиграции день выходной
превратился в посмертное фото
ты узнаешь на снимке кого-то
где от язвы спасусь прободной
где иврит недоступней латыни
вспоминаю про день выходной
а входного не будет отныне

Как там небо?

Алексей Петрович ну как там небо
Как амброзия лучше чем Джонни Уокер
Повидали там ли Бориса и Глеба
Что Булата не встретили я просто в шоке
Нам без вас ху*во поймите это
Перестала светиться отсчёта точка
Наплевав на нас подкатило лето
И всё твёрже моя стала оболочка
Лёша знаешь такое вокруг творится
Впрочем и при тебе было вряд ли лучше
Что залиты кровью очки и лица
Рагнарёка страшней светит слово "Буча"
Да ты в курсе но сил нет у строчек с рифмой
Рассказать про это - не хватит взгляда
Алексей Петрович возьмём за гриф мы
Чтобы спеть заплакать завывать как надо
Как приличные люди в бессилье воют
Понимая что жизнь напрочь просвистели
Мы у той стены простились с тобою
Только нынче дошло что осиротели

Всю ночь шёл дождь, и чувство, что в аду,
Чуть стёрлось, притупилось, отлетело
И чайником на кухне просвистело:
«Прощай, моншер! Но я ещё приду».

И жжение в районе, где душа,
Сошло на нет, оставив только спазмы.
Мой мир, который был всегда прекрасным,
Мне показал лихие антраша...

А жизнь, хотя казалась неплохой,
Вдруг очутилась в долгосрочной коме,
Незрячей, как луна на переломе,
Как улица Зеленина – глухой.

Архангел где со ржавою трубой?
Ведь я всё жду. Уходит спирт из виски.

Когда вернут мне крылья из химчистки,
Надеюсь - воспарю я над судьбой.

Я вырвусь из оков библиотек,
И станет так, как вовсе не бывает —
«Старик, ты гений!» - и со мной шагает
Один Простой Хороший Человек.

Звёзд рассыпался горох,
Чтобы стала жизнь богаче.
Мирно рос чертополох
На задворках старой дачи.

Пылью ночь занесена,
Что пошлей, чем звук гитары,
И внизу блестит Луна
На осколках стеклотары.

Нет ни звука, ни окна
С лампой цвета изумруда,
Тишина царит одна
Словно божия причуда.

Разбежались кто куда
От кромешного бессилья.
Это было в день, когда
У меня забрали крылья.

Я не тот, и ты не та,
Посмотри же, сделай милость —
Тут когда-то пустота
Тишиною притворилась,

И приходится терпеть
Эту подлую подмену.
Опустилась в шахту клеть
Словно шприц в тугую вену.

Я забыл свои года.
Чтобы мне была ты рада,
И об этом тоже надо
Мне подумать иногда.

Земля порезана окопами,
И всё сочится и болит.
Идёт искусственными стопами
По чернозёму инвалид.

«Вот здесь стояла “сорок пятая”,
Скакали гильзы по траве,
И пёрла, злая и проклятая,
Толпа, желавшая лавэ,

Толпа, хотевшая всех девушек,
Толпа, стрелявшая в детей...
Они давно лежат в земле уже,
Во смраде сломанных костей.

Да, внучек, было тут распятие
Христа, пришедшего не в масть.
Легло на весь народ проклятие
И отменить – не наша власть.

Прошло лет двадцать, годы двинулись,
Я помню всё, храню завет.
А те, которые накиннулись?
Ни их, и ни страны уж нет».

Игорю Бяльскому

Поверь мне, судно у Харона
Не источает гордый блеск,
И Стикса непрерывный плеск
Звучит смурно и однотонно.
Да, наступило время оно —
Тебе уплыть, а нам сидеть,
Басовых струн терзая медь,
Под стенами Иродиона.

В густой ночи шакалы воют,
Словно разбивший штоф алкаш...
Когда изгрызен карандаш
Строфа идёт сама собою.

Давайте память ниспошлёмте
Сразить забвенью на мечях!
Висят светила на лучах
Луны желтеющего ломтя.

Ты знаешь, помнить - это труд,
Доступный только тем, кто хочет.
Что нам планида напорочит?
Кого ещё года сотрут?

Мы как-то встретимся с тобой,
Нескоро, но неотвратимо.
Плывёт звезда неугасимо,
И нас потянет за звездой.

Ну, а пока сведём бокалы,
Расколем звоном злую тишь.
Забыть тебя? Да нет, шалишь,
Всё помним – горы, лес, вокзалы.

Пусть дух спокойствия и важен,
Но я стремлений не смирю.
«Спокойной стражи!» - говорю,
Желая всем спокойной стражи.

Сколочу себе лодку из дерева гофер,
Прикреплю лёгким тросом к стальному крыльцу
И увижу, как, пряча в дожде плоский профиль,
Отменённый троллейбус спешит по кольцу,

Как ломается свет фонарей на высотке,
Бестолково растущей у Красных Ворот,
Я потом разгляжу всё из мчащейся лодки,
А пока посижу, слыша водоворот.

Как давно листопад охрой красил дорожки,
И не лезла стеной на мой город вода...
Только бился вдали плач ночной «неотложки»,
Значит, где-то внезапно случилась беда.

Так вокруг безысходное что-то кружится,
Очень трудно понять, невозможно забыть,
Когда кончился сон, а кошмар всё же длится
И тебя ещё кто-то стремится убить.

Небо цвета «разбавленный пламенем кофе»
Вдруг упало на нас ни с того ни с сего,
Но плывёт моя лодка из дерева гофер.

Утро. Война

В окопе буйствовал родник,
Хотя вчера отвод копали.
Шинели полы намокали
И, тяжелея, отвисали,
И шею тёр мне воротник.

Скользя по глине, я прошёл
К ступенькам выглянуть наружу.
Там – тишина. И, прыгнув в лужу,
Я понял – скоро занедужу,
Он слабый, этот сильный пол.

Но умирает тишина,
И вновь ракетный в небе скрежет,
Он небеса от нас отрежет
И снова сцена – мы и те же,
Ну что ж, терпи войну, весна!

И лето, терпеливей будь,
Ещё на город лезут крысы,
И в бункере убийца лысый
Ракеты направляет в выси,
Чтобы мою пронзили грудь.

Опять смешались кровь и гной,
Земля, кишки, зола пшеницы,
И сбитая осколком птица –
Всё это в памяти хранится,
Пребудет навсегда со мной.

Поля железками засеи,
Смотри - горит, как сердце Данко,
Котёнок в гусенице танка.
...А как сейчас живёт Песчанка?
Там мамы Родина моей.

Луны бледнеет мрачный лик,
Вползу на бруствер спозаранку,
Чтобы прорваться к полустанку
За Балту, Гайсин и Песчанку,
И за родник.

Чёрное небо и чёрный закат,
Склон у горы и колюч и покат.

Чёрное море и чёрный песок,
Чёрный в ущелье несётся поток.

Светится город в чернеющей мгле,
Город последний на этой земле.

Пепел посевов и уголь дубрав,
Скрип пересохших дымящихся трав.

Где ты, мой мир? Нет вина, есть вина.
Неимоверна за это цена.

Не повторить, не вернуть, не слепить,
Раз уж не стало, то больше не быть.

Кто пренебрёг нашей жизнью святой?
Сами, всё сами и больше никто.

Светлые тени у чёрной стены,
И у прощанья все фразы черны.

Ангел устало кружит над крыльцом –
Девочка Кира с мёртвым лицом.

Кто еще не взял билет?

Сам я с города Ньюёрка
Если вдруг не знает кто,
Есть у нас там в центре горка
Высотой метров сто.

А у горки той вершина
Метра два на полтора,
И с неё упал мужчина
Аккурат позавчера.

А спросите вы мужчину,
Интересно нахера
Он залез на ту вершину -
Не ответит нихера.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ СОЗДАНО МНОЙ
В более или менее здоровой памяти
и относительно трезвом уме.
Сообщаю, что опять поругался с женой,
Что двор наш по-прежнему весь в собачьем дерьме,

Что денег как обычно нет ни хрена,
А долгов при этом наоборот,
Что не сегодня завтра начнется война,
Поскольку враг по обыкновению стоит у ворот,

А мне как раз послезавтра идти к зубному врачу,
Если, конечно, малость помедлит враг,
Что страной управляет, но здесь промолчу,
А что говорить, когда ясно и так.

Тут на днях коронавирус,
По-научному COVID,
В огороде нашем вырос –
Духовит и плодовит.

С виду типа сельдерея,
А на вкус – так просто во!
По всему видать, евреи
Нам подбросили его.
Знать, они им в Израиле,
Не иначе, с пьяных глаз,
Всех арабов накормили
И теперь решили нас.

Серб и молот *(Басня)*

Однажды некий серб, испытывая голод,
И находясь в тисках нужды,
Решил продать единственный свой молот
С тем, чтоб купить себе еды.
Ни у кого её и крошки
Не осталось в доме
Одной лишь кошки
Разве кроме.
А молот сербу нашему от прадеда достался,
Который тоже сербом был, да так им и остался,
Хоть мог бы стать по матери хорватом,
Пусть даже хероватым,
Если честно,
Но честность в наше время неуместна.
Забыл сказать: ещё наш серб,
Чтоб не вставать два раза,
Решил уж заодно продать и серп,
Доставшийся ему от прадеда абхаза.
Абхазы эти, если кто ещё не в теме,
Живут в Чегеме.
Читатель, без меня тебе мозги давно засрали,
Пора уже переходить к морали.
Она проста: как ни брала тебя за горло бы нужда,
Не продавай свои орудия труда.
Без них не вспашешь, не посеешь,
А кошку ты свою сожрать всегда успеешь.

Как начинается пожар в публичном доме?
Скажу, как очевидец, с пустяка –
Клиент, в блаженной будучи истоме,
Попросит у вакханки огонька.

Вместо того, чтоб просто дать мешалкой
Курильщику по жопе, та в ответ,
Беды не чуя, щелкнет зажигалкой –
И всё, п*здец, зачёркнуто, привет

Всему – от безответственной вакханки
До сластолюбца с нею заодно.
Кто побывал хоть раз в подбитом танке,
Поймёт, насколько было бы смешно,

Когда б любви продажной пролетарий
И этот кекс, одетый не вполне,
И весь, пропитанный развратом, лупанарий
Сгорели в очистительном огне,

Что лишь всевышней волею Зевеса,
Да с помощью пожарного ведра
Был ликвидирован бригадой МЧСа,
Который, кстати, разогнать давно пора.

Человек на 80% состоит из воды,
На 30 – из детских воспоминаний,
На 70 – из отрывочных знаний
И на остальные 40 – из какой-то
совсем уж бессмысленной ерунды.

Пользы от него, если разобраться, никакой,
Как, впрочем, и вреда особенно нет никакого,
Так стоит ли удивляться, что Бог
в какой-то момент махнул на него рукой
И взял обратно данное когда-то Слово.

Мне нравится всё кривое,
Потому что кривое – живое.
А прямое я не люблю,
Прямое похоже на гроб,
И его я тайком кривлю,
Оживить хоть немного чтоб.

Когда-то в юности знаком
Я был со старым мудаком.

Возможно, это было в мае,
Хотя скорей наоборот,
...Мы познакомились в трамвае,
Он шёл от Яузских ворот
Пешком – мудака, а не трамвай,
Короче, шёл он за трамваем,
Никем вокруг не узнаваем,
И нёс под мышкой каравай,
Зачем – поди теперь узнай.

А в том трамвае ехал я –
Красивый, двадцатидвухлетний.
И шлем на мне мотоциклетный
Блистал, как рыба чешуя.

И вот в трамвай вошел мудака
На близлежащей остановке
И без малейшей подготовки
Херак кондуктору в пятак.

Был неожидан этот жест,
И так же он смотрелся клёво,
Как некогда ХХ-й съезд
И сам доклад на нем Хрущева,
Тот исторический доклад,
Сломавший разом весь уклад.

...А что кондуктор наш? А он –
И тут его я понимаю –
Как заорёт на весь вагон
Тридцатьдевятого трамвая,
Достав трофейный пистолет,
И им размахивая грозно:
Кто, блять, ещё не взял билет,
Пускай берёт, пока не поздно!

А что же наш мудака? А он,
Наскреб копеек по карманам,
Купил билет и вышел вон,
Что многим показалось странным
На первый взгляд, но лично я
Чужим поступкам не судья.

...Полвека с той поры прошло,
Три поколения сменилось,
Но ничего не изменилось,
Бля-ядь, как же это тяжело!

Люди не любят рыжих
По целому ряду причин –
За то, что не ходят на лыжах,
Не жгут по ночам лучин,

Женятся на иностранках,
В долг никому не дают,
Деньги не держат в банках,
Воду вообще не пьют,

Не любят песен советских,
Все бы им Цой да Цой,
Детишек едят соседских
И запивают мацой.

Ввести мечтают цензуру
И запретить такси,
Грудью закрыть амбразуру
Рыжего не проси,

Рыжих любить негоже,
Что-то в них есть не то.
Лысых не любят тоже,
Но тех хоть бы есть за что.

Приходит как-то Молотов к Риббентропу
И говорит: Иоахим,
Ты только не притворяйся глухим,
Но давай с тобой поделим Европу,
Причем так, чтоб известно это было только нам двоим,
И больше никому – ни моему усатому,
Ни твоему бесноватому.
А чтобы эту неплохую идею узаконить как-то
Оформим её в виде специального пакта.
А Риббентроп отвечает: прости, конечно, Вячеслав,
Но думаю, ты неправ.
Во-первых, так не поступают,

А во-вторых, они рано или поздно
всё равно об этом узнают.
И как мы потом этим людям
В глаза с тобой смотреть будем?
Ладно, говорит Молотов, нет так нет,
Будем считать, что это секрет,
Я тебе ничего не говорил, а ты ничего не слышал,
Но если тебя повесят через шесть лет,
От нынешних отсчитывая пор,
Вспомни этот наш с тобой разговор.
Оглянулся по сторонам, на цыпочках вышел.

НОН-ФИКШН

Михаил Вирозуб

Шестьдесят пять поколений

*Главы семейной хроники
(журнальный вариант)*

Тора была такая древняя, что даже воображение не смело забираться в те времена, когда её напечатали и переплели. Но советская еврейская семья, в которой книга жила с незапамятных времён, забыла законы предков. Книга устало и привычно коротала свой книжный век на полке, задвинутая во второй ряд. Читать её давно было некому, её вообще не открывали, пряча всё дальше.

Однажды, вытирая на полке пыль, не особо уклюжий подросток Тору уронил. Подросток – это я. Ветхая книга глухо стукнулась об пол, и тяжелый переплёт почти оторвался. Отец, к книгам относившийся трепетно, посмотрел с укоризной, но ободрил, подумав, - но не сказав: «шлемазл»; а потом сообщил, что есть у него знакомый переплётчик, который всё поправит. Только пойдём мы к нему вместе. В нашей семье профессию переплётчика уважали, им был отцовский дед. Да и настоящему книжнику без такого знакомого мастера никак нельзя.

Переплётчиком оказался сухопарый высокий старик в круглых очках. В стены его мастерской навечно, казалось, въелись запахи клея и ледерина. Хотя это тогда казалось – навечно. Нет больше той мастерской. На её месте – бодрая французская кондитерская. И прежний запах пропал.

Старик взвесил Тору на руке, пробурчал пару непонятных мне слов типа «корешок с бинтами», положил книгу на рабочий стол и ловко отделил обложку, будто вскрытие делал. Потом провёл длинным жилистым пальцем с внутренней стороны кожного переплёта и сказал: «Что-то подложено, сейчас посмотрю». Поддел приклеенную изнутри к кожаной обложке побуревшую бумагу, и оттуда выпало несколько листочков с еврейскими буквами и цифрами. Отец, чуть-чуть разбиравший язык предков,

взглянул на текст и удивлённо произнёс: «Кажется, тут имена! Одни только имена».

Это была наша родословная. Список имён традиционно клали за корешок Торы, переходившей из поколения в поколение, но о списке в семье давно забыли, как и сам язык. Я восстановлю нашу родословную.

В силу традиции все поименованные в том списке - мужчины, но путь рода, на самом деле, был слишком длинным: в семье рождались девочки, и тогда род ветвился, менял своё направление, длся дальше и дальше, в разные города и страны, иногда теряясь и заканчиваясь.

Одно только не подлежит сомнению: больше двух тысяч лет назад моя родня жила в Земле Обетованной, оставаясь там некоторое время и после разрушения Храма. После всех войн они ушли оттуда, и вот я, их потомок, пишу эти строки в России. Через многие страны прошёл путь. Между мной и тем, жившим в Иудее прадедом, не менее шестидесяти пяти поколений. Это несложно произнести, но непросто осмыслить. Точно знаю, что какой-то мой предок пережил Великую Чуму VI века, другой – «чёрную смерть» Средневековья, кто-то читал молитвы во времена наполеоновских походов. Конечно, от одного остались известными какие-то дела, от другого – одно лишь имя и профессия, от кого-то – тень имени, почти прочерк, но человек-то был, работал, родил ребёнка. А мужчины в нашем роду заводили детей, в среднем, в тридцатилетнем возрасте.

Вот наш род.

1. 30 год по Р.Х. – Иудея. Земледелец из Галилеи. Я не знаю его имени, а раз так - пусть оно будет Авраам. Он не был в Иерусалиме во время разрушения Храма, но пережил Иудейскую войну. Выжил. С него и начну описание пути нашего рода.

2. 60 – Галилея. Земледелец Йосеф.

3. 90 – Галилея. Сапожник Йехуда. Переехал в Тверию.

4. 120 – Тверия. Гончар Йоханнан. Остался жив после восстания Бар-Кохбы.

5. 150 – Невория. Пастух Ханания.

6. 180 – Галилея. Портной Шимон.

7. 210 – Галилея. Учитель Натан.

8. 240 – Галилея. Служка в храме Элиазар.

9. 270 – Галилея. Сторож синагоги Беньямин.

10. 300 – Галилея. Мелкий торговец Ахад. Вместе со многими семьями двинулся в Вавилон, где не было таких притеснений, как в Иудее от римлян.
11. 330 – Вавилон. Торговец Евзель.
12. 360 – Вавилон. Ювелир Моше.
13. 390 - Вавилон. Мясник Гершом.
14. 420 – Вавилон. Кузнец Шломо.
15. 450 – Вавилон. Красильщик Зеэв.
16. 480 – купец Исраэль.
17. 510 - портной Меир; умер во время эпидемии чумы.
18. 540 – кантор Пинхас; вместе с сыном пережил Юстинианову чуму.
19. 570 – мельник Ноах.
20. 600 – Хаим; ничего о нём и о нескольких последующих поколениях не известно, кроме имени.
21. 630 – Шауль.
22. 660 – Йорам.
23. 690 – Рафаэль.
24. 720 – Менаше.
25. 750 – Элазар?
26. 780 – Шимон?
27. 810 – Реувен?
28. 840 – Михаэль.
29. 870 – Ури.
30. 900 - Эфраим.
31. 930 – Нахшон, учитель в хедере.
32. 960 - раввин Лейб.
33. 990 – Иона, учитель в йешиве.
34. 1020 – Аарон, переплётчик Торы.
35. 1050 – Дов, жил на юге Италии. Как он там оказался, кем был? А может, и не он первым перебрался туда.
36. 1080 – Биньямин. – Сицилия, Палермо.
37. 1110 – Барух; перебрался в Испанию, видимо, был купцом.
38. 1140 - купец Гедалия. – Испания, Жирона.
39. 1170 - аптекарь Залман. – Испания, Жирона.
40. 1200 - врач Йоэль. – Испания, Жирона.
41. 1230 - врач Мордехай. – Испания, Жирона.
42. 1260 – Абрахам, поэт, знакомец миннезингера Зюскинда из Тримберга, потом жил с семьёй во Франции.
43. 1290 - адвокат Элизер. После изгнания евреев из Франции, в 1306 году, вернулся к родственникам в Испанию.
44. 1320 - кантор Нехемья; пережил эпидемию чумы. – Испания, Жирона.

45. 1350 - музыкант Шабтай, родился в разгар эпидемии чумы. – Испания, Жирона.
46. 1380 - Арендатор Эммануэль, винокур. – Испания, Жирона.
47. 1410 - раввин Шмуэль. – Испания, Жирона.
48. 1440 - учитель Йонатан. – Испания, Жирона. Бежал со всей семьёй в Голландию после 1492 г., спасаясь от инквизиции, не желая принимать христианство.
49. 1470 - часовщик Шолом. – Голландия, Амстердам.
50. 1500 - ювелир Мендель. – Голландия; открыл лавку в Германии и переехал туда.
51. 1530 - антиквар Нахум. - Германия, община на Рейне.
52. 1560 – толмач Моше. - Германия, община на Рейне; переехал в Польшу.
53. 1590 – Иосия, купец. – Польша.
54. 1620 – Евзель, мельник. – Польша, Золочев. Избежал резни времён восстания Богдана Хмельницкого.
55. 1650 – Натан, учитель в йешиве. – Польша.
56. 1680 – Иона, часовщик. – Польша.
57. 1710 – Иехуда, учитель в хедере. – Польша. После завоевания Польши двинулся на Украину, в город Умань.
58. 1740 – Ицхак, сын Иехуды, плотник. – Умань. Бежал после Уманской резни 1768 года на юг Украины. Первый в роду, кому дали фамилию. А случилось это так. Летом 1770 года запорожские казаки, возглавляемые Даниилом Третьяком, отбили у турок евреев, живших на Юге Украины, и поселили их в селе - то ли Старые, то ли Новые Кодачи. Был среди тех евреев и мой предок. А среди казаков - некий Гарасим по прозвищу Вирозуб из Деревянковского куреня. Вирозуб – это такая рыба в Дону. По прозвищу запорожского казака и присвоили фамилию вывезенной им еврейской семье.
59. 1770 – Менахем, сын Ицко, Вирозуб жил в селе Старые Кодачи, а может, в Новых Кодачах.
60. 1800 - Шмуэль Вирозуб. Из Кодачов перебрался в местечко Базар близ Киева. Отечественная война 1812 года не тронула их.
61. 1830 – Иосиф. – Местечко Базар. Мельник.
62. 1855 – прапрадед Менахем-Лейба. – Местечко Базар. У него большое хозяйство было. Нашлась заметка в губернской газете, сообщавшая, что у старика (ирония судьбы) на базаре лошадь украли. Как он пережил погромы рубежа веков? Пережил.

63. 1885 – прадед Давид. Родился в местечке Базар, перебрался в Киев. Сапожник, солдат Первой мировой, инвалид. Убит в Бабьем Яру вместе со всей оставшейся в Киеве роднёй.

64. 1910 – дед Абрам, родился в Киеве. В 1941-м ему удалось выбраться и вывезти жену с ребёнком; после эвакуации – строитель. Сильный человек, любивший жизнь. Умер в Москве.

65. 1932 – мой отец Рафаил. Родился в Киеве, жил в Москве; библиотекарь, великий знаток книги.

66. 1962 год – я, Михаил (в традиции – Михаэль), литератор, переводчик, родился в Москве.

У меня есть дочь, у неё детей нет. Однажды мне захотелось иметь сына, но Бог решил, что я недостойн его. Я – последний, больше страниц к нашей семейной хронике дописывать некому.

И остался лишь я, чтоб возвестить тебе...

Кн. Иова

Начало

Дверь хлопает. Каждый вечер — поздно — я слышал шаги по лестнице, щелчок замка. Год за годом повторялись эти звуки, а с ними приходило ожидание — сладостное, нетерпеливое. Со временем шаги тяжелели, ключ не так легко отпирал замок — старели люди, старели двери и ключи.

А Он раздевался, не спеша вешал пальто, доставал из портфеля хлеб (хотелось, чтоб это были калачи!), шёл ужинать на кухню.

Вот мы сидим за чаем, разговор необязателен, но изредка — к слову — Он вспомнит о чём-то, случившемся с ним или с дедом и бабушкой, с какими-то друзьями, то ли умершими, то ли переставшими быть близкими. Эти слова будут жить во мне. Я ещё вспомню о прадедах с прабабками, об их друзьях и о людях, переставшими быть их друзьями. Тем и живёт семья, ведь жизнь семьи — это вечерний чай изо дня в день, из века в век.

- Всегда остается кто-то один, последний, кто может подписать все имена под фотографиями, – сказал отец. - И однажды этим последним становишься ты.

Каждая семья выживает по-своему. Кто за что держится: одни за белые крахмальные чехлы на стульях и альбом с фотографиями, другие за Бога Отцов. Счастье, если что-то

спасает, счастье, если удаётся что-то спасти: хоть своё имя, хоть букву имени. Наша судьба — в поездах, тянущихся в эвакуацию с нами, малыми детьми, помирающими от голода; склонившиеся над больным люди — это тоже мы, и молчаливые старики рядом, и неизвестные на переломившихся фотокарточках... — сколько кому здесь лет? А то и маленькой карточки не сохранилось (чего удивляться: где История, и где лица!), только дымок рассказа о человеке — и вся судьба!

Кого-то мучил вопрос “Где я, Господи? Кто я?” А другим смысл пути был ясен. Не из страха и вины они лили пот, дрались и рожали детей. Все — плоть от плоти друг друга. Взглянуть — на бесконечном пути эти обыкновенные лица сливаются в какой-то единый лик; может, он и есть божество, растворённое в каждом, будничное и неузнаваемое.

Давно это было

Я так и слышу, как прапрадед (пусть его зовут Авраам) кричит на жаргоне своему сыну: “Шимек, пора в синагогу!” Вижу двор в еврейском местечке со смешным названием Базар (это под Киевом — я так и не съездил туда), дом, забор, поленицу, ворота. По двору ходит женщина (это моя прапрабабка, мать Шимека); то входит в дом, то выходит из дома, ворчит:

- Шимек! Шимек! Нет, вы видали — пропал! Пасха на носу, а он пропал! Вы знаете, что такое пасха? Это когда все ходят на головах! Надо бежать за мацой, надо всё постирать и всех одеть. А хамец? Вы представляете, что такое хамец? Это хлеб, горох, фасоль, тесто, дрожжи — и всего этого не должно быть в нормальном доме! Я, конечно, очень уважаю Моисея и представляю себе, что пустыня — это ещё тот курорт, но мне было бы проще, если бы весь этот хамец они-таки захватили с собой. Да-да, ребе осудит меня за эти слова, а муж скажет, что я дура и уйдёт в синагогу, только я никогда не поверю, что евреи в пустыне тёрли мацу на тёрке и делали из неё торт. Шимек, ну и где ты, наконец? (уходит в дом окончательно).

Во двор выходит Авраам и кричит ушедшей в дом жене:

- Что ты надрываешься, будто у тебя первой такие проблемы! Мальчик влюбился и уже долго тебя не услышит. Тебе тяжело, ему тоже не сладко приходится. Ты погладила мой выходной сюртук? (почти без паузы) Смотрите, люди, смотрите все! Через пять минут надо быть в синагоге, а эта женщина неизвестно о чём себе думает! Я тебя очень люблю

и ещё больше уважаю, но чего ты ещё ждешь? Моисей уже вывел нас из Египта. Мы все уже радуемся и веселимся. Особенно я. А где Шимек? Шимека ты хоть видела? Он тоже ещё чего-то ждет? Как он себе думает, кто больше обидится: Моисей, если он оставит в доме пару лишних корок, или ребе, если он опоздает в синагогу?

Над забором вырастает голова проходящего мимо соседа.

- Моё почтение, уважаемый Шмуэль! Неплохая сегодня погода!

- Наше вам, уважаемый Авраам! Только, скажу вам по секрету, ничего хорошего в этой погоде нет. В такой день наших детей не загонишь в синагогу. А если они там и окажутся, не о спасении из Египта они будут размышлять!

- Отвечу вам так, уважаемый Шмуэль: вы правы. Я не могу найти Шимека уже битый час!

Жена кричит из окна:

- Авраам, иди, получай свой сюртук!

- Ну, до свидания, уважаемый, увидимся в синагоге.

Жена выходит на крыльцо, держа заметно (даже издали) потёртый сюртук. Авраам внимательно рассматривает его.

- Это что, мой парадный сюртук?

- У тебя есть сомнения, что это брюки?

- Когда я надевал его в последний раз, он выглядел не в пример новее! Может, лучше было его не гладить? И посмотри на подкладку, в ней же такие дыры! У нас что, в доме завелась такая моль?

- Это была ещё моль твоего дедушки! Нечего рассматривать сюртук так, будто ты его больше никогда не увидишь. Собирайся, иди, наконец, в синагогу! Шимек! Шимек!..

...И они уходят: нестарый прапрадед с сыном-подростком, которых никогда не видели ни я, ни отец мой, ни дед.

Кем были мои далекие предки? Хотя бы те, кого ещё смутно помнил дед, те, кого вовсе не знал, потому что ему не пришло в голову спросить своих отца и деда, как тем не пришло в голову спросить своих. Понимаю, что часто они были бедны и благодарили Бога за каждый пережитый день. Именно их видел Шолом-Алейхем.

А дети выросли и уезжали учиться, казалось, навсегда расставаясь с синагогой и Богом в ней, забывая идиш и розгу меламеда. Время такое революционное наступило. Уезжал старший сын, за ним тянулся младший, а следом и сестра. Туда, в столицу, в университет, если повезёт. Родители уже

не протестовали, только всплескивали руками, причитали и собирали в дорогу. Они ждали писем от детей, живших в новом непонятном мире, пытаясь вовремя дать необходимый совет и обязательное напутствие.

Дети учились. Местечко с Богом Отцов осталось далеко-далеко. Всё было хорошо.

Прадеды. Прапрадеды

...Иосиф из Умани (уже дед не помнил точно, кем он был и чем зарабатывал на жизнь). Исер (меламед из Минска). Григорий из Гомеля (у него была мельница, а дочка училась в гимназии в те же годы, что и дочка другого прадеда). Может, девушки и знакомы были, даже дружили — не узнать уже. Моисей из Бердичева — купец второй гильдии с сыновьями и дочерьми. Один из этих сыновей, Семён, вспоминал, как в детстве мать варила в медном тазу варенье из райских яблочек, как выдавали замуж старшую сестру и истратили в тот год много тысяч. Как играл он в лаун-теннис с соседом Сашкой Корнблитом (тем самым, который стал Таировым), а чуть выше по улице жил приятель Васька Гроссман. Сам Семён любил поесть, выпить, погулять и повспоминать, как елось, пилось и гулялось в Бердичеве. Не доучившись, стал он бухгалтером.

Киевский прадед Борух: в усах, с саблей у ноги, фуражкой на колене — николаевский солдат-инвалид, которому за службу царю и отечеству по возвращении из австрийского плена дали медаль, дозволили проживать в Киеве и клеить бумажные пакеты, чтобы не помереть с голоду. Он продавал их крестьянам на базаре ещё в тридцатые. Бумагу для пакетов привозил ему друг, такой же солдат-ветеран. Его телега, запряженная меланхоличной лошадкой, неспешно взбиралась по крутому Боричеву Тіку и с грохотом прокатывалась по двору. Старики сгружали кипы старых газет, листовок и плакатов. Потом оказалось — в них были выступления Троцкого, и на не знавших русской грамоты евреев донесли покупавшие пакеты полуграмотные крестьяне с базара. Боруха пожалели, как инвалида, а друга его пошёл по этапу за троцкистскую пропаганду. Последнее письмо пришло от него из Куйбышевской пересыльной тюрьмы, а после уже ничего не было — видно, до лагеря старик не дошёл.

Наверно, в традициях наших прадедов было проклинать своих детей. Исер проклял сына своего Абрама и выгнал его

из дому. Абрам бедствовал, жил уроками, и однажды – подросток же! – урок давал не за деньги, а за пирожное с чаем. Через много лет после смерти отца Абрам ездил в Минск на его могилу и взял с неё горсть земли. И сейчас лежит она, завернутая в бумажку, в ящике письменного стола.

Прадед Давид, киевский сапожник, нрава был более крутого. Он поочередно проклинал каждого из многочисленных родных детей и даже приёмного сына. Но всё-таки на одного — Исаака — он возлагал определённые надежды, желая, чтобы именно Исаак продолжил семейное дело. “Сапожник! — орал старик. — Вот верная и уважаемая профессия! Это хлеб в руках, а, если повезёт, то и кое-что получше!” Прадеду не повезло: Исаак стал нейрохирургом, о нём своя история. Проклятых детей старик, разумеется, выгонял из дому, и они подолгу прятались от отцовского гнева друг у друга по углам. А в 1941-м, перед приходом немцев, этот маленький буйный еврей собрал у себя всю семью. Пришли дети, здоровенные мужики, вдвое выше его ростом, с жёнами и всеми детьми. Давид просил у всех прощения, плакал, и остался под немцами в Киеве, и лежит теперь в Бабьем Яру. Фотографии его нет, только вспыльчивый нрав, доставшийся ему Бог знает от каких предков, живёт во мне и уйдёт дальше в века.

Исаак

Жену Исаака звали Сара, оба они были врачами. Жили молодые вместе с матерью Сары, рано постаревшей. Сара была на сносях, когда началась война. Их мобилизовали за день до прихода немцев в Киев. Но в переплетении эшелонов, организаций и людей, катящихся на восток, власть забыла об этих своих новобранцах. Когда вал бегства схлынул, многие оказались брошены, позабыты, потеряны вместе с бельевыми тюками, посудой и оказавшимися обузой книгами. Остался в Киеве и Исаак с семьей. Первые дни никому не было дела до испуганной еврейской семьи. Но ждоть опасно.

- Пойдём пешком, - сказал Исаак. Собрались они и выскользнули из Киева.

- Попробуем добраться до Харькова, — предложила Сара. - Помнишь, там Наташа живёт, моя лучшая институтская подруга.

Пошли в Харьков. Лето жаркое, дорога дальняя, надо хорониться. Фронт ушёл далеко, вся Украина под немцами.

Но больше идти некуда. Крадутся день за днем по просёлкам трое: молодой мужчина, женщина, вот-вот готовая родить, и старуха мать, высохшая, как пыльные просёлки. День за днём, деревня за деревней, заходить страшно, не зайти нельзя: как же без еды и ночлега для беременной жены и старухи? Долго идут: поле – лес – новое поле. Неделя за неделей.

- Всё, — сказала мать. — Идите, дети; спасай ребёнка, Сара. А я дальше идти не могу.

Она умерла, дети её похоронили. От горя и тяжелого пути Сара не доносила положенные дни и родила. Исаак принял своего сына. Конечно, он радовался, но жена была насторожена и грустна. У неё не стало молока, кормить ребенка было совсем нечем. Он умер у них на руках. Сара и Исаак похоронили сына неподалеку от могилы матери.

- Пойдём, — сказал Исаак. — Теперь уже близко.

Спасительный Харьков, ночлег, еда, передышка. Ранним утром постучались беглецы в Наташкино окно. Лучшая подруга не изменилась: совсем такая же, как до войны. Только испуг на лице, да что удивляться — оккупация! На столе — молоко в глечике, хлеб в плетёнке. Наташа суетится, не знает, куда усадить гостей, что ещё предложить.

- А помнишь наше общежитие... - начинает Сара.

- Конечно, помню! - отзывается подруга. Исаак отмалчивается, хмурится, глядит в окно.

- Мне на работу бежать, - щебечет Наташа. - Вы прилягте, отдохните с дороги. Мужа всё равно до завтра не будет, в деревню поехал.

И убежала.

- Вставай-ка, — прошептал Исаак; схватил с комода бумаги на имя подруги лучшей и её мужа. Беглецы незаметно вышли из дому и схоронились в сарае во дворе. Через щель они увидели, как Наташа спешит домой, а с ней полицаи. Сухими остались глаза Сары: не оплакивать же подругу теми же слезами, которыми она оплакала мать и сыночка. Стемнело, Исаак сказал:

- Теперь пора.

Опять дорога: через деревни, куда страшно зайти, через людей, когда спасали только украденные документы. Вокруг лежала чужая Украина, и многие люди вокруг тоже казались чужими.

Они прибились к партизанам, лечили их до конца войны. Потом обоих наградили орденами. Они вернулись в Киев,

где все родные погибли; переехали в Донецк. У Исаака и Сары родились две дочери, сына Господь им больше не дал.

Я выдумываю монологи, реплики... Но частью души я жил много лет назад: ненавидел, прощал, покупал хлеб, пил водку. Мы передаём детям ненужный немудрящий опыт и невеликие знания, ведь мы - внуки и прадеды, слушатели и рассказчики, а поэтому верим, что к жалким словам прибавятся иное знание и великий опыт. Ведь я — тот самый мальчик, жмущийся от смущения к матери, не выпускающий её руки в какой-то из дней 1944-го. Мне хочется спрятаться, вжаться в материнское платье, но надо стоять и раздвигать в улыбке углы рта. Мы пришли к дяде. Мы бедные, а дядя богатый. У него важная секретная работа — так говорит мама; он носит гимнастёрку и сапоги, а главное — у него спецпаёк. Может, он найдет маме работу, а то и гостинец подарит. Я знаю: война кончается, но как же голодно! Только бы закончилась война поскорее! Дяди дома нет. За круглым обеденным столом сидит тётя Маруся, дядина жена (толстушая баба - дядя привёз её с Украины), но, кажется, добрая. Мама стоит в дверях, держа меня за руку, и что-то говорит, говорит... Тётя Маруся кивает вслед каждому слову и кушает. Она отрезает кусок хлеба от белого батона и долго разравнивает на нем шматок холодного со слезой сливочного масла. Потом засовывает нож в стоящую перед ней на столе икорницу и покрывает масло слоем икры — аккуратно, не наспех, чтобы масло нигде не выглядывало, не просвечивало из-под икры, откусывает и говорит громко, желая подбодрить меня и маму:

- Ничего! И войну переживём!

- Откуда ты знаешь эту историю? - удивился отец. - Разве я тебе её рассказывал? А ведь был такой родственник. Когда война закончилась, наступили самые голодные годы. Тот родственник был не чиновник, а возглавлял какие-то артели в Москве и жил, нам тогда казалось, богато. Нищих родственников с детьми он не жаловал, а приходящих за помощью поучал: «Ну, мы-то ведь живем, крутимся, и ничего!» Вскоре он заболел сахарной болезнью, и ему несколько раз ампутировали по частям ноги. Он очень мучился и тяжело умер. Мы жалели его.

История редко ставит точку на наших глазах.

Жизнеописание — это перечисление всяческих мелочей. Называй любые — и, кажется, вот он человек, вот эпоха. А

кое-кто, как умелый учёный, сумеет вычислить по мельчайшему элементу всю жизнь человека, даже оставшуюся между строк, даже непрожитую въяве. Но вдруг он понимает, что не воссоздать ни характерного смешка, ни дыма от сигареты: так, оболочку вспомнишь; а значит, живущий слеп, бессилён, и мало ему океана, чтобы разглядеть каплю.

Двадцатые

Конец двадцатых или начало тридцатых годов. Москва. Коммунальная квартира. В комнате на постели лежит мужчина. У постели жена. За стеной громко пилит скрипка. Долгие звонки в дверь.

- Я умираю! Соня, позови детей.

- Мойсей, что с тобой?

- Не спрашивай, Соня, зови детей, у меня адские боли!

Соня распахивает дверь и кричит в коридор:

- Ляля, Гриша, идите сюда! Папа лёг умирать и хочет сказать своё последнее слово!

Гриша (выходя из ванной):

- Но, мама, в прошлом месяце папа уже говорил последнее слово, когда у него была колика, и два месяца назад тоже.

- Григорий, не спорь с отцом!

Ляля с кухни:

- Иду, мамочка, вот только чайник вскипит!

Отец (слабым голосом):

- Соня, я умираю. Не перебивай! Ты выйдешь замуж. Но всё оставь детям. Григорий, ты остаёшься главой семьи, единственной опорой...

Звонки в дверь не прекращаются. Заглядывает Ляля:

- Чайник вскипел. Будем чай пить?

Соня и Гриша вместе:

- Тише ты, будем, будем!

- А ты, пап?

- Мне плохо... Я умираю... Может, в последний раз...

- С печеньем или с вареньем?

- Ой, какие боли! С печеньем. И с вареньем.

Соня выбегает в коридор:

- Исаак Григорьевич! Сделайте же потише радио! Из-за вашей скрипки человек должен кричать своё последнее слово во всё горло!

- Как можно, Софья Михайловна! Это Полякин играет!

- А то я не понимаю, Исаак Григорьич! А вы что стоите, Петя? Думаете, и вам из последнего слова умирающего что-нибудь перепадёт?

- Что вы такое говорите, Софья Михайловна?! Вам уже целый час в дверь звонят!

- Вот! А я ничего не слышу из-за этого радио! Исаак Григорьич! Видите! Может, люди чего важного не услышат!

Идёт открывать.

- Мойсей! Ты только посмотри, кто приехал! Это же твой родной брат Арон из Америки! Что же ты не писал, не дал телеграмму? Проходи, раздевайся. Как раз чайник вскипел. Ты надолго, Арон?

- Навсегда, Софочка, навсегда.

- Мойсей, что же ты не встречаешь брата?!

Появляется воскресший Моисей. Все целуются.

Соседка Берта Львовна тихонько мужу:

- Алик, иди-ка на кухню, там у меня мясо варится. Человек из Америки, мало ли что!..

Выглядывает соседка Александра Мартыновна:

- Софья Михайловна! У меня же урок! В том числе с вашим, между прочим, сыном!

Хлопает дверью.

- Дети, читайте стихотворение, которое мы учили на прошлом уроке!

Несколько детишек громко и уверенно скандируют:

- Ах вы бины зофер лассен!

Им дер вельд фюр гейзен манн!..

Захлопываются и все остальные двери. Никто не шумит в коридоре, даже Полякина не слышать. Жили в этой квартире долго, до самой войны.

Довоенная жареная картошка Ольги Ивановны Поляковой пахла вкусно, как ни у кого. Запах просачивался сквозь кухонную дверь и бродил по длинному коридору, пытаясь забиться под двери Огородниковых, и Берты Львовны, и остальных ничего не подозревающих жильцов. Дети выходили на запах, как гаммельнские крысы, и нарочно толклись на кухне. А матери семейств безуспешно пытались добиться чего-то похожего на эту картошку. Но Ольга Ивановна долгое время рецепт держала в тайне. А рецепт действительно был особенный: она наливала в сковородку немного воды, и только, когда картошка уваривалась почти до готовности, добавляла чуточку масла. Не ради особой рассыпчатости и запаха жарила так картошку Ольга Ивановна, а просто из экономии масла.

Детство богато на всякие вкусности. Особенно бедное и полуголодное детство: мороженое, арбуз и кисель с хлебом, редкостная белая булка с маслом и горкой сахарного песка, съедаемая прилюдно во дворе. А шоколадные конфеты с завораживающим названием «Какао-шуа» помнятся всю жизнь, тем более что потом их уже никогда не встречаешь. Люди, многое пережившие, вспоминают и пытаются рассказать детям, чем пахла мамина стряпня, что и почём было в магазинах, в каких лотках лежало, в каких банках продавалось. Кажется, время расколосось на мельчайшие осколки, и живётся ему лучше в магазинных ценниках или квадратных водосточных трубах, а не в исторических хрониках. Не уцелело время. Революция прошла по домам и семьям, не заметив на своем пути ни прадеда Григория, убитого залетной бандой в 18-м или 20-м, ни бердичевского купца, пережившего и белых, и Петлюру, но только не пятую красную армию, впоследствии вывезенную и расстрелянную целиком, оставившую в купеческом дворе разлетевшиеся листки молитвенника и испражнения в пасхальных сосудах. А купецкий сын всё вспоминал родной пыльный городок, свой – ирония судьбы – вишневый сад и горячее пузырящееся вишневое варенье, сваренное мамой и сестрами; как по пятницам всегда ели бульон и варёное мясо, как готовилась фаршированная гусиная шейка. Эту шейку (только куриную) готовила по праздникам и бабушка Дина, и бабушка Рахиль. Курица готовилась только на праздник или когда кто-то болел. Тогда делалось сразу несколько блюд: бульон из костей, куриные котлеты и фаршированная курица. Готовка отнимала дня два, а семья была большая...

Как листки молитвенника по двору, разметало братьев и сестёр по городам. Они рожали детей, знающих о существовании двоюродных родственников из упоминания в поздравительных открытках. Они умирали, и родные часто не приезжали на похороны, а то и просто узнавали о смерти месяцы спустя. Нет, братья и сёстры не становились чужими друг другу, просто разлетевшиеся листки должен собрать внимательный переплетчик. А у раздерганной книги часто не находится хозяина.

Двоюродная сестра матери жила в Евпатории. Я побывал там всего однажды и, явившись к тётке, был немедленно усажен за стол, ел тушёные в сметане кабачки, запивая их компотом. На чужой кухне вкус даже обычных блюд, даже чая, всё равно чужой. Но тёткины кабачки не были чужими, и

знакомым запахом тянуло в белой Евпатории, только, конечно, не московским, а дореволюционным гомельским. Конечно, такое же блюдо ел прадед Григорий, - и сколько ещё прадедов до него!

Семья – ведь это родной запах на кухне, когда не знаешь, кто там сейчас у плиты: бабка, мать или дочь.

Однажды я понял, что есть на земле дом, комната, откуда нельзя уйти насовсем. Вот так: выйти и больше не вернуться. Потому что в том доме, той комнате, том годе и часе я нужен. И, если я опять открою дверь туда, то пойму, что оставшиеся всегда ждали меня, а, может, я никогда и не уходил.

В детстве мне было хорошо. Я помню вкус большой желтой груши дюшес, купленной однажды зимой на рынке. Груша поменьше стоила сорок копеек штука, а побольше – пятьдесят; я уже понимал, что это дорого. Мама выбирала грушу долго и, наконец, купила одну – ту, что побольше, и я заторопился домой, а потом, обливаясь грушевым соком, раз десять предлагал родителям откусить, а они говорили, что не любят груш, а я верил им почему-то.

Я рассказываю свою историю о груше, и мне вторит женщина (она помнит это всю жизнь), как, десятилетняя, чистит яблоко младшему брату, толсто-толсто срезая кожуру, потому что фрукты нужны маленькому, а кожуру можно потом съесть самой.

Теперь такие воспоминания и есть наши детство и юность. Через много лет трудно снова всё связать воедино, да и к чему – многое забылось неспроста. Разве что хочется хоть на миг воскресить умерших и сказать им снова: «Мы вас любим! Нам плохо без вас!»

Бабушка Лана говорила, что когда умерла её мать, дети – сын и трое дочерей – сели оплакивать маму по еврейскому обычаю. Мать умерла внезапно, и дети не успели в последний раз сказать, что любят её. Они сидели и молили Бога, плакали и опять молились день и ночь. И – рассказывала бабушка Лана без тени сомнения - мама воскресла, провела с ними целый день, а дети успели сказать недосказанные слова любви и благодарности. Свет того дня бабушка Лана донесла и до меня, хотя сам я и не слышал того рассказа. Хочется поверить в наше чудо. Я верю.

Что я могу? Увидеть Киев 1928 года, спешащего на завод 18-летнего парня – это мой будущий дед Абрам, и торопящуюся на курсы 16-летнюю девушку – мою будущую

бабушку Рахиль. Раннее утро. Подол протирает глаза, потягивается и, покачиваясь со сна, плетется на кухне, кухонки разжигать примусы и керосинки. Скоро покатаются по булыжным мостовым телеги, закричат бабы во дворах, застучит сапожным молотком Давид, отец Абрама, а в нескольких кварталах от него сядет клеить бумажные пакеты Борух, отец Рахили. Шелестят сады на днепровском ветру. А пока тихо на Подоле.

- Кто он, доченька? – спрашивает мать у Рахили по утрам.

- Так, парень один из нашей комсомольской ячейки, - отвечает дочь, смущаясь. Она торопится, хотя знает, что до вечера его не увидит, только на собрании, а потом на танцах в форпосте или в кино.

- Чего разоделся? – интересуется сапожник у сына. – Дивчина какая завелась? Смотри!..

Абрам тоже спешит, и выбегает из дому в единственном костюме. Они идут, думая друг о друге, она – на бухгалтерские курсы, он – на завод «Арсенал», свинчивать никелированные пружинные кровати с шишечками. А после работы, после учёбы – в форпост на лекцию о международном положении, потому что на лекции можно было сесть рядом.

Абрам не служил за Рахиль семь лет. Она полюбила его сразу. Лана вздыхала и начинала потихоньку готовиться к свадьбе; Борух ухмылялся в усы и подсчитывал, во сколько она обойдётся. А сапожник Давид слышать ни о чем не хотел, тем более о дочери какого-то нищего инвалида.

Сады шелестят на днепровском ветру. Если сесть на фуникулер и отправиться с берега вверх к центру Киева, то за зеленью садов крыш почти не видно. Где там Давид? Где Борух? Абрам и Рахиль парят в вагончике фуникулера над горбатым выщербленным Подолом, обнимаются и смеются. Так проплывает под ними счастливый 28-й год, и начинается год 29-й. Еле дождалась семнадцати лет Рахиль, чтобы выйти замуж. И вот, наконец, свадьба.

Дед с бабкой умерли до того, как я мог бы расспросить их о ней. О свадьбе я ничего не знаю. Её могли устроить в форпосте, а не дома, потому что все были комсомольцами, не сомневающимися в предрассудках родителей, лучезарном будущем своей самой счастливой страны и беспросветной жизни американских негров. Знаю, что Давид на свадьбу не пришел, осудив сына за мезальянс. «Пусть женится! Пусть уходит! – кричал он. – Чтобы ноги его не было в родительском доме! И только посмейте явиться на

свадьбу!» (Это он Абраминым братьям и сестрам.) Но сёстры пришли, а братья (даже 12-летний Исаак), наверное, сложились и подарили молодым сковороду или кастрюлю.

Молодых приняли Лана и Борух. На всех было две комнаты в двухэтажном доме с подвалом. Жили хорошо, потому что было электричество, кухня и даже настоящий туалет. А по утрам они теперь ходили вместе: она – на бухгалтерские курсы, он – на «Арсенал». Они выходили, и их видели вместе и старик-бухгалтер, которому до революции принадлежал целый дом, выходящий на Андреевский спуск, и живший теперь в одной из комнат бухгалтерского дома бывший генерал, а еврей-старьевщик со старухой матерью смотрели на них из подвала.

Отец их всех застал, даже старьевщика с матерью, боявшихся электричества и жегших свечи по вечерам. На улицу старьевщик выходил всегда в разноцветных, хотя и одного размера ботинках, подобранных на помойках: он всё-таки старался, чтобы ботинки были немного похожи.

Но до рождения отца еще несколько лет, Абрам с Рахилью не подозревают об этом, а думают о важном комсомольском собрании сегодня вечером.

- ...Вам, как активным комсомольцам, партия доверяет важнейшее дело, посылая на передовой фронт борьбы с контрреволюцией, за светлое будущее Страны Советов и всего человечества! – падали слова комсомольского секретаря. А потом были ещё слова, и отправляющимся на коллективизацию жали руки, поздравляли и завидовали.

До села добирались несколько дней, и пробыли там молодые комсомольцы неделю. Они видели расстрелы, сгоняемый с дворов скот и спаленные дома, катающихся по земле воющих баб, подводы, груженные размазывающей слезы ребячней, тянущиеся под конвоем по степи, и снова расстрелы, баб, подводы... Не вынесли этого Абрам и Рахиль: положили оба комсомольские билеты и ушли в Киев без еды и без денег, пешком.

Потом в комячейке было собрание, Рахиль выгнали с курсов – больше учиться она так и не смогла, Абрама отправили искупать свою вину на шахту в Донбасс («Легко отделался!» - говорили ему вслед), где он надорвался и стал инвалидом, толкая вагонетки с углем. А от родившегося сына эту историю до поры постарались скрыть, чтобы жизнь ему не портить.

...Они были красивыми, мои дед с бабкой. В детстве я всматривался в их единственную фотографию 30-х годов,

пытаюсь отыскать хоть какое-нибудь с ними сходство. Время распорядилось судьбами так, что пришлось им бежать из Киева в 41-м и умереть в Москве, а были они с Подола, и жизнь их должна была пройти там, где евреи селились с XI века, переживая пожары, набеги и войны. Они не вернулись туда.

...Жили в Киеве, жили в Гомеле и Москве. Мальчик бежит по Подолу, а девочка по Арбату. Но для меня они уже едины, потому что они поженятся, «жена прилепится к мужу», хотя для мальчика с девочкой ничего пока не значат слова «муж» и «жена». А воспоминания их смешаются, сплетутся, поди разбери через годы, кто в каком мире жил.

Мальчик бежит по Подолу, а в Москве раннее утро, и мама зажигает свет. Натягивая на голову одеяло, девочка слышит сквозь дрему и позывные зарядки по радио, как встает отец и идёт во двор рубить дрова. Выйдя следом, девочка долго-долго смотрит на белый от солнца двор и на отца без рубахи, ловко подбрасывающего поленья; на недавно посаженные соседом два тополя, на голубятню и сарай. Видно, день сегодня особенный! Мама готовит завтрак, у папы хорошая работа в ЕКО, продукты можно покупать в «Торгсине», у них целых две комнаты, у неё много подруг; а как интересно покататься на дяди-Шурином велосипеде, сбегать в районный Дом пионеров в студию танца и художественного слова. Вот она читает про папанинцев:

- Изо льда там все палаты,

Стражи там – моржи усаты...;

А ещё будет день рождения, когда все дети садятся лепить пончики и хворост, когда можно распустить волосы, после торжественного обеда усесться с подругами вокруг стола срисовывать пагоду с дверцы японского шкафчика, споря, у кого лучше получилось...

Только будет ли счастлив тот, кто поймёт однажды, что в его жизни было счастье?

Девочка плачет в подушку, вспомнив несколько лет спустя это утро с папой, рубящим дрова. Потому что папа больше никогда уже не рубил дрова во дворе, а ЕКО закрыли в 38-м и посадили всех, работавших в нём, кроме отца (на каких-то документах не оказалось его подписи, всё обошлось), хотя ареста ждали ещё месяц, и мать с отцом спали, не раздеваясь. «Кто там? – да просто угольщик, молочница или старьевщик с черного хода стучат!» А в школе – узнала она – посадили отца мальчика Жана, и Капитолина Сергеевна сказала: «Как тебе не стыдно, Жан! У мамы такое несчастье,

а ты так плохо себя ведёшь!»; и в Доме пионеров не стало дяди Серёжи, с которым она разучивала стихи про папанинцев, и тети Розы из танцевальной студии...

Девочка плачет в подушку о счастье, случившемся однажды солнечным утром.

Но теперь другое, обыкновенное утро. Оно всегда начинается с зарядки по радио и сборов в школу. Нет в классе Жана, и никогда больше не будет. Ещё только раз его имя попадетса через 50 лет на странице «Огонька», вспомнившего о детях репрессированных родителей. А студии в Доме пионеров вновь открылись, там другие люди и те же стихи.

...К вечеру утренние слёзы забываются, и жалко уже нищего еврейского мальчика с бабушкой из радиопередачи «История одного детства». «...Бабушка купила курицу и натопила четверть фунта жиру. Будет на чём жарить целую неделю», - читает Каминка. Он хорошо читает. Жалко бабушку с внуком.

А в Харбине, в Париже пел Вертинский. Он размазывал кокаиновые слезы за всех стариков и старух, не слышащих его в России или слышащих и плачущих вместе с ним.

По московским улицам из школы бежали девочки, размахивая портфелями и болтая о всякой важной школьной ерунде.

- Зинка, давай ко мне! – крикнула Аня.

- Побежали! – ответила Зина.

Они вбежали в огромный гулкой подъезд и через минуту уже сидели в Аниной комнате на подоконнике. У подруги всё было, как дома: тот же квадратный стол со стульями вокруг, только у Ани - венскими, а у Зины в комнате стояли дубовые, резные, заказанные к свадьбе родителей. И диван на обычном месте стоял, у Зины - ковровый, у Ани – дерматиновый со слониками и зеркалом на полке. И этажерка была, и никелированная кровать с подушками горкой, подзором, выглядывавшим из-под пикейного одеяла. И Огородниковы так жили, и Поляковы, и Берта Львовна с мужем, главным ревизором.

Аня жила с матерью. Та оказалась на работе, но должна была скоро вернуться приготовить обед. А с кухни доносился звук кастрюль, шипение сковородок и гудение соседних керосинок. У девочек засосало под ложечками от тянущихся по коридору запахов чужих обедов.

- Ты есть хочешь? – спросила Аня.

- Хочу.

- Хлеб с постным маслом любишь?

- Люблю. А как это?

Аня достала из буфета тарелку с хлебом и чайное блюдце. Налила в блюдце постного масла до краев и посолила его. Девочки опять устроились на подоконнике и, макая хлеб в масло, стали смотреть во двор, высматривая Анину маму. Было ужасно вкусно, хорошо и покойно.

А в Харбине, в Париже пел Вертинский. И кто-то уже видел войну.

...И война пришла. Ушли воевать Леня и Сеня (Соломон), Лазарь, Володя, Гриша, Иосиф, Залман, Изя, Борис, Яша, Миша и другой Миша, и другой Соломон, Исаак и Сара, Давид, Маня и её сестра.

С войны Володя вернулся весь израненный, Яша погиб, и Лазарь погиб, и Залман, и оба Миши, и другой Соломон, а Гриша пропал без вести.

«И ходил Енох пред Богом, и не стало его...»

Оставшиеся, не ушедшие на фронт, вязали узлы и грузились – кто смог – на поезда, пароходы, едущие, плывущие по степи, по Волге куда-то к башкирам или татарам. К сборам им не привыкать: поколения гонимых предков смотрят с небес на перевязывающих веревками чемоданы наследников своих и шепчут: «Бегите! Есть еще страны и дороги на земле!»

...Старики помнят много. Они говорят: люди не должны столько помнить. Одной войны хватает, чтобы нести её в себе всю жизнь, а еще коллективизацию, и страх, и голод, и любовь, и просто долгие годы. Но нельзя не расслышать крики друзей из довоенного двора, как фребеличка что-то выговаривает своему воспитаннику по-немецки, как орет тарелка из окна то соловьем Барсовой, то басом Рейзена. И голоса убитых слышатся, потому что все голоса на свете затухают, но не исчезают совсем, существуя в пространстве и «Божьем времени, которое не показывают часы».

Где-то живы все слова, сказанные в счастье и горе, плач людской, смех. Господь осужден слышать их вечно; всё обнимает он безмерной и бессильной рукой своей, а нам и малой толики довольно.

Война

Из Киева.

Было сказано слово «война», а за ним другое: «эвакуация»; стали слышны голоса и звуки изменившейся жизни: стук вагонных колес, другие песни по радио, другие разговоры по домам. Немцы шли к Киеву.

Пришёл однажды Абрам, и сказал жене с сыном:

- Собирайтесь. Завтра эшелон. Мы едем в Куйбышев. В первую очередь эвакуируют заводы и госучреждения. Я могу взять с собой стариков. Из вещей - только то, что в руках унесём.

Вытащили женщины три фибровых чемодана и один фанерный, стали складывать белье, одежду, несколько чашек, ложек, тарелок взяли, пару одеял и подушек связали в узел, да сумку с едой на дорогу – много ль в руках унесёшь? А зимние вещи в суматохе забыли, да и не было особо зимних вещей.

Женщины охали, стирали что-то в последний момент.

- Нет, - сказал Борух, - я не поеду.

- Нет, - крикнул пришедшим за ним детям Давид, - чтобы я поверил этой банде? Я, конечно, остаюсь.

Борух потерябил ус и ещё сказал:

- Я знаю немцев. Я был в австрийском плену. Это образованный и культурный народ. Немцы не могут так просто убивать евреев. Наоборот, они любили нас, потому что могли с нами поговорить. А вы езжайте.

Дочь с матерью заголосили, заплакали, но старик, кажется, не слышал их.

- Банда! – кричал сапожник. - Они же ограбили нас всех! Что Петлюра был, что нынешние – такая же банда! Мне что, хуже будет? И не уговаривайте, я с места не сдвинусь!

- Поедем, Борух, - плакала Лана, - куда ж мы без детей? Вспомни, как в местечке делили за обедом селёдку на десятерых, а сейчас какой-никакой кусок хлеба есть. Поедем. Убьют ведь.

- Нет, - отвечал Борух, - не верю.

Давида не уговаривал больше никто, боясь старика. Только попрощаться он позвал всех родных. Впрочем, об этом уже было сказано.

Утром присели на дорожку, обнялись, но Лана сказала:

- Езжай, дочка. Я уж с Борухом.

На двор въехала подвода, и незнакомые люди стали грузиться в неё. Погрузился Абрам с семьёй. Перед глазами мальчика под грохот колес тронувшейся подводы проплывал двор, в который он больше никогда не возвращался. Дед с бабкой, соседи, не имевшие возможности уехать: царский генерал, старьевщик в разных башмаках с 90-летней матерью, еврейский пьяница с женой, откармливавшей свиней в сарае, бывшие хозяева их дома – бухгалтер Друтман с женой и 20-летней дочкой. Они остались в этом дворе навсегда, а подвода ползла к вокзалу по утреннему городу.

И Лана с Борухом остались. Они готовили еду, ходили по улицам и ждали нового дня, взглядами провожая тянувшихся к вокзалу беженцев. Однажды в дверь постучали: это была Нехама с сыном, их вторая дочь. Она выбралась из городка Борисова, где шли бои и служил её муж-офицер. Вместе с другими офицерскими семьями уезжала она оттуда под бомбежкой в цементном вагоне, а увидев отца с матерью, плакала и уговаривала их уехать.

- Нет, - опять твёрдо сказал Борух, - а ты, дочка, езжай.

Нехама уехала вслед сестре, а Лана осталась. На кухне коптила керосинка, старуха варила и жарила, у себя в мастерской Давид клеил подметку на башмак, стоял жаркий сентябрь, бои шли под самым Киевом. До сдачи города оставалось дня четыре. Нет, уже три, потому что наступал следующий день.

Утром в дверь приумолкнувшей квартиры на Боричевом Току снова постучали: ворвался двоюродный брат Ланы Боря Гендельман.

- Почему вы ещё здесь? – закричал он с порога. - Вы с ума сошли! Ладно, сейчас отходит последний эшелон, я могу посадить вас на него. Потом всё, уехать будет нельзя. Идёмте, если хотите жить.

- Нет, - сказал Борух, - эта власть ничего хорошего мне не дала, а немцев я знаю. Я остаюсь.

- Сестра, - крикнул Гендельман, - твой муж рехнулся! Но раз он за себя спокоен, вы скоро свидитесь. Езжай хоть ты.

Тихо стало в комнате.

- Да, - сказала Лана, - я с дочерьми поеду. Давай, прощаемся, Борух.

Свидеться им довелось очень скоро. Эшелон простоял на путях всю ночь (кажется, бомбили дорогу). Лана прибежала домой, рыдала, упрашивала и прощалась опять.

...Потом поезд тронулся, увозя старуху в Куйбышев, а в Киев через три дня вошли немцы...

После войны Абрам пришел на Подол узнать, что стало с оставшимися родными. Давид сгнил, мастерской его на первом этаже вросшего в землю двухэтажного дома не было, и самого дома, в котором была мастерская, тоже. Абрам вспомнил, как открывалась входная дверь, и в переполненной запахами кожи, резины, клея комнате сидел отец с шилом в руке, готовый швырнуть что-нибудь в нерадивого сына или дочь. А в домах вокруг жили незнакомые люди, не слыхавшие о сапожнике Давиде.

Абрам пошел на Боричев Ток справиться о старике Борухе. Не было и его дома, но кое-какие соседи выжили.

- Вы знаете, - рассказывали они, - дедушка по-русски-то и по-украински почти не читал. Когда расклеили по городу листовку, ту самую «Жиды города Киева...», он и не узнал, что в ней, а пересказам не поверил. Он видел, как уходили все евреи – ну, вы понимаете, в Бабий Яр – и жил ещё недели две, а то и три, ходил по улицам, говорил с кем-то. А потом кто-то сказал – ну, донёс властям, что один еврей ещё жив, разгуливает по Подолу, тогда уж и за ним пришли. Он последний оставался на нашей улице, может, на всем Подоле последний.

- Я вижу, чувствую деда Боруха в его последние дни, - сказал отец. - Как утром он вставал и садился к переплетному станку подклеить и переплести подаренную родителями на 13-летие Тору, на которую прежде не хватало времени. Пальцы правой руки, перебитые в Первую мировую и навсегда оставшиеся прижатыми к ладони, не слушались, и он долго возился с узорчатым тиснением. А когда его вели, он подумал, что не поверил дочерям, жене, зятю, никому. Теперь дети и внуки не смогут простить Лану, что бросила его и уехала одна, а виноват-то сам.

Он старый солдат, всегда решал за себя, за семью. Никогда не ошибался.

Борух вспомнил отца и мать, жену, дочерей, внуков. Он звал их всех по именам, и кто был с ним в его последнем пути?

Из Москвы.

Старики говорят: я не помню тех дней, зато помню другие. И становится ясно, что человеческое время – это не день за днем и не год за годом, а изломанная линия, перебирающаяся от события к событию, от всплеска к

всплеску. Дни, укладываемые между этими всплесками, были почти непримечательными, почти одинаковыми, и блажен тот, кто радовался им, потому что жизнь уместилась именно в тех днях, хотя запоминались другие дни и события, иногда такие случайные.

Запоминались... нет, кое-что просто не получилось забыть, как ту собаку, воющую сутки напролет по хозяевам, угнанным в одну ночь из колхоза под Камышиным, оставившими всё, - и эту большую собаку, обывавшую теперь своих хозяев, которым суждено сгинуть в Казахстане, и чует будущее верная собачья душа.

Ещё были женщины, стоявшие за хлебом в будку на Соль-Илецком вокзале, когда из эшелонов прыгивали люди и вставали в ту безнадежную очередь. Там, где-то дальше – Ташкент, и с мыслью о нём стояла очередь в лютые холода, лишь краем глаза замечая уложенных тут же на перроне умерших, снимаемых с каждого пробивающегося в хлебный город эшелона. Девочку лет тринадцати не забыть, которую прямо в очереди начала трясти малярия, и себя, комсомолку, поставленную охранять эту будку, ворвавшуюся в неё с криком, что девочка умирает и дайте ей хлеба!..

- А вот вспомнить, дали ей пайку или нет, не могу, - сказала старуха.

Соль-Илецкая защита из «Капитанской дочки». Им, девочке, матери, бабке жить теперь в пугачёвских степях. Улица от вокзала с занесенными снегом по крыши татарскими мазанками и волчьей метелью – всё оттуда, из века Екатерины и Пугача, разве что в Санкт-Петербурге нынче балов не дают. Только ведь Соль-Илецк – это крайняя точка одного пути. Были и другие города, и дороги к ним.

Когда война переползла через Киев и подошла к столице, снова зазвучало слово «эвакуация», а прогуливающиеся июльскими вечерами парочки, не слышавшие бомбёжек и воздушной тревоги, уже вдыхали запах гари: организации жгли бумагу во дворах. Во дворе дома в Кривоколенном переулке не затухал огонь большой утопленной в земле печи: дворник жёг листья, а окрестные учреждения – свои архивы. По ночам какие-то тени тащили и жгли в той печи сочинения Ленина-Сталина, и ласковый ветерок разносил обугленные обрывки бумаги по улицам-скверам-бульварам.

Пришёл Семён и сказал своим женщинам, что ехать им на Волгу, в Камышин, а вот соседняя организация эвакуируется в Сталинград. А старшая дочь Якова сказала, что, может

быть, ей удастся получить направление на работу в Уфу, и они все уедут. Соседи уже начали разъезжаться, исчезать. Кто смог пристроиться к своей или чужой организации, получал проездные документы, паёк на дорогу, сдавал ключи от комнаты домоуправу, и пустели, стихали коммунальные коридоры. Кто-то уезжал сам, пытаясь добыть билеты на вокзале и забраться в выбирающиеся из Москвы поезда, но это многим не удавалось, тогда люди уходили пешком просто на Восток.

Старшая дочь приходила домой, но направления не было, не было, а отец с матерью потихоньку собирались в дорогу. Прошла неделя, и ещё неделя... Москву часто бомбили. Мать брала за руку младшую дочь и шла прятаться в метро. Однажды солдаты, разделяя толпу, оторвали дочь от матери: по сей день слышится затихающий на лестнице материнский крик и свой «мама!», когда показалось, что их разлучают навсегда. Ещё неделя прошла, а всего – два месяца, когда пришёл день их отъезда. Два месяца на сборы. Что можно собирать так долго? Одежду, постели... Одни дореволюционные матрасы тащили, а Яков укутал в тряпку механизм стальных часов – свадебный подарок. Часы идут и поныне, только корпус разошёлся.

Присели на дорожку и «С Богом!» на вокзал. Хотя нет, вокзал был потом, несколько месяцев спустя, а сначала пришла машина, и женщин – девочку, мать, бабу – повезли в порт, где встали они в очередь на пароход до Камышина. Бабу посадили в сторонке на узел с матрасами, а девочка стояла с книжкой, чтоб не было скучно, читая любимого немецкого романтика Уланда:

«Споет ли мне песню веселую скальд? –

Спросил, озираясь, могучий Освальд.

И скальд выступает на царскую речь,

Под мышкою арфа, на поясе меч...»

А потом она плакала перед начальницей парохода, прося перевести их с верхней холодной палубы вниз, потому что мама больна малярией, или лекарство выдать, но вниз никого не перевели, и до Камышина доплыли так.

От пристани вверх, на высокий берег Волги тянется лестница, и девочка, подхватив самое тяжёлое – узел с матрасами – карабкается, считая ступени, к городу; позади, поддерживая друг друга, ползут с чемоданами бабка и больная мать. Одна, две... - ступенек оказалось сто восемьдесят, и это число, и путь наверх, как многое случайное, тоже засело в памяти, оттого, наверное, что узел

был тяжёл, лестница крута, а считать ступеньки пришлось ещё раз и ещё, потому что после поражения немцев в сентябре женщины вернулись обратно в Москву, волоча за собой вниз по волжскому склону все вещи и узел с матрасами, думая, что вот всё и закончилось, прежняя жизнь вернётся, но во дворе их встретил сосед – могучий казак, бывший комполка, списанный из кавалерии из-за того, что ни одна лошадь не держала его, – пробурчавший: «Чего приехали? Москву сдавать будем».

По осеннему городу стелился дым, горелая бумага падала с неба вместе с опадающей листвой, а Москву бомбили. Одна бомба упала во дворе их дома, попав прямо в серебристый тополь, посаженный ещё бывшим домовладельцем. Было страшно, а потом все искали разлетевшиеся вещи, стоявшие на окнах; нашли чугунный утюг, а девочка жалела о пропавшей кастрюле с компотом.

Вот уже ноябрь. По Москве к метро идет с чемоданом Яков, жена Дина с детьми идут за ним. Закончились два месяца страхов, встреч дочери с неизменным «сказали ждать» по вечерам, коммунальных слухов, воздушных тревог. Наконец, осталось только оглядеть напоследок комнату: шкаф, кровать, диван, этажерку и повернуть ключ в замке, радуясь, что ценностей не нажили, поэтому и забывать нечего.

Семён сказал женщинам, что надо возвращаться в Камышин, но теперь они поедут вместе. Во второй раз собраться было проще: матрасы решили не брать, пришёл грузовик до вокзала, а недавно встречавший их сосед-казак сам закинул в кузов чемоданы. «Только зачем опять уезжать? – подумала девочка, - ведь Гитлера побьют очень скоро, – по возвращении она записала это в дневнике, – хоть и страшно, и бомбят, даже в тополь попали».

Вокзал, уже вобравший множество людей, принял Якова с семьёй и пожитками, закрутил по залам ожидания, переходам, перронам, стараясь разбить, измельчить новый попавшийся ему человеческий комок, образуя невиданную однородную массу из добравшихся сюда людей и их багажа. Яков растерялся. У него были билеты на поезд до Уфы, но никто вокруг не знал, где этот поезд, сами ища другие поезда и спрашивая у Якова, не знает ли он чего. Люди, желая помочь, указывали друг другу на разные пути, все метались от состава к составу, то крича на отстающих детей, путающихся в своих ногах, пальто и сумках, то убегая спросить кого-то ещё. В конце концов, эшелоны находились,

все втискивались, устраивали детей, корзины, баулы; поезда уходили, но людей на перронах не становилось меньше, они вылезали из метро, приходили пешком, подгоняемые ужасом, объявлениями по радио, что фронт уже рядом, и вокзал пытался перемолотить все новые человеческие комки.

Поездо, наконец, и Якову: он устроил семью в вагоне и стал ждать, когда поезд тронется, как обычно теперь, без гудка. Останется только вытерпеть несколько недель пути. Облегченно вздыхающие люди устраивались по соседству, заводя разговор сразу обо всем пережитом. Заполнялись вторые и третьи полки, и вот уже медленно поплыли мимо окон вокзальные столбы. «Даст Бог, скоро будем в Казани!» - сказал сосед. Яков даже не расслышал сразу этих страшных слов, но сын крикнул: «Мы сели не на уфимский эшелон!» «Скорее! – закричали вокруг, – прыгайте! Мы сбросим чемоданы!» Дети побежали к дверям вагона, прыгая на ходу, потом спрыгнули Яков с Диной, все стали собирать разлетевшийся багаж.

- Один чемодан лишний, не наш, - сказал запыхавшийся Ося.

- Как лишний?

- Наверно, по ошибке выбросили из поезда чужой.

Отчаянье охватило всех, потому что вернуть ничего было нельзя, а люди, чьи вещи сейчас перед ними, тоже взявшие лишь самое необходимое, будут проклинать их, и это проклятие ни в чем не повинным людям суждено нести на себе всю войну.

...Им тяжело пришлось, и Дина не раз говорила: «Это нам за тот чемодан!»

А тогда Яков открыл его и увидел синюю лампу и ношенные, видно, доставшиеся по наследству от кого-то детские кофточки, штанишки. Вернуть было некому, а просто так в те годы ничего не бросали.

Они вернулись на вокзал, переночевали. Ночью бомбили, но никто не уходил. Старшей дочери удалось достать билеты на завтра, подсовывая железнодорожному начальству свое направление с непростой печатью, а потом удалось сесть на уфимский поезд. Начиналась дорога.

Суслонгер, Кинель.

«Бегите! Есть ещё страны и дороги на Земле!» - били в виски слова гонимых предков, то ли это колеса стучали на стыках? – не понять за вагонными разговорами. Только

звучат они и для бегущих из Киева, и для выбирающихся из Москвы. Кто-то в поезде, может быть, обратился к Господу: «Я человек, испытавший горе. Куда Ты повел меня: во тьму или во свет? Ты измождил мою плоть и кожу, сокрушил кости, камнями преградил дороги, а когда я взывал и вопиял, задержал молитву мою». Но не был тот человек Иеремией, а просто напуганным стариком, услышавшим вдруг, как началась бомбежка и, взобравшись на Дарницкий мост, тяжёлый состав с лишними вагонами еле-еле полз на другую сторону Днепра. Люди вдавили лица в окна вагонов и видели где-то глубоко внизу всплески от бомб, исколовших серую воду, слышали совсем рядом звук визжащих самолетов. Поезд был тяжел, слишком тяжел для паровоза, медленно плыла мимо ажурная арматура моста; колеса гремели и гремели на стыках, а мост всё не кончался, ужас был на каждом прижатом к вагонному стеклу лице.

А под Москвой встал и затаился в ночи другой поезд. Он выбирался из города целый день и теперь встал совсем, погасли огни. Людям приказали не курить и громко не разговаривать. Прошел слух, что поезд, отошедший перед ними, разбомбили. Понял тогда старик: во тьму ведут их, но в грохоте взрывов, треске пуль и дыхании детей вокруг не слышал никто, что отвечал им Господь, а потом подумалось, что ничего не отвечал, потому что не был старик Иеремией, а просто напуганным существом, боящимся за своих родных, одно лишь повторяющим про себя: «Выжить!» Та бомбёжка не коснулась их, поезд тронулся невредим. Людям показалось, что самое страшное позади, надо только запастись терпением и привыкать к новым названиям городов, станций и поселков вокруг. Дарницкий мост, Днепр, Киев, Москва исчезли, пришло и осталось диковинное слово «станция Суслонгер», заменившее все ушедшие слова, потому что туда уехал двоюродный брат Дины, которого она, побывав во время стоянки за кипятком, случайно встретила прыгивавшим со встречного военного эшелона; хотя нет, так называлась станция, где они встретились... Или, может, так называлось место, где очень долго стоял киевский поезд, совсем рядом с составом с нефтеналивными цистернами, и мальчик, отравившись испарениями нефти, умирал от удушья на руках Абрама и Рахили, не доехав нескольких километров до Куйбышева...

Они выгрузились со всеми вещами и смотрели на лежащего сына, не понимая, что с ним. Всё обошлось, всё

осталось позади: и запах нефти, и развеявший его волжский ветерок, и станция Суслонгер.

А в поезде на Саратов ели. Распоряжавшейся едущими в нем людьми организации при дележе провиантских складов достались крабы, зелёный горошек и чёрная икра. Три недели пути люди ели этот паёк без хлеба и сухарей на завтрак, обед и ужин. Ну что ж, сухарей и картошки с постным маслом им вдоволь досталось в предвоенные годы, а тут – три недели на чёрной икре – ирония судьбы!

В поезде на Уфу налаживалась жизнь обычного Ноева ковчега: во время остановок стирали, бегали за кипятком и по нужде, каждый раз боясь отстать от без объявлений и гудков трогающегося состава, гадая, сколько ещё ехать. Яков успокоился: наконец-то они в поезде и днём раньше, днём позже до Уфы доедут. У дочери там работа, а с его ремеслом он всегда сумеет прокормить семью: шутка ли – «мастер шапкэ», самому Качалову шивший! Почти мирно постукивают вагоны, темнеет, скоро устраиваться на ночь – думает он.

- И зачем нам эта Уфа? – протянул кто-то из соседей по вагону. – Вот если б в Ташкент!

- Да, - подхватили с третьей полки, - там точно не заголодаешь! Так ведь машинисту плевать, куда ехать, лишь бы дорога была свободна!

Говорившие это мужики спрыгнули с полок и засели в тамбуре курить. Скоро они вернулись и пошли шушукаться, шептаться по углам, и исчезли опять.

Качались вагоны, тянулась тёмная полоса за окнами: поле, степь? Потом в вагон вернулся мужчина с третьей полки и по-хозяйски объявил:

- Всё, мужики! В Ташкент едем! Не голосите, бабоньки! На хрена нам эта Уфа?

- Они перекупили машиниста! - бабоньки заголосили немедленно. - Давайте, собирайте скорей по вагонам, у кого сколько денег есть! Нам ведь в Уфу надо!

Началась суета: побежали собирать деньги, ташкентцы что-то ещё говорили и тоже пошли по вагонам.

Яков ждал. Он понимал: Уфа, Ташкент – это теперь потеря, случайность, кто больше денег соберёт.

Тёмные поля за окнами сменялись огоньками дальних деревень, неожиданно возникали перед глазами полустанки.

- В Ташкент едем! – заорали из тамбура, и едущие в Уфу стали собирать узлы и чемоданы, чтобы на узловой станции Кинель сидеть в слякоти на вещах под ноябрьским ветром,

несшим необыкновенно крупные азиатские снежинки, провожая один за другим проходящие на запад военные эшелоны, и ждать какого-нибудь поезда на восток. Оставалось уже немного, пути и дороги на земле вели в Уфу, Камышин, Куйбышев, Ульяновск, Казань...

Куйбышев, Казахстан, Уфа.

Мальчик ждал маму. Рано утром взрослые ушли на работу, а он никуда уйти не мог: стояли морозы, зимней одежды у него не было, и в школу мальчик не ходил. Всю осень у него и других барачных мальчишек было дело: пробраться на фабрику-кухню, стоявшую за забором через дорогу напротив барака, и купить пирожков. Давали по пять штук в руки: два с повидлом и три с капустой. Один пирожок ему разрешали съесть сразу, и он выбирал с повидлом. Это была наука: просочиться с черного хода и пристроиться к очереди, оттуда уже не гоняли, а так пускали только заводских рабочих. Но пришла зима, и лафа кончилась. А еще уехал двоюродный брат Марик, бывший на два года младше. Они вместе играли и мечтали о пирожках. Ведь одна мысль о них была счастьем. Рахиль, уходя на работу, оставляла им обед на двоих. Сестра её Нехама, приехавшая позже с сыном Мариком, ещё никуда не устроилась, и денег у неё не было. Когда появился двоюродный брат, они вместе стали ходить на свалку: вообще интересно, да мало ли что полезное выкинут! Но однажды Нехаме сказали, что видели её сына копошащимся в мусоре. И Нехама подумала, что сестра оставляет обед только своему сыну, а её - ищет еду по помойкам. Нехама оскорбилась, взяла сына и уехала. Оказалось, поссорились сестры надолго.

Мальчишке в бараке делать нечего: только смотреть на голые стены или на улицу, протаяв дыханием кружок на стекле. И вспоминать можно. Он уже многое мог вспомнить: как сразу по приезде в Куйбышев отец повел их с мамой в ресторан. После трех недель в теплушке они сидели за столом и ели из настоящей посуды; и ещё из хорошего – деда с бабкой и счастливую жизнь в Киеве, а из плохого – бегство, Дарницкий мост, как чуть не умер, хотя чего плохое-то вспоминать! А вот ещё хорошее вспомнил: отец устроился на авиазавод и однажды достал кусок сала. Его ели долго, отрезая раз в день вечером по лепестку. Тогда сытнее жили, а потом опять голодно. Однажды по дороге на фронт заехал к ним мамин родственник. На довольствие его ещё не

поставили, и Рахиль отдала ему мешочек сухарей в дорогу – всё, что было.

А недавно, тоже перед холодами, он впервые прокатился на машине ЗИС. Это когда прошёл слух, что сдали Москву, и все, кто мог, кинулись на вокзал попытаться уехать хоть куда-нибудь, может, в Ташкент. На привокзальной площади увидел мальчик огромную толпу рвущихся к единственному поезду цыган. Втиснуться в вагон давно уже было невозможно, и мужчины подсаживали цыганят в окна, те втаскивали за собой тюки и чемоданы, а следом через окна лезли взрослые. Поезд был переполнен, а толпа осаждающих его цыган всё равно занимала весь вокзал и привокзальную площадь.

- Даже невозможно представить, – сказал отец, вспомнив об этом, - как ехали люди в том поезде. Что это был за поезд.

Абрам ушел чего-то добиваться, узнавать, и вернулся спустя несколько часов. Он нанял ЗИС и сказал шоферу: «К авиазаводу» - и они вернулись в барак.

Мальчик ждал маму. Ждать надо было целый день, зато вечером она приносила иногда большую котлету от своего обеда: мама съедала суп и гарнир, а котлету приносила сыну. Когда в столовой готовили мясо, его давали совсем маленький кусочек – нести домой не стоило, другое дело котлета! И ещё можно подумать о вкусном – бабушкином печенье из пшеничной муки. Лана привезла из Киева мешочек пшена: его мололи на ручной мельнице и пекли по праздникам печенье – самое вкусное на свете!

А встретили Рахиль с Нехамой приехавшую старуху-мать упрёками: как посмела она оставить отца! Говорили, что простить ей не смогут. Лишь после освобождения Киева, узнав о гибели Боруха, дочери плакали и просили у матери прощенья. Лана простила.

...К концу зимы мальчику сшили зимнее пальто и шапку из шинели, и купили валенки. Он вышел из барака на почти весеннее солнце, уже подтопившее снег, и побежал по улице. Мальчик многому научился за зиму: сосед-плотник показал, как обращаться с пилой и молотком, а главное он научился быть один. Но теперь это умение ни к чему. Можно найти ребят, ходить в школу и бегать за пирожками. Он вернулся домой счастливый, только валенки промокли насквозь.

...Уезжая из Куйбышева на фронт, рассказал солдат, что двое стариков из Киева – дальняя родня – оказались в деревне под Уфой. Жить им не на что: работать уже не

могут, вещи, какие сумели захватить и дотащить, обменяли на продукты в первые же дни. Рахиль с Абрамом собрали немного денег, но перевод дойти не успел: старики умерли от голода. Как умерла, рассказывали, в Ленинградскую блокаду дальняя свойственница, старуха-еврейка, отказавшаяся от некошерной пищи. Но кто скажет: евреи, мусолящие в голод кусок свинины, и не выдержавший, съевший в поезде скопленный за несколько месяцев пайковый шоколад мужчина, едущий к жене и дочке (не стану вспоминать, кто это был), равно преступили перед еврейским Богом?

В казахстанском селе оказались друзья семьи: вдова репрессированного адвоката Дора с дочкой Мурой. Дора устроилась разносить почту. Хоть и впроголодь, прожить на почтальонскую зарплату было можно, но заболела и умирала Мура, а на новое лекарство сульфидин денег не было, и продать нечего, потому что дорогой их обокрали. И ни родни, ни адресов уехавших в эвакуацию друзей.

Гимназическая подруга Доры уехала в Уфу. В поезде ей попался разговорчивый попутчик, объяснявший, как им всем повезло, что везут их в Башкирию, а не в совсем голодный Казахстан, а то съездил он было в одно село, так там даже лекарств не достать – не купить. Он-то вернулся, а одна женщина с дочкой там осталась, да их еще обокрали в дороге. Поняла гимназическая подруга, что разговорчивый попутчик сам Дору и обокрал, и ещё почувствовала, что пропадут они в том казахском селе. Побегала женщина на почту и отправила «до востребования» всю полученную накануне зарплату по услышанному от попутчика адресу. Почтальон Дора на почте случайно увидела перевод и дочку спасла.

Я дружил с сыном Муры. Когда у нас родились дети, они тоже играли вместе. А потом эта семья уехала в Америку, откуда мало кто пишет письма. Почти сто лет шли рядом две семьи и разошлись. Но я знаю: из некоей точки пространства уже видны другие жизни, когда-нибудь пересекущиеся с моей, и кому-то выпадет понять смысл наших встреч и расставаний. Хочется, чтобы смысл существовал, и мы, задумывающиеся о нем, пронесли в себе такую же веру в правильность наших поступков, как прадеды, которым достались куда как худшие времена.

Как радостно было однажды в Уфе, когда девочка шла с ведром воды в свой новый дом на самой городской окраине

над рекой Белой, и на улице её окликнул молодой лейтенант:

- Девочка, ты из Москвы? Ты не Дины Григорьевны дочь? А я твой двоюродный брат Яша. Я вас всё-таки нашёл!

Он никогда не видел своей московской родни, только тётку Дину мельком, но узнал, что они эвакуированы в Уфу, а сам учился там же в артиллерийском училище. «Найду», - решил Яша перед отправкой на фронт. Он поделил город на квадраты и ходил по улицам, спрашивая прохожих о семье из Москвы, заходил в каждый дом. Веселый двадцатилетний Яша-артиллерист. Он радовался, что может помочь родне, и оставил буханку хлеба, кулечек сахара и армейский пластмассовый набор для зубной щётки и порошка с выдавленной на боку звездой. Когда уходил, всё смеялся над женскими страхами, говоря: «Или грудь в крестах, или ...» Погиб он скоро, даже письма с фронта написать не успел.

В 1942-м Абрам с Рахилью перебрались в Ульяновск. Мальчик не запомнил, как плыли на пароходе, но однажды утром он увидел высокий берег, весь в зелени, сквозь которую торчали трубы над крышами. Отец нанял подводу, и она неторопливо загрохотала по уходящей вверх улице. Орала петухи. Отдохнувшие за ночь собаки рады были обляять ранних прохожих. Мальчик почти забыл о войне, ему показалось, что он в Киеве, так похожи на киевские были крутые лестницы, дома с палисадниками по склону, стук колёс по брусчатке.

Абрам снял комнату у одинокой старухи, и зажили плохо, голодно, хотя в школе давали завтрак: кусок хлеба с ложечкой сахарного песку сверху, и чай.

- А в Уфе не давали школьных завтраков, - сказала мама, - зато был цирк.

И в Ульяновске был цирк, вернее, однажды в городском парке появилось шапито, рядом выстроились клетки со зверями и цирковые фургончики. В Киеве мальчик не успел сходить в цирк и теперь не представлял, как жил без ярких красок шатра и костюмов, запаха арены, дрессированных животных, криков клоунов. Тем временем на площади отгородили пространство под аттракцион «говорящая голова»: женская голова лежала на блюде, поворачиваясь из стороны в сторону, а мальчик был счастлив, сразу забыв все окружающие напасти. Он не замечал дыр в стенах шапито, через которые просачивались безбилетные пацаны, не видел осыпавшуюся позолоту заслуженного реквизита,

латаные трико, тощих лошадей. Видно, бедная провинциальная труппа много поездила по волжским городам. Но понятно это стало уже взрослому человеку годы спустя, а тогда ничего прекрасней не было.

Если из парка выйти на площадь, можно дойти до магазина «Спортовары», в котором ничего не продавалось, но на витрине стоял велосипед, и было разбросано несколько кожаных футбольных мячей. Перед витриной хотелось простоять целый день, а если бы мальчика научили верить в Бога, он попросил бы у Него футбольный мяч, но Бог не дарит мячей.

Мальчик смотрит на витрину и думает не о Боге, а об отце, обещавшем покатать их с мамой на лошади, и это случится скоро, ведь отец заведует конным двором военного треста и даже распоряжается, кому из начальства какую лошадь прислать. Хозяйство у Абрама было разнообразное: лошади, мулы, ослы и один верблюд. Верблюда запрягали в повозку, а зимой в сани, и полагался он директору. Как-то верблюд заболел, лошади и мулы оказались в разгоне, и Абрам прислал директору осла. Когда директор подъехал на нем к учреждению... Абраму этого он так и не простил.

Лето, осень, зима, весна, лето: городские сады и палисадники облетают и зацветают опять, а из Москвы уже летит телеграмма: «Вызывается распоряжение 7 треста», прерывающая ход времени, потому что телеграмма и есть само время: отправлена в 17.33, получена в 20.41, а люди уже бегут, пакут узлы и прощаются.

Из Соль-Илецка.

И из Соль-Илецка люди потихоньку стали уезжать домой. Женщины – девочка, мать, бабка – подумали-решили, что можно и им вернуться, погрузились в телегу и на вокзал, ведь скоро Победа! Они уже видели себя открывающими дверь квартиры и моющими, чистящими всё грязное, запылившееся за несколько лет. Скорее же, скорее на вокзал! Мужик погоняет, нахлестывает лошадь и опрокидывает на повороте возок. «Дурная примета!» - бормочет он, но женщины не желают слушать, собирая разлетевшиеся вещи.

Вот уже постукивают колеса поезда, скоро Рязань, а это всего 200 км до Москвы. Но в Рязани женщин высадили. Военный комендант долго втолковывал им, что у бабушки нет разрешения на въезд в Москву: у матери с девочкой

есть, а у старухи нет, что Москва на военном положении, и просто так он пустить никого не может, даже старуху, и что делать - он не знает, раньше надо было думать, и нечего лить слёзы.

Стоял январь. Женщина оставляла бабу на чемоданах и шла звонить другу мужа, генералу, а дозвонилась на третий день. Тот, обругав её, обещал помочь и выслать пропуск, хоть это и сложно.

- Кажется, всё в порядке, девочка, - выдохнула мать. - Пойдём-ка в кино.

А вернувшись на вокзал, они не нашли бабушки с вещами – её посадили на проходящий поезд и отправили назад, на восток.

- Ничего, на первой же станции её высадят, я распорядюсь, - успокаивал комендант. - Больше ничего сделать не могу.

И девочка с матерью сели в поезд и поехали на восток, обратно все втроем в Соль-Илецк. Только через несколько месяцев они вернулись в Москву.

Из Уфы.

Яков с Диной вернулись летом 44-го. Дина приехала седая и старая: перед отъездом умер младший сын Гриша. Увидев Дину, Моисей – знаменитый парикмахер Союза Писателей, всегда рассказывавший писательские хохмы, - заохал и на другой день пришёл по-соседски покрасить и причесать ей волосы, а, работая, всё больше молчал, смотря на оплакавшую сына недавно ещё красивую женщину скорбными еврейскими глазами. Он не мог её утешить, только покрасить волосы и сделать причёску.

Девочка пошла гулять по Москве. Раньше её не отпускали одну, теперь же она сходила с подругой Аней в кино. На углу у «Метрополя» их даже приняли за «девочек» - Анька ей потом объяснила. Жаль только подруга Валя поздоровалась почему-то сквозь зубы (из-за мальчишка?), а так почти ничего не изменилось вокруг: двор, подъезд, квартиры потихоньку заселяли все прежние жильцы, кроме одной девочки-немки, отца которой окрестные пионеры выслеживали, считая шпионом. В первые дни войны их вывели и увезли. Эта семья не вернулась в Кривоколенный.

А над Москвой гремели салюты. Из окна комнаты Берты Львовны их видно лучше всего. Если бы будущая жизнь была так же видна!

Москва. Крым. Юность

Ранним утром девочка сидела на балконе дворца. Стояла теплая крымская осень. В парке цвели олеандры и пахли магнолии. Но в такую рань было прохладно, и девочка куталась в толстый белый жакет. Она ненавидела этот бесформенный жакет, и чёрную юбку, и косынку на голове. Одежду выдали ей в санатории такую же, как и всем другим девочкам – выбирать не приходилось, да и мыслям о красивом платье и новых туфлях она даже появляться не позволяла. Но девочки так любят наряжаться! Её санаторная фотография в этом наряде жила долго, но не уцелела, делась куда-то. Воронцовский дворец в Кореизе – теперь санаторий им. Розы Люксембург – почти не пострадал в войну, и первую группу детей из московских больниц туда отправили уже в 45-м. В одной из зал поставили восемь кроватей, и девочки смотрелись по утрам в графские зеркала, а вечерами сидели у камина, поджаривая в нем сэкономленный за обедом и ужином чёрный хлеб – с едой было совсем плохо. После завтрака, хотя и предупреждали, что в окрестностях небезопасно (повсюду валялись патроны, ещё не были до конца обезврежены минные поля), дети поздоровее уходили длинной дорогой к морю и в сторону Ай-Петри, а девочка садилась на балконе с книжкой – такие путешествия ей были не по силам.

В один из дней увидела девочка вдали на дороге колонну, движущуюся вверх к санаторию. Это были немцы. Их гнали на какую-то стройку, и девочка слышала надвигающийся звук сотен башмаков, смех и гул голосов. Дорога проходила как раз мимо санатория, и девочка, оцепенев, ждала. Она сразу представила себе этих веселящихся молодых ребят с автоматами на шее, выволакивающими её из подвала с криками «юдише швайн!».

Ещё издали немцы заметили девочку на балконе. Колонна была далеко, и крики немцев сливались. Но вот они уже под балконом. «Фройляйн! Фройляйн!» - долетали слова, а кто-то радостно замахал руками.

Поворот – и стихло всё, скрылась колонна.

Мальчик, как обычно, был дома один и ждал отца. И в который раз вспоминал счастливую довоенную жизнь у бабушки в Киеве, двор и тетю Броху, жившую в местечке, куда они долго-долго ехали с бабушкой, причитавшей над ним, одетым в красивый новый польский костюмчик (подумать только – в польский заграничный костюмчик!): «Ах, Ромэле, Ромэле!» Только мальчишки дразнили его «буржуй», но все быстро забывали о костюме, ведь во дворе была всегда закрытая таинственная дверь, за которой, как говорили, жил настоящий царский генерал с женой генеральшей. Эта дверь в дальнем конце двора пугала, но любопытство всегда оказывалось сильнее, и все по очереди бегали заглянуть в генеральские окна. Сквозь плотно задернутые занавески ничего видно не было, но мальчишки залиvisto врали друг другу о подсмотренной жизни странных соседей. По правде сказать, старики почти не выходили, а на любопытных мальчишек тем более не обращали внимания.

А ещё в подвале по соседству жила семья старых правоверных евреев. Они зажигали по субботам и праздникам свечи и долго молились, надев смешные одеяния, тоже не замечая в окнах приплюснутые мальчишеские губы и носы.

А ещё в деревне у тети Брохи он, маленький, впервые увидел лошадь, такую огромную, что дух захватывало, и поначалу он думал, что это и есть слон. Дед ухмылялся в усы, радуясь детскому изумлению, а потом сказал: «Вот подрастешь, я тебе жеребенка подарю!» Мальчик страшно захотел сразу вырасти и иметь собственного жеребенка, и очень старался расти все предвоенные годы.

Потом началась война. В 44-м мальчик как-то не думал, не знал, что стало с его Киевом, двором и местечком Базар.

Поезд в Крым шел долго и нервно. На остановках взрослые бежали ругаться с начальниками станций и искали кипяток. Вагоны лопались от заткнутых повсюду узлов, баулов, перевязанных веревками чемоданов. В Москве уже начинались холода. На Курском долго не подавали состав, и девочка успела замерзнуть. Провожавшая ее мама, усадив девочку на чемодан, все старалась поплотнее затянуть ей шарфик. Другие матери беспокоились и то и дело отбегали что-то выяснять. Подходили опоздавшие, и начиналась переключка и сверка списков. Потом опять пересчитывали детей и чемоданы, по невесть какому разу втолковывая каждому ребёнку номер его вагона. Но когда состав всё-таки

подали, началась привычная ещё по войне давка: все пихали в вагоны эти самые непомерные узлы, оттесняя ими соседей; но погрузились благополучно, и поезд тронулся, таща равнодушных больных детей и задёрганных взрослых.

Весь прошедший год девочка болела. А ещё ей занесли инфекцию, и врачи боялись гангрены. Но всё обошлось. «Счастлив твой Бог», - сказал старик-хирург, и ногу ей не ампутировали.

У девочки была боковая полка, и всю дорогу в окне она следила за одинаковыми выгоревшими полями, перемежаемыми черными остовами деревень. А на станциях стояли бабы и мужики, провожавшие угрюмым взглядом зелёные облупившиеся вагоны, катящиеся на курорт. Девочка слышала даже ненавидящее: «У, буржуи!». Однажды на перрон вышла соседка по вагону, сказавшая по секрету, что мать велела ей надевать два платья одно на другое, чтобы скрыть худобу. Выйдя, девочка жалась к тамбуру вагона, услышав это ненавидящее «На курорт едут!», но стоявший мужик посмотрел на неё и сказал: «А ты езжай, тебе надо на курорт».

В Симферополь приехали рано утром. Поезда, кажется, не ждали. Выгружались опять суматошно и долго, покрикивая друг на друга, спеша куда-то, боясь не успеть. Избавившись от узлов и баулов, вагоны стояли сдувшиеся, переводили дыхание, отвыкнув от невоенных звуков.

Окунувшись в мягкое тепло, дети возбуждённо озирались, ожидая сразу чего-то неожиданного и прекрасного. А взрослые опять привычно ушли ругаться с местным начальством и добиваться автобусов до побережья. От долгого пути никто не устал, привыкнув за войну к тянущимся в эвакуацию, бывало, три, а то и четыре недели, эшелонам. Дети рвались немедленно ехать дальше, теребя задерганных дорогой сопровождавших их тёток: «Ну, когда же поедем?» Маленькие канючили, опять и опять расспрашивали о море счастливых, видевших его до войны. Только мало кто видел, и ребята постарше отгоняли мелюзгу.

Они ждали уже несколько часов, и взбаламученные по приезде мальчишки приуныли, начав даже перешептываться, не отправят ли их обратно в Москву. Хотелось есть, но припасенная в дорогу еда закончилась; дети жались друг к другу, с опаской поглядывая на пробежавших по вокзалу военных – кто их знает!

Но вдруг возник деловитый начальник санатория, с облегчением выкрикнувший: «Подъём, ребята! Развозить будем по разным санаториям партиями. На переключку становись!» После сверки списков первая группа вышла на привокзальную площадь, где уже стояла колонна автобусов. Когда рассаживались, и опять началась суета у дверей, никто не ныл, стараясь просто побыстрее устроиться. Тётки облегченно вздохнули. Поехали!

Они выезжали из города медленно, под долгими взглядами немногочисленных прохожих. Когда город остался позади, все прилипли к окнам, впитывая запахи южной земли, вглядываясь в незнакомые цвета. Показались горы, автобусы въехали на горный серпантин. Бои здесь прошли недавно, и на перегороженной камнями дороге расчищены были только узкие проходы на одну машину. Колонна аккуратно огибала завалы, тряслась на камнях и упорно ползла, ползла к морю. Мальчишки опять притихли. От вида ущелья под колесами стало не по себе. «Знаешь, как тут автобусы грохались, - полусшепотом рассказывал один, - вот не справится шофер с управлением – и ага; тут внизу полно автобусов валяется». «Тише вы, - зашикали девчонки, - и так страшно. Лучше смотрите – вон уже море видно». Море?! Все враз замолчали и кинулись к окнам. У горизонта показалась узкая серая полоска. «Ура! – заорали во всех автобусах, - Море! Вон, смотрите! Ура!» «Успокойтесь, дети. Немедленно сядьте на места! - всполошились и засуетились тётки, но их никто уже не слушал. Море.

...А в один из дней на улице Чкалова появились пленные немцы. Их пригнали по утренней пустой Москве солдаты с винтовками наперевес. Они заняли недостроенный выходящий на Садовое кольцо дом. Сразу же подвезли доски: немцы обустроивались. Несколько дней стучали молотки и скребли пилы, наконец, все оконные проемы были забиты, а двор оказался перегорожен забором. Работали немцы педантично, лазеек себе не оставляли. Прибегая из школы, мальчишки взбирались на забор и смотрели на катящиеся туда-сюда тачки, как размещивается раствор в корытах, ходят по лесам немцы под равнодушными взглядами конвоиров. А в воскресенье вечером солдатня немецкая играет на губных гармониках, курит и посматривает на мальчишек.

Прошло немного времени, и кое-кто из немцев стал просачиваться через забор. Солдаты смотрели на это сквозь

пальцы: давай, добеги до фатерланда! Им не хватало жратвы и курева, денег не давали, и как-то пожилой маляр расположился посреди двора, выложив на землю пару кусков фанеры с нарисованными на них строительными красками картинками. Столпившимся обитателям бывших конюшен немец долго пытался втолковать, чего он хочет взамен, а когда убедился, что никто из мужиков и баб не понимает великого немецкого языка, наконец, выдал из себя: «Клеп! Булька! Цигареттен!» Его поняли, желающие нашлись, и Пауль стал приходить каждое воскресенье.

Однажды бабушка Лана Шмулевна, проходя мимо, что-то пробормотала на идиш. Услышав эти похожие на немецкие слова, солдат увязался за старухой, быстро-быстро что-то объясняя или рассказывая, что делало его речь совсем непонятной для старой еврейки. С тех пор, завидев бабушку Лану, Пауль радостно ей кивал, изображая дружелюбие всем своим видом. Жалкий, презираемый немцами идиш казался потерявшемуся в Москве маляру почти родным, мостиком в довоенный мир, где было место и евреям.

- Я всегда любил евреев, - Пауль говорил медленно, повторяя отдельные слова, чтобы его поняла и старуха, сующая ему кусок хлеба, и пацан, сбегавший за папиросами. - Мы ведь, солдаты, не расстреливали, этим занималось СС да местные полицаи. А до войны у меня был сосед еврей.

Мальчик слушал прихлёбывающего чай немца. После криков инвалидов-фронтовиков в трамваях и магазинных очередях, что, мол, все евреи войну просидели в теплом и сытом Ташкенте, и никто на фронте еврея в глаза не видел, - эти угодливые слова пленного были приятны, и Паулю наливалась ещё чашка. А тот говорил, что любит детей, и у него два сына, и во всем виноват Гитлер. А несчастная еврейская семья сидела вокруг, ничего ещё не зная об Освенциме и Бабьем Яре, вспоминая оставшихся в Киеве родных.

1947 год. Книги

Над Москвой стоял 1947 голодный и нищий год, памятный щуплому мальчишке тем, что однажды утром он хлопнул дверью подъезда и будто впервые вышел в город. Он шёл по Шмитовскому проезду к Красной Пресне, вспоминая бывший у него пару лет назад велосипед — подарок вернувшегося из Германии тёткиного мужа. Велосипед украли, когда он стоял в очереди за хлебом — сам, конечно, виноват. Только другие, уже не велосипедные мысли с

недавних пор гнездились в голове, а ноги вышагивали путь, который станет его путём на многие годы: по книжным магазинам, развалам и магазинчикам. Путь, оказавшийся почти бесконечным, ведь, принося домой новую книгу, мальчишка каждый раз убеждался, что она — не та единственная, а на новую надо ещё денег накопить.

Книги после войны стоили дёшево, но денег совсем не было, особенно у пацана. Отец его сам ничего не читал, поэтому книги в доме появлялись случайно, например, когда мать устроилась бухгалтером на завод и начала приносить их из оказавшейся неплохой заводской библиотеки. Было ещё “Детство Тёмы”, вручённое в эвакуации в Ульяновской школе “за успехи и примерное поведение” во втором классе, да одно время жила в доме “Война и мир” – четыре изящных томика неведомого издания, затерявшиеся при переездах. Любимое, зачитанное “Детство Тёмы” уцелело: деревянная, ломкая, коричневая бумага, выцветший переплёт, похвальная надпись. Книга была знакома до буквы, любима до штриха на грязноватых гравюрах, а потом таким же знакомым стал путь по улицам и переулкам от букиниста к букинисту, от стеллажа к стеллажу, так что уже можно было оглядывать полки и витрины одним быстрым взглядом, отмечая редкие перестановки или новый корешок.

Когда ходишь одним маршрутом, изменений, кажется, и не происходит вовсе. Город тогда менялся не скорее книг на полках магазинов. Дома ветшали день ото дня, облуплялись, а потом их лениво красили. Или вот пройдёшь по улице через месяц, а знакомый домишко и вовсе снесён. Как замеченная обывателем болтавшаяся много дней на ниточке пуговица на сюртуке Пушкина, в конце концов оторвавшаяся. Кто б ту пуговицу заметил, кабы она не пушкинской была? Дома незаметней, одному кому-то и памятни.

Ему было 14. Он вышел из дому, чтобы пройти из одного книжного магазина в другой по мутным послевоенным московским улицам. Ступенька вниз, лестница вверх – букинисты вжимались в стены домов, забирались в их недра, в полуподвалы, отыскать которые удавалось лишь по рассказам, или случайно наткнуться, удивившись, как это здесь ютится магазинчик. Но вокруг этих гнёзд пугаными птицами вились люди, стараясь казаться обыкновенными, переговариваясь, споря. Сразу понять их речь было нельзя, - лишь постояв, потолкавшись, перемещаясь от прилавка к прилавку вместе со всеми. И мальчик хотел влиться в это

броуновское движение, смысл которого понятен, если стать его частицей. Хотел, потому что был один. Мальчишка не понимал, что у прилавков толпятся такие же, как и он, одиночки, выдавленные народной гущей в эти углы. Когда народ распознаёт своего врага, он монолитен, наделён безошибочным нюхом, общая идея движет им. Интеллигент-книжник на Руси всегда враг, потому что он слишком близко, потому что вроде жалеет народ, отечески журит за подлость и хочет учить, считая себя, тем не менее, чем-то обделённым, истинной верой, например. Да только народ чует культурную прививку обострившимся звериным чутьём: не из одной, мол, бутылки водка у нас в стаканах! Желающий может, конечно, воскликнуть вместе с одним старым книжником из мужиков, много своих собраний потерявшим, что и он служил своему народу. Что ж, покричи! А вовлечённый уже в книжную идею мальчишка, изгой, узнавший новую, может быть, спасительную идею (нет, сектантскую, отбрасывающую на окраину жизни), неумолимо двигался к тому краю, где и он окажется врагом, ржавчиной в народе. Ату его!

Он шёл. Москва виделась ему Александрийской библиотекой с хранителями, ещё детьми, окунувшимися в неё и оставшимися в глубине до конца. Букинисты – эти сторожа и оценщики невостребованного знания, рассеявшиеся по подвалам-углам-закоулкам, не догадываются пока о гибели всего через несколько десятилетий лелеемых ими листов бумаги, когда в невидимом варварском пожаре закружатся и исчезнут инкунабулы, и бумага верже, и зелёный марокин, и чёрные буковки. Новая Александрийская библиотека сгорит дотла и некому будет повздыхать о ней, незамеченном чуде света, потому что хранители вымрут, сгорят с каждой буквой, вместе со смешным китайским изречением: “живопись живёт триста лет, каллиграфия – пятьсот, литература бессмертна”. Ха-ха!

Китаец думал о смерти, а одна американская поэтесса сказала, что “детство – это страна, где не знают о смерти”. Кто ближе к истине для детей войны?

Мальчик стремился к ждущим его на Арбате книжным развалам и соображал, как лучше дойти туда: переулком мимо театра Вахтангова или сразу до церкви, мимо дровяных складов. «Мимо складов!» – решил он наконец, и заспешил, держа свежеприобретённую книгу подмышкой своей двухцветной куртки. Куртку сшили недавно из кусков

чего-то уже выношенного отцом. Такое старьё было у всех, и портным ничего не оставалось, как придумать особенную лоскутную моду. Сочетания оказывались замысловатыми: это получилось серо-синим: серые воротник и рукава, а перёд и спина – синие. Совсем плохо было только с ботинками, но заплатанная обувь и перешитые из отцовских брюки с причудливой курткой не выделяли бы из толпы, не выдёргивали бы из неё присосками ненавидящих глаз, кабы не предательские очки, да и весь интеллигентский облик. Любая крикливая баба и пьяный инвалид знают, что ты изгой. А теперь ты хочешь прилепиться к другим изгоям — с книжками, в которых всё равно не прочтёшь, почему всё так в Москве в 1947-м голодном и грязном году. Может, оттого, что ты – незаконное дитя в этой истории и культуре? Ведь не признало русское племя своими за всю его историческую жизнь никого, кроме завоевавших его татар, и никого уже не признает.

Бабушка Лана бормочет по-еврейски, а мальчик сидит, пьёт чай и пока ещё понимает её.

Не понимает он большой пятнистой картины на стене арбатской комиссионки с женщиной и фиолетово-коричневыми цветами. Внизу картины значилась ничего не говорившая мальчику фамилия Коровин, а вот цена – 4 тысячи – говорила много: это были три немаленькие отцовские зарплаты. Но картина притягивала к себе, и мальчишка опять шёл к ней, висящей уже много месяцев, дорогой и никому не нужной.

Он летел по знакомому арбатскому переулку, удивляясь изменившимся с последнего похода домам по обеим сторонам. Некоторые казались по-новому выкрашены, других и вовсе не оказывалось на привычных местах. В конце переулка, не дойдя Собачьей площадки и уткнувшись в забор стройки, пришлось свернуть налево. Заблудиться он не мог, зная здесь все проходные дворы и сквозные подъезды, и вышел прямо к магазину, ожидая, что не узнает его или даже не найдёт. Но всё осталось прежним: полумрак, витрины, не висела только картина, и к прилавку нагнулся, отразившись в стекле, не худой подросток, а мужчина с залысынами, которому достаточно было мимолётного взгляда на полки, чтобы отметить малейшие изменения на них и поспешить дальше. Улица Коминтерна. Он (подросток? мужчина?) едва успел до обеденного перерыва вскочить в крохотную – метра три глубиной – лавку почти на углу, где умещался всего один стеллаж и двое покупателей.

Продавщица уже перевернула болтающуюся на двери табличку надписью “обед” на улицу и откровенно выпроваживала всё равно ничего не собиравшихся купить людей, отчего-то зависших над книгами на прилавке. Наконец и они вышли, дверь захлопнулась, подтолкнув выходящих потоком воздуха. По инерции отойдя несколько шагов от порога, мужчина оглянулся и уже не увидел ни двери почти на углу, ни магазина, ни даже названия “Улица Коминтерна”. И будто кто-то спросил: “Где ты?” Мальчишка ли увидел вдруг своё будущее или, неосознанно отмотав назад кусок жизни, мужчина сумел прожить какие-то часы в прошлом? Но дальше, дальше...

Ещё мужчина вспомнил, как много раз, сворачивая на улицу Герцена перед “Рыбой”, он утыкался глазами в вывеску “Платная библиотека”, куда всякий раз собирался зайти, но всё как-то не получалось. Мужчина шёл вверх по улице Герцена к последнему на этом кругу букинистическому и уже не удивился, не обнаружив его. «Ничего, – подумал он. – Всё равно тысячи пустых глаз скользят по корешкам настоящих книг, прекрасных изданий (как его собственные глаза когда-то давно по картине Коровина), а тысячи рук берут другие книги, не существующие для него». Мужчина пошёл назад в сторону Красной Пресни единственным путём, несуществующим уже Кречетниковским переулком, чтобы вбежать в комнату на Шмитовском, держа подмышкой только что купленную книгу.

Пятидесятые. Чертков

Иногда думаешь, что и вспомнить-то нечего, а, оказывается, просто надо задуматься о людях и событиях, когда-то оказавшихся значимыми для тебя. Потому что жизнью ушедших жалко: незаурядные ведь люди были, а умерли – и будто облачко в небе растаяло. Но судьбы их, встречи с ними, даже несколько услышанных фраз оказались важными, хотя лишь коснулись меня.

Когда я немного подрос, отец стал рассказывать мне о своём детстве, вспоминал послевоенную Москву, учёбу в библиотечном институте. Я только начинал кое-что понимать, вбирать понемногу через него историю и вообще жизнь. А он называл незнакомые имена; издали, когда мы гуляли по городу, показывал интересных и существенных для него людей: какого-то грузчика из книжного в Столешниковом переулке, оказывавшегося племянником дореволюционных известных издателей Сабашниковых (я

уже что-то слышал о них), или старика-книгоношу с перевязанным верёвкой мешком книг на плече. Этот необычный букинист выбирался на Кузнецкий Мост – центральную книжную «толкучку» - с дальней подмосковной станции, таща в своём мешке разрозненные тома соловьёвской «Истории России» или не продававшуюся в те годы Библию. Теперь-то я знаю, что для ребёнка может значить мимолётная встреча, всего пара слов. Это – как метеор в небе, никого не задевший, но светящийся след и воспоминание о себе оставивший.

Важнейшей из дружб отцовской юности оказалась с Лёней Чертковым. Он чаще прочих возникал в рассказах, а я много лет пытался понять, почему та дружба навсегда прервалась и люди разошлись, но так и не понял до конца. И ещё годы ушли на осознание того, где был миф, где – подлинная жизнь, хотя понимание – всего лишь взрослая иллюзия.

Чертков (канву биографии которого теперь хоть по «Википедии» узнать можно: вот семья, библиотечный институт, первый послевоенный кружок неофициальной поэзии, лагерь, учёба у Лотмана, эмиграция, стихи, статьи) в рассказах отца представлял старшим товарищем и бесконечно много знающим наставником. Это он привил юноше, внимавшему Учителю, литературные вкусы и предпочтения. Однако в литературный кружок Черткова – главное явление в том времени и пространстве – отец был не вхож, потому что не писал стихов, так и не выйдя за границы своего библиотечного бытия. Он без горечи и тени сомнения заявлял, что способностей писать хоть прозу, хоть стихи, у него нет. После смерти отца я, действительно, не нашёл в архиве ни единой сочинённой им строки, кроме чемоданчика писем невесте. Впрочем, по молодости и недомыслию я многого у отца не спросил и стал складывать мозаику того времени слишком поздно. Да и какую информацию можно было найти в отцензурованные 80-е? Про Черткова что-то более существенное узнать долгие годы не удавалось. Однако, листая новую «Лит. Энциклопедию» (старой называли изданную в 30-е), обнаруживая статьи, подписанные его именем, отец демонстрировал их мне и удовлетворённо приговаривал, что знатоком поэзии Серебряного века (как и многого другого) Лёня был всегда. В этих словах звучала гордость за друга и, теперь понятно, удовлетворение от того, что сам отец в течение нескольких лет был от него совсем близко.

Уже много позже я прочитал мемуары переводчика Андрея Сергеева, входившего в тот литературный кружок, потом - пару страничек воспоминаний жены Черткова. Я выискивал между весьма скупыми словами подробности его жизни, чёточки характера, изучал лицо на считанных фото. Только мало что прибавило это знание. Я долго не мог понять, что же, на самом деле, хочу представить, чего недостаёт мне в отрывочных свидетельствах, в биографической канве? Ну вот, наконец, и сформулировал: мне неосознанно хотелось туда, в тот кружок, к оказавшимся такими незаурядными ребятами (одни А. Сергеев с С. Красовицким чего стоят!), и слушать Черткова в пространстве комнаты на Большой Бронной, где они собирались. У отца, бывшего рядом с их миром, этого ощущения взять не удалось, а в моей жизни ничего подобного не предполагалось, да и не случилось. Потом я осознал ещё, что у отца с Чертковым сложилось иное общение, нежели у кружковцев, неравноправное, снизу вверх. Время то было: начало 50-х, излёт сталинщины.

А Лёню Черткова посадили несколькими годами позже – в 57-м, вегетарианском, хрущёвском не знаменитом репрессиями году. Удивляться не стоит: нашего родственника, старого еврейского писателя Мордехая Вайсмана, посадили тогда же. Семидесятилетний Вайсман отсидел три года, а молодой Чертков пять.

Хоть год тот посадками не прославился, статья Черткову досталась классическая - антисоветская агитация и пропаганда. Отец вспоминал, что сел Лёня за анекдот. Говорил, что кто-то на него донёс. Но теперь я не уверен.

Вайсман же приезжал в Москву подписывать письма в защиту еврейских писателей, обвинённых в пропаганде сионизма. Ходил к Эренбургу с Казакевичем (все просители-евреи к ним ходили), но те не подписали. И старик сам сел по «сионистской» статье, а узнал я об этом деле через много лет от деда, услышавшего про Вайсмана, как тогда говорили, по «вражьему голосу» и, кроме того, что он - родственник жены, ничего толком о нём не знавшего. «Все они – банда!» - как всегда закончил дед пересказ тех новостей фразой, услышанной ещё от своего отца, полуграмотного сапожника, повторявшего её после 1917-го года; впрочем, кажется, я это уже вспоминал. О Вайсмани – к слову пришлось, но ведь и его вспомнить надо!

Семидесятые. Чужий

Редко вспоминают Черткова, а имени Чужий будто и вовсе нет. Что ж, не пишут о слишком многих! Бог весть, кому повезёт прорваться через молчание. Но, бывает, случается чудо, и люди заглядывают в прошлое, а там - те, чьё однажды сказанное слово наполнило душу, повернуло взгляд.

С отцом в театр я ходил редко. У него было что-то вроде клаустрофобии – в театрах он сразу начинал задыхаться. А тут неожиданно собрался и позвал с собой меня. В театр Маяковского на «Беседы с Сократом» с Джигарханяном и Немоляевой. На тот спектакль билеты обыкновенному зрителю достать было сложно, но, значит, кто-то помог. А перед выходом отец сказал: «Познакомишься с удивительным человеком – последним футуристом». Вот, оказывается, ради чего взял он меня с собой!

Мне было лет четырнадцать. Читал я тогда всё подряд, кто такие футуристы - в общих чертах представлял, и интерес выказал. Перед спектаклем к нам подошла отцовская сослуживица Эля (не она ли с билетами помогла?) вместе с приветливым стариком. Тот ласково смотрел на меня и сказал что-то не по-русски. Я понял, что это идиш, хотя языка не знал, но изредка слышал, как на нём переговаривались дед с отцом. Вернее, дед говорил, а отец подавал отдельные реплики, позже рассказав, что оба родных языка: идиш, на котором говорили в доме, и украинский – язык двора и школы, он почти забыл, увезённый девятилетним из Киева в 41-м.

- Не понимаешь меня? – сокрушённо покачал головой старик. – Плохо! Это ж твой язык, его надо знать! Я вот украинец, а родом из Умани и язык знаю; все друзья на идише говорили: и Лейба Квитко, и Шлоим Верзуб... Тебя как зовут?

Услышав мою фамилию, старик заулыбался пуще прежнего: не родственник ли?

Старик и оказался последним украинским футуристом. Я, разумеется, ничего прежде не слышал ни о группе неизвестных мне, но, оказывается, легендарных «безмежников», ни о написанном им приметном романе... Звали старика Андрій Антонович Чужий. Презрев несколько десятилетий, он будто вышел прямо из 20-х годов. Как они познакомились с отцовской сослуживицей Элей? Не узнать уже. Но после той встречи в театре Андрей Антонович (всё-

таки на русский манер его называли) стал в нашей жизни как-то присутствовать: мы обсуждали становившиеся известными факты его биографии, да и встречались с ним два раза в последующие несколько лет. Он смотрел на меня бесконечно добрым взглядом, казалось, что-то неизвестное мне понимая, вспоминал еврейские школы, где преподавал до самого их закрытия в 34-м. Качал головой, вроде бы пеняя мне на незнание идиша...

Однажды отец принёс домой книжечку стихов. Это были стихи А. Чужого, чудом изданные в 80-м. Почему чудом? Андрей Антонович не предавал себя всю жизнь: его стихи так и остались футуристическими, традиция не прерывалась, будто жизнь поэта текла плавной советской рекой. Но мы уже знали, что в 34-м его в первый раз посадили, и всех сроков его в ГУЛАГе набралось на 23 года. Оттуда люди выходили разными, Андрей Антонович вышел не озлобленным, верным футуристической молодости и памяти сгинувших еврейских друзей-поэтов. После лагеря он, разумеется, печатался мало, считанные разы. А книжка стихов всё-таки вышла. Он почему-то захотел, чтобы я её перевёл, передав стихи и пожелание через Элю, но я не понял украинского, а отец помочь не смог. Я, восемнадцатилетний, вертел драгоценную книжку, польщённый и мучимый вниманием, доверием и беспомощностью, пытаюсь вникнуть во вроде бы близкий язык, неожиданно оказавшийся почти непонимаемым, что здорово поколебало внушаемую школой мысль о практически едином народе.

Потом его не стало в нашей жизни. Эля, пожадничавшая дать телефон старика-поэта, умерла. И я не перевёл тех стихов. Только теперь, спустя много лет понял, что надо помнить о нём. Я немного знаю. Что-то - из пары статей, что-то - из его собственного куцега письма о друзьях юности. Плюс несколько наших встреч.

А ещё Эля рассказывала, что обратил внимание на его лицо режиссёр Сергей Бондарчук и снял в «Войне и мире» в роли конюха. Вот только в списке упоминаемых ролей и артистов я не нашёл ни конюха, ни имени поэта. Хотя, мне показалось, видел я на экране знакомые ласковые глаза.

Ужин с Эйдельманом. 1986 год

Тогда все были живы. Я сидел за столом, ел пирожки и целый вечер слушал Эйдельмана. Шёл непредставимый

1986 год. Трудно объяснить теперь, как Москва несколько месяцев шушукалась, обсуждая переписку Эйдельмана с Астафьевым. И за вкусным столом собрались ради одного из авторов, имея, конечно, о теме переписки собственное мнение – гости были людьми заслуженными и мудрыми.

Только подумать – такая скудная переписка: два письма туда, одно оттуда! Постаревшие и неожиданно горячащиеся современники ещё вспоминают её, даже поспорить могут! Хотя привычная же тема: антисемитизм, ксенофобия, судорожные попытки объясниться с пренебрегающим тобой человеком. Такое желание всегда выглядит наивным, иногда – глупым, жалким и неумелым, но никогда – бесстрастным.

Эпизод, ставший довольно надолго событием в интеллигентской среде, тем не менее, почти стёрся. Почему я вспомнил? Из-за собравшихся за столом людей, даже незначащие слова которых не хочется вычеркнуть из моей жизни, пусть для других это был мимолётный эпизод. А может, ещё и оттого, что история не закончена, ведь переписка и споры вокруг неё – не примета времени, а штрих к вековой беде.

В бескомпьютерные годы всё сколько-нибудь важное передавалось из уст в уста, а перепечатаваемые на машинках тексты переходили из рук в руки - и, как кровь, бежали неподцензурные слова по московским венам. Не до всех доходил тот поток, лишь до людей особенно восприимчивой породы, которой нет больше. Люди те растворились во времени, а с ними исчезла и шушующая Москва.

А у меня в памяти красиво накрытый стол, застольные разговоры, шумная личность Эйдельмана и свои отчаянные молодые попытки соответствовать и понять чувства и аргументы собеседников. Позже, прочитав воспоминания вдовы историка, я осознал, что не надо пытаться самонадеянно проникать в чужую душу: многого я не знал, не разглядел. Догадываться, с чем кто жил – куда ни шло, но понять...

Много лет назад это было. Восемь человек за столом. Хозяйка печёт пирожки с мясом, рулет с маком и сладкие плюшки, если остаётся тесто. Да, обычная была тема, потому что живём в России – евреи, грузины, армяне, казахи, корейцы – сколько ещё нас нерусских? Кто мы для России? Что для нас русская культура, история, литература? Кто мы в них? Ответ не один, да и примем ли мы единственный? Разве только история намекнёт, разглядев где-то вдали

разбежавшихся по миру внуков и правнуков театрального критика Кугеля, поэта Сельвинского, историка Эйдельмана. Это так, но поди истолкуй ответ, выстрой цепочку аргументов!

Вот я, в попытке найти смыслы, связываю дедов и внуков: пришли инородцы в Россию, пожили, и нет их. Будто попросились люди переночевать, а хозяева пустить пустили, да потом сами же и озлобились на свою доброту, на гостей, ставших незваными, а заодно – на весь мир.

Можно возразить: ничто в истории не связано вовсе! Но, если всё-таки есть нити, значит, найдутся в череде событий причины у следствий или даже Божий промысел, который, однако, историкам не по зубам. Учёные успешно исследуют мигрень императрицы и случившуюся по её причине войну, что тоже поучительно, но остальное – как желание разглядеть рисунок на песке и попытка увидеть на нём собственный след.

И вот вроде бы инородец пишет вроде бы ксенофобу, не спрашивая, отчего на Руси даже соседи часто чужие друг другу. Инородцу понятно: хоть триста лет живи рядом – своим не станешь. Ведь и соседняя деревня какая-то не такая! Разве можно принять, что весь мир похож на наш, да мы от него далеко?

Люди сидят за столом: рыбная перемена, мясная, салаты, пироги – так заведено в доме, и сменяющиеся гости садятся за бессменный стол. Вот тема для историка: постоянное в переменчивом мире, а константой становятся пирожки.

- Был я как-то в Ереване, - начал Марк, известный в те годы юрист. – По делам одного армянского писателя. Вечером, разумеется, пошли в ресторан, сидим – это как раз к сегодняшнему столу, – по соседству гуляет большая компания. Человек во главе стола узнаёт моего армянина, зовёт к своему столу, мы знакомимся, и после застолья уважаемый человек приглашает нас к себе домой. Писатель мне кивает, даёт понять, что надо соглашаться, не пожалеем. Мы едем, входим в квартиру, хозяин исчезает в её недрах организовать продолжение банкета, предлагая не скучать и пока ознакомиться с его библиотекой. Я тогда остолбенел: на полках стояли редчайшие книги на разных языках, инкунабулы, им не было цены, вернее, была, но невероятная! Когда мы вышли из той квартиры, писатель, ухмыляясь, объяснил: «Это директор городского рынка. Деньги вкладывает. У него на зарплате знатоки-библиографы и искусствоведы по всей стране, которые всё

это находят. Сам он, разумеется, ни языков не знает, ни в книгах не разбирается, да, кажется, в жизни ни одной и не прочёл». Вот так было когда-то в Ереване.

- А я однажды сам был армянином. Мне на какое-то мероприятие прислали приглашение на фамилию Эйдельман, - ухмыльнулся обладатель чуть-чуть другой фамилии.

Все засмеялись, выпили. Марк иногда барственно оделял чем-нибудь малоизвестным слушателей, вежливо изумлявшихся его знакомствам с интересными мира сего. Какая разница, был ли он действительно с ними знаком? В тот вечер Марк был словоохотлив. Рассказал ещё о том, как после смерти Константина Симонова, завещавшего развеять его прах над Могилёвом, где писатель отступал в 41-м, высокие власти заготовили знаменитому писателю место на Новодевичьем, а он, Марк, выкрал урну из крематория и волю покойного выполнил. Все переглянулись, пряча улыбки. От одного советского классика перешли к другому - Шолохову, к авторству «Тихого Дона», к плагиату в начале его писательской карьеры. Шолохова за столом не любили и поговорили, каким он был антисемитом. Тогда Эйдельман рассказал о декабристах-евреях, бывших особенно в «Южном обществе» в заметном количестве.

- Одного даже по первому разряду судили, - поведал историк. – А по второму и третьему многих! Книгу надо бы написать!

Но он не написал, не случилось.

- Кстати, Тоник, - спросил кто-то. – Зачем ты связался с Астафьевым?

Все посмотрели на Эйдельмана.

Я подумал сейчас: ведь сами письма-то никто не обсуждал, просто слыша в них привычный спор инородца с ксенофобом, за которым нет ничего, кроме непонимания одного и неприязни другого. Разве что кто-то из читателей стал по-иному открывать книги Астафьева; ведь по слову психолога Выготского: «дело не в содержании, которое вложил в произведение автор, а в том, которое привносит в него читатель... Содержание является зависимой и переменной величиной».

Но прошло немного лет, астафьевский последний роман заслонил все вольные и невольные грехи писателя, только вот в 86-м непонятном году издан он ещё не был. У произведений Астафьева нынче другой читатель, книги его переменялись.

Тогда за столом мне показалось, что историк на секунду задумался, как будто вдруг увидел, что все годы рассказывал не свою историю не своему народу. Он делал это замечательно, а потому разве имеет значение, какую тему выбрать? Или абсолютной уверенности в душе нет, свербит что-то, евреи-декабристы не просто так упомянуты. Ведь для своего народа он времени не нашёл.

И опять у истории находится простой ответ, может быть, он есть всегда, и я слышу его в словах поминальной молитвы над могилой человека, которому не было нужды в молитве всю жизнь, и мать свою слышу, впервые её произносящую на незнакомом языке.

Ответы... Пусть истории мнится, что она подсказывает их! Знакомую нам историю сочинили пристрастные люди, создав ещё один извилистый роман. Потому к ней тоже применимы слова Выготского о привносимом читателем и переменчивом содержании.

И над всем этим:

- Тоник, зачем?

А в ответ:

- Селёдочку и грибы передайте, пожалуйста!

- Тебе положить салат?

- Да. Достаточно.

Пустеют блюда, хозяйка вносит новые, угощая без устали, и хозяин дома смеётся:

- Мой преподаватель, профессор Перетерский, однажды, даря мне свою книгу, передал с ней записку: «Извольте принять прилагаемую книжку, но не вздумайте отказываться или, ещё хуже, благодарить. Иначе я расскажу вам один факт из стародавних времён. Была у меня знакомая старушка – великолепная кулинарка и угостительнейшая хозяйка. И когда, будучи переполнен пищей, я отказывался от дальнейшего вкушения, она неизменно говаривала: кушайте же, всё равно выкидывать придётся!..»

Вспомнил ещё хозяин дома, как однажды в начале 50-х он, семнадцатилетний, встретил на улице друга, а тот прошёл мимо, скользнув пустыми глазами по неузнаваемому вдруг лицу. От той встречи остались беспомощные подростковые стихи. Строчки спрятаны в школьной тетради, а с другом он давно помирился.

Можно рассказывать про те времена, можно поставить любую дату.

Вражда и пристрастия современников сменяются враждой и пристрастием потомков, только декорации новые.

В одной из неизменных мизансцен нашлось место историку Эйдельману. Он признался тогда за столом, что помнит, как в детстве, осознав себя инородцем на этой земле, хотел стать точкой, никем и спросил родителей: «Почему я другой?» И, получив не устроивший его ответ, -неужели оставалось всё ненавидеть, презирать, не зная, как жить дальше? Он стал жить, не зная тогда, что ответить на вопрос «зачем, Тоник?» когда-нибудь будет совсем просто.

Не вспоминал я тогда за столом, что однажды я, шестнадцатилетний, пошёл знакомиться с философом Юрием Карякиным. Память подсказала тот эпизод сейчас, когда я пишу семейную хронику и хочу понять, почему я делаю это. В прихожей маленькой двушки стоял журнальный столик, на нём открыто лежали издания УМКА-press, за обладание которыми в конце семидесятых можно было сесть лет на несколько. Помню на том столике «Дневники» Лидии Чуковской. Некоторые позволяли себе фрондировать. А пришёл я к Карякину не просто так, хотя знал о нём немного. Только то, что он – великий знаток Достоевского. Но он был первым известным мне лично пишущим человеком, и хотелось показать ему свои юношеские стихи. Он не стал их обсуждать, а подарил свою статью и напутствовал в литературу. Может быть, кто знает, то, что я сейчас пишу эти строки, происходит благодаря тем нескольким обнадёжившим словам.

Я называю себя литератором. Говорят, кто-то начинает сочинять от природы, а кто-то от общей начитанности. Я из вторых. Конечно, первые стихи я сочинил на радость маме лет в восемь, потом сочинял эпиграммы на одноклассников, потом влюбился и исторг из себя юношескую, неважно зарифмованную, но искреннюю грусть. Всё это, разумеется, не давало мне никакого права претендовать на литературное призвание, но случилось так, что всю жизнь вокруг были книги, и самой частой картинкой из моего детства был отец с книжкой. Он, истинно еврейский книголюб, с гордостью демонстрировавший мне каждое новое приобретение, ненавязчиво подсовывал почитать что-то, соответствующее его пониманию моих интересов. Домашняя библиотека, его фетиш, цель жизни и предмет гордости, понемногу становилась и моей средой обитания...

Мой дедушка и 28 корзин кошерного содержания

*(из цикла «Доставая из памяти, или Были-небылинки».
История на Песах про «тюрьму народов»)*

...Представляете, было время, когда даже про Первую мировую войну еще никто не знал – просто потому, что тогда ее еще не было. А когда говорили «идем на войну» или в газетах писали «театр военных действий» (ничего себе театр!), то имели в виду русско-японскую. Героический крейсер «Варяг», «наверх, вы, товарищи, все по местам!» и так далее. Впрочем, даже об этом, позже «прославленном в веках», подвиге еще тоже не слыхали в местечке над Днестром, откуда призывали в доблестную российскую армию моего, - тогда еще совсем молодого -- дедушку, Айзика Абрамовича Горина.

То есть идеологической (впоследствии - политической) подготовки еще не было, отвечавших за нее политработников тоже, но в армию призывали исправно. Были, кажется, полковые священники. Но уж эти к дедушке совсем не касались, да и не нужны они друг другу были. Потому, что мой дедушка, как вы уже, наверное, догадались, был чистокровный еврей, как тогда говорили «лицо иудейского вероисповедания».

Вы, может, знаете, а может, и нет, но в «человеконенавистнической» царской России никто людей по национальностям не делил и «5-й графы» (в отличие от интернациональной, человеколюбивой и гуманистической советской власти) у них не было – не дал им этого счастья проклятый строй, обидел. Люди делились по тому, кто в какого Бога верит, то есть какого ты вероисповедания. От дедов и прадедов моего дедушки никого другого, кроме «лиц иудейского вероисповедания», на тот момент в нашем роду не было.

В общем, призвали из местечка 28 добрых молодцев «иудейского вероисповедания» и повезли «на сопки Маньчжурии». Невиданное для местечка дело: с самого крайнего запада империи на самый, что ни на есть, ее Дальний Восток. Ни фига себе! Это по нынешним временам,

ежели по железнодорожной колее, больше недели, а уж тогда...

Как писал незабвенный очень талантливый антисемит Н. Гоголь: «Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь». Ну, конечно, «не три года», не надо зря наговаривать, но несколько месяцев – это точно. Тем более, чай, не пассажирский, не курьерский для начальства разного, а самый простецкий воинский эшелон; куда он денется? Что, без него война, что ли, закончится? А и закончится, так тоже не плохо...

Короче, едут они себе, едут, и тут начинают наши доблестно-добрые «иудейские» молодцы понимать, что весна уже за вагонными окнами, и дело потихоньку приближается к любимому еврейским народом празднику Песах! Ура! И все бы замечательно, но... Домашний припас, разумеется, давно кончился, а эти, конечно же, по-настоящему верующие (не то, что сейчас!) евреи за время дороги убедились, что контролеров кашрута в штате воинской команды нет, и то, чем их до этого потчевали, «кошер» мало напоминает. А если Песах, когда даже на обычный хлеб смотреть непристойно? Мясо, которым их со дня отбытия в эшелоне кормили, будем прямо говорить, в гойских документах не нуждалось. И так понятно.

Поначалу, - рассказывал дедушка, неловко чуть посмеиваясь воспоминаниям, - они как-то еще стеснялись, отворачивались, слово противное не упоминали, но... Хоть в миске и не «кошер», но есть-то хочется; что делать – стали привыкать потихоньку: молодой аппетит быстро расставил по местам необходимые параграфы воинского устава.

Но это – в дни обычные. А в Песах как? Песах – дело серьезное, это вам не шутка. Как быть? Голодать? Ну, знаете... В любой армии (а в тогдашней царской с этим было особенно строго) отказ от пищи приравнялся к бунту. Знаменитый «Броненосец «Потемкин», кстати. примерно в те же дни с чего-то похожего и начался. Причем без всяких евреев, просто мясо было «с душком». А тут вообще...

В общем, эта дружная компания евреев-земляков подступила к моему дедушке и угрюмо спросила: «Айзик, что будем делать? Мы же на Песах ихнее есть не сможем...» Примерно так звучали в переводе с родного им идиша серьезные предостережения.

Почему они пришли именно к дедушке? Объясню: родители дедушки (мои прадеды, соответственно), владели магазином; вроде, самым большим или даже единственным

в местечке, но за это я не ручаюсь. Потому дедушка ходил, как сказали бы сегодня, «в авторитете»: имеешь уважение – изволь соответствовать. К тому же он, в отличие от большинства участников памятной беседы, прилично знал русский.

В общем, куда было деваться? Народ требует! Да и дело важное! С Господом в прятки не играют. И дедушка пошел к командиру эшелона.

Командир эшелона (Встать! Смир-р-но!), полковник! Мама дорогая! Настоящий полковник! Полковник, сами понимаете, ехал в отдельном купе. А как бы вы думали? Дед объяснил дежурному офицеру, что у него дело государственной важности и, на его удивление, к полковнику пустили.

- Ну? – безразлично спросил немолодой усатый полковник, увидев неожиданно еврея в солдатской форме.

- Рядовой Горин, господин полковник, - представился дедушка по уставу. – Разрешите обратиться?

- Слушаю, - уже с некоторым вниманием сказал полковник.

- Виноват, господин полковник, но есть очень серьезный вопрос.

Полковник поднял глаза.

- Дело в том, - продолжал дед, - что приближается главный еврейский праздник Песах. И в эти дни нам нельзя кушать общую пищу, только свою. Не ругайте нас, мы ничего плохого не хотим. Но – права не имеем. Вера не разрешает. Евреи не могут нарушить запрет веры.

- Так уж и не могут? – ухмыльнулся полковник.

- Не могут, - подтвердил дедушка.

- Вот же жестоковейное племя! - даже с некоторым оттенком уважения отметил полковник. – И что делать предлагаешь?

- Понимаете, господин полковник, у нас впереди Иркутск, там есть еврейские купцы. Таким ходом добираться туда недели две или около того. Как раз к празднику должны быть. Если вы разрешите и дадите мне дорожные документы, то я сяду в пассажирский поезд, доберусь до Иркутска раньше вас, достану, что полагается, и встречу наш эшелон со всем необходимым.

Родители дали дедушке с собой немного денег, и он их берет на «особый случай», который вот и настал.

Полковник недоверчиво посмотрел на деда, вызвал дежурного офицера и велел выписать рядовому Горину «подорожную» и командировочные «на десять суток».

- Расписаться-то можешь? - спросил полковник.

- Так точно, ваше высокоблагородие, - рявкнул, совсем как русские, ошалевший от счастья дед, вытянувшись перед начальством.

- Молодец! – искренне похвалил полковник. - Службу знаешь! Приедем в часть, похлопочу, чтоб унтера дали... Хотя, ты ж на молитву строить не можешь... Ладно, иди. Всё равно молодец!

...Когда эшелон прибыл в Иркутск, его встречали две празднично наряженные подводы; на одной из них сидел мой дед в солдатской форме. А в подводах стояли 28 корзин с кошерной едой и вином. Даже миски новые не забыли положить тамошние единоверцы.

Вагон свой евреи накануне праздника драили как никогда, под каждую полку заглядывали, освободив от уборки остальных. Взводный подивился и головой покрутил: «Смотри-ка... И чего они там лезят? Будто ищут что-то...».

Дедушка рассказывал, что в первый седер у них в вагоне шел «пир горой», а их гойские товарищи с удовольствием угощались и вином, и закуской «от евреев». Дедушка утверждал, что поднимали четыре бокала. Но кто считал? Он уже был старенький, когда мне об этом говорил. Зато точно помнил, что песни пели и на идиш, и на русском, и на украинском, и на молдавском...

Когда уже все были в хорошем настроении... заглянул полковник. Дежурный офицер закричал «Смирно!», но тот махнул рукой, мол, пусть сидят. И, обернувшись к офицеру, тихо сказал: «Этих до утра не трогайте, - и наставительно, со знанием дела, добавил, подняв вверх палец: – У них праздник!» Дедушке показалось, что именно так он расслышал...

Возвращение

В апреле 1937 года Александр Куприн в последний раз свиделся с И. А. Буниным. Дело было за месяц до отъезда Куприна из Парижа, когда тот уже принял окончательное решение возвратиться в Москву. После почти двух десятков лет в эмиграции Куприн оставлял этот мир и ехал в мир не то, чтобы новый, но уже ставший для него почти чужим. Александр Иванович сам позвонил Бунину с просьбой увидеться, понимая, что это их последняя встреча.

...Они неторопливо шли по набережной Сены. Был теплый весенний день, только небо оказалось затянутым тяжелыми облаками, через которые не могло пробиться солнце. Временами накрапывал мелкий дождик, и тогда поверхность Сены покрывалась едва заметной темной пеленой, которая тотчас рассеивалась, когда дождь прекращался, и капли переставали ложиться на речную гладь.

Немногочисленные прохожие, попадавшие навстречу, не узнавали ни Бунина, ни Куприна. Им, похоже, и дела не было до этих двоих, одетых обыкновенно, даже обыденно, с зонтиками в руках.

- Зачем же едете, Александр Иванович? - вновь задал Бунин Куприну тот же самый вопрос, который прозвучал у него некоторое время назад, но так и остался без ответа.

Куприн не ответил и в этот раз. Он только тяжело вздохнул, немного замедлил шаг и вновь пристально всмотрелся в рябь воды. Словно собирался с мыслями.

- Не могу больше, - глухо произнес, наконец, Куприн. - Не могу. Хватит, отжился тут. Я ведь знаю, что скоро умру. Вот и врачи говорят то же самое. Поэтому путь для меня один - только на родину...

- Помирать и здесь можно, Александр Иванович, - глухо, но жестко отозвался Бунин. - Родина, знаете ли, при этом в размерах не уменьшится. Вы будто не догадываетесь, в какой мир возвращаетесь. Или думаете, что большевики простят вам вашу антисоветчину в «Русском времени»? Наивный вы человек, Куприн...

- Может статься, и наивный, Иван Александрович, - Куприн был сосредоточен, словно ведя разговор не с Буниным, а с самим собой. - Но мне уж не пристало бояться.

Я ведь пожил свое, многое повидал. И в Финляндии, и во Франции. И концы едва сводил поначалу, и по квартирам мыкался. Так что не привыкать. А большевики... Ну, что они со мной сделают? В подвалы Лубянки бросят? Так мне уж немного осталось.

Куприн замолчал. Молчал и Бунин. Так без слов они шли какое-то время еще.

- Понимаю, Иван Александрович, - обратился, наконец, Куприн к Бунину, - сколь смешно и нелепо выгляжу я в ваших глазах. Но вы-то сами, верно, до конца думаете здесь оставаться? Вольному воля, конечно. Вы полагаете, вероятно, что сталинизм — это худшее из зол. А по мне, из Германии на нас надвигается куда большее зло. Не находите?

И Куприн внимательно посмотрел на собеседника. Бунин, впрочем, не заметил этого пронизывающего взгляда. Он шел и, видно было, о чем-то сосредоточенно размышлял. Услышав последнюю реплику своего собеседника, словно выдохнул:

- Что мне, Александр Иванович, о будущем рассуждать. Я хоть и писатель, но не предсказатель. Страшно то, что я вижу сегодня – тот ужас, что в нашем с вами отечестве бушует. И нет ему конца-краю. И не будет, скорее всего. Мы уж и прежде с вами об этом говорили.

Откуда-то слева от них, за старым каменным домом, вдруг раздались звуки аккордеона. В этом не было ничего странного и непривычного - уличных музыкантов в Париже тех лет было хоть отбавляй. На улицы с инструментами выходило и много русских. После многочасовой работы в мастерских ли, в подсобках, в магазинчиках, многие вспоминали свое старое заделье и брали в руки кто тальянку, кто аккордеон, разводя самозабвенно меха, а порой еще и подпевая себе в такт что-то пронзительно-печальное.

Парижане уже не удивлялись таким импровизациям, попривыкли к ним. Как когда-то привыкли к Эйфелевой башне. На заре XX века она казалась уродливой, ломающей стройный облик этого великого города. Но со временем свыклись и с ней. Как свыклись и с русскими уличными музыкантами, заполнявшими и Елисейские поля, и Монмартр, и район Сен-Дени. Музыканты играли денно и ночью, создавая многозвучный антураж, наполнявший собой все окружающее пространство. Подобно тому, как

наполнялся им и другие европейские города, где селилась русскоязычная эмиграция.

Вот и в этот раз было то же самое. Через мгновение к звукам аккордеона, что прозвучал первым на пути Куприна с Буниным, присоединилась мелодия скрипки. Вначале одной, потом второй, третьей. Они шли из разных переулков. Щемящие мелодии – то грустные, то повеселее - выносило откуда-то из тенет старого города и кружило, кружило по окрестным тротуарам, возле лип и стареньких мусорных баков - там, где сейчас, днем, не было почти ни души. Мелодии эхом отдавались в глубине улиц и беспрестанно дополнялись все новыми звуками, уходящими еще дальше, к небу, к этим мрачным облакам, и смешивающимся с ними морозящим дождем.

Куприн и Бунин, как-то не сговариваясь, вдруг остановились, вслушиваясь в доносящиеся звуки. Каждый думал о своем.

- Ну, как знаете, - вымолвил, наконец, Бунин. - А только не пожалели бы потом. Да-с, не пожалели б...

На это Куприн не ответил ничего. Он всмотрелся в бунинское лицо и произнес глухо:

- Прошло все, Иван Александрович. Помните, верно, картину «Все в прошлом»? Это ж моя жизнь там, на холсте, хоть это и непонятно никому. Не чья-то - моя...

Куприн хотел сказать что-то еще, но осекся и просто кивнул Бунину головой: прощайте, мол. И начал торопливо удаляться. При этом он более не повернул головы, не оглянулся, лишь чувствуя на себе настойчивый бунинский взгляд. Он ощущал его каждой спинной клеткой, которые как-то даже сжимались под пристальными и холодными бунинскими глазами, не выражавшими ни сочувствия, ни расположения, но скорее недобрую и даже саркастическую насмешку. И от этого Александру Ивановичу стало нестерпимо неудобно. Ему казалось, что ему не в чем каяться, не о чем сожалеть, но на душе было нестерпимо больно и надсадно.

...Через месяц поезд увозил Куприна в Москву.

Он поселился в Ленинграде, где ему выделили просторную квартиру. Таких квартир не было ни у кого из писателей, о чем, конечно, знал Куприн. По правде говоря, ему было все равно, в каких условиях жить.

Здоровье с каждым месяцем ухудшалось, все чаще донимали боли в желудке. Иногда приходил врач, что-то прописывал, требуя от пациента принимать лекарства.

Куприн соглашался: конечно, лечиться надо, и благодарил доктора за внимание. Но после его ухода всякий раз ощущал ко всем рецептам полнейшее равнодушие. Иногда он даже рвал их на мелкие кусочки, а потом с каким-то плохо скрываемым злорадством выбрасывал эту бумажную требуху в мусорное ведро. А выбросив, садился и погружался в задумчивость, как это было всякий раз прежде, когда его донимал возникавший в сознании очередной сюжет рассказа или повести. Но более Куприн ничего не писал. В Ленинграде у него, неожиданно для себя самого, возникло стойкое отторжение к литературному труду, прежде всегда вселявшего в него спокойствие. И он задумывался уже не о писательстве, а о том, сколько времени остается ему на этой земле. И так продолжалось часто.

Он почти ни с кем не встречался, лишь по вечерам выходил пройтись по набережной, сохранившей остатки прежней роскоши с дореволюционного времени. Из прежних его друзей в городе не осталось почти никого, а новых знакомых Куприн сторонился. По вечерам он ставил на старенький граммофон тяжелые черные пластинки и слушал Вертинского. Ему казалось в эти моменты, что он вновь в любимом Париже, а рядом склочная и неприятная ему писательская братия, которой он всегда сторонился, но избавиться от которой не было решительно никакой возможности. А голос Вертинского окутывал все комнатное пространство, создавая привычный дух чего-то давно ушедшего.

Слушая ностальгически Вертинского, Куприн ощущал, что прежняя жизнь уходит от него. Уходит не только эмоционально, но и физически, но от этого ему не делалось хуже. Даже наоборот. Он ощущал всеми фибрами своей увядающей души, что умирать не так страшно, как ему казалось поначалу и потом, в годы его расцвета; что с этим чувством вполне можно сжиться. И он, похоже, в самом деле если не сжился, то, во всяком случае, примирился с ним, ни на что не сетуя, не тревожа себя долгими сомнениями на сей счет.

...Александр Иванович так и умер в своем кресле в августе 1938-го, когда гнетущие раковые боли, от которых он страдал весь прошедший год, вдруг отпустили его. Это произошло как-то внезапно, незаметно для самого Куприна, когда словно какая-то магическая волна потянула его за собой в новый, неизведанный для него, но чем-то

неистребимо манящий мир. И уже погружаясь в него, он вдруг вновь увидел Бунина, и Париж, и Сену, искрящуюся под солнцем. А потом все разом померкло и более не возвращалось никогда.

Известие о смерти Куприна дошло до Парижа в тот же день - когда все советские газеты поместили официальный некролог. В нем не было ни пафоса, ни преклонения перед тем, кто писал о любви так нежно и так проникновенно, как, может быть, до него не писал об этом никто. Но все, не чуждые литературе - и по ту сторону «железного занавеса», и по эту - понимали: умер тот, кто в эпоху горьких потрясений продолжил великий путь русской литературы.

- Дурак, - небрежно бросил за ужином Бунин, узнав о смерти Куприна. А потом, сделав выразительно-кислую гримасу, произнес вновь: - Полный дурак.

А более ничего не сказал. Лишь долго смотрел в окно, стараясь воссоздать в памяти детали их последнего разговора, который будто оборвался на полуслове, без какой-либо надежды, что будет когда-либо продолжен.

Иерусалимские «Сады Сахарова»

(Из книги "Записки пресс-секретаря Сохнута")

В августе 2011 ко мне обратился с просьбой сделать интервью с Натаном Щаранским российский сайт "Букник". На этом сайте должен был появиться сериал об Израиле и об Иерусалиме, который вел популярный актер театра «Гешер» Исраэль (Саша) Демидов. Популярным он был не только в Израиле, но и в России - благодаря роли Ивана Грозного, сыгранной им в одноименном сериале. Глава израильской телебригады, нанятой "Букником" для съемок, попросил, чтобы Щаранский, начав рассказ от "Садов Сахарова", расположенных на центральном въезде в Иерусалим, перешел к своим личным воспоминаниям об академике, и о его связях с еврейским движением в СССР.

Я сразу же согласился, поскольку знал - всё, связанное с Сахаровым, для Натана свято, и он будет готов дать любое интервью, не считаясь со своим расписанием, временем и рейтингом издания. Но на всякий случай я проверил рейтинг "Букника" - ежедневно на него заходили 9 тысяч человек. Для российского сайта это было чрезвычайно мало, но "Букник" считался сайтом русской интеллигенции. Его читателями были либо писатели, либо любители изящной словесности - не Дашковой с Бушковым, а настоящей литературы. Поэтому я с чистой совестью порекомендовал Натану согласиться на интервью.

В расписании Натана я зарезервировал целый час, что было весьма и весьма щедро. И хотя, на самом деле, на интервью ушло чуть ли не в два раза больше времени, Натан терпеливо все сносил – ради памяти Сахарова. Он ведь не зря начал свое интервью с фразы: «Хотя Андрей Сахаров был чисто русским человеком, для меня он был ребе».

Сперва съемку вели в сохнутовском кабинете Натана, на фоне висящего на стене большого портрета Сахарова, подаренного Натану каким-то художником-репатриантом. Этот портрет (не слишком высокого качества, но вполне пристойный) много лет находился в парламентской канцелярии Натана, а потом перекочевал в его кабинет главы Сохнута. Когда съемки закончились, все вышли на улицу; чтобы разговор не выглядел формальным интервью,

режиссер попросил снять несколько минут во время прогулки по иерусалимским переулкам, да и просто на скамейке в каком-нибудь саду .

Демидов не скрывал своего восхищения Щаранским. Это проявлялось и в том, как он смотрел на Натана, и каким тоном обращался к нему. По дороге к месту съемки они сначала вспоминали, как Натан помог создавать театр «Гешер» – добыл первые деньги, воевал с театральным истеблишментом, не допуская даже мысли, что в Израиле может существовать театр на каком-то другом языке, кроме иврита.

А потом Демидов начал рассказывать Натану, что он всё еще увлекается каббалой и каждую ночь занимается в группе Лайтмана.

- Когда же вы спите? - поинтересовался Натан.

- Я сплю шесть часов каждые сутки, но в три приема - перед занятиями, после и перед репетицией.

- И вам хватает? Вы в состоянии полноценно работать в театре?

- Ну, во-первых, хватает; всё-таки шесть часов — это немало. А во-вторых, я последние годы уделяю больше внимания каббале, чем театру. Если бы Сахаров был жив, я уверен, каббала ему была бы чрезвычайно интересна.

- Вполне вероятно, - вежливо согласился Натан, и прибавил: - И всё же, так мало спать? Я бы не выдержал. Шесть часов достаточно, если спать подряд. А в три приема? Ну, вы моложе меня, в вашем возрасте такое еще возможно...

Этот разговор, и последовавшие за ним рассказы Натана о Сахарове велись в тенистых иерусалимских переулочках, которые, к моему удивлению, обнаружили сразу за зданием Сохнута. Дело было в августе, и я сразу поставил режиссеру условие:

- Съемки на улице состоятся только в том случае, если день не будет особо жарким, и только если вы найдете тенистые места. Иначе Щаранского я в это пекло не выпущу.

- Я обещаю тебе, что найду прекрасные, прохладные места, и недалеко от вашей штаб-квартиры, - заверил меня режиссер.

И он сдержал слово. Неподалеку от Сохнута находится дом-музей второго президента Израиля Ицхака Бен-Цви, в его дворике разбит прекрасный сад с высокими деревьями, широкие кроны которых покрывают тенью почти весь этот дворик. Там режиссер и планировал доснять необходимый

ему для "оживляжа" материал. Но когда мы пришли в сад, выяснилось, что снимать невозможно. В соседнем доме велся ремонт, а как раз к нашему приходу подъехала бетономешалка и с ревом начала подавать раствор на третий этаж. Пришлось ретироваться. Я, было дело, подумал, что на этом съемки закончатся, и мы сможем вернуться в кондиционированное помещение - хотя мы находились в тени, дело было в самый разгар августа. Но режиссер заверил меня, что неподалеку находится общественный сквер, где наверняка можно будет без помех провести съемку.

Сквер действительно находился в пяти минутах ходьбы. Но на его качелях-каруселях с диким визгом вертелись детишки. Пришлось покинуть и это место. В конце концов, отчаявшись и увидев прямо на улице какую-то скамеечку в тени, мы быстренько усадили на нее Натана с Демидовым и начали съемку, не веря своей удаче и, главное, тишине. И не обращая внимания на прохожих.

Отправной точкой для интервью с Натаном были Сады Сахарова на въезде в Иерусалим. После смерти Сахарова Натан пошел к Тедди Колеку, тогдашнему мэру Иерусалима, рассказал ему о роли Сахарова в распаде советской империи зла, и о помощи, которую тот оказывал еврейским активистам в СССР. И предложил назвать его именем одну из улиц Иерусалима.

Колек согласился и через несколько дней предложил на выбор несколько вариантов. Но все они не устроили Щаранского - улицы находились в новых районах, далеко от центральных магистралей, и были маленькими. Дело застопорилось, но несколько месяцев спустя Колек позвонил и предложил: «На въезде в Иерусалим пробивается новая дорога, которая образует перекресток с шоссе номер один. На одном из его углов, там, где возвышается скала, намерены устроить террасы и разбить на них сады. Такое тебе подходит?»

Идея Натану понравилась. Он вместе с Колеком съездил на место и пришел к выводу, что лучшего решения и придумать нельзя. Расцветут или не расцветут сады на террасах - было еще неясно, но, главное: большая мемориальная доска с именем Сахарова на иврите, английском и русском языках должна была украсить центральный въезд в столицу.

Расчет Натана оказался верным. Сады так и не расцвели, хотя цветы там высаживали неоднократно. На момент

интервью для "Букника" этим садам было уже больше 20 лет, но, кроме коричнево-жухлого бурьяна, на террасах так ничего и не росло. Зато перекресток стал главным въездом в город, и каждый день в сводках дорожного движения сообщалось: "Пробки от поселка Моца до Садов Сахарова". Или: "Пробки на выезде из Иерусалима, от Садов Сахарова". Поэтому в интервью "Букнику" Щаранский с полным основанием заявил, что имя Андрея Сахарова в израильских СМИ упоминается ежедневно, и намного чаще, чем в СМИ российских.

С Садами Сахарова у меня связана смешная история, произошедшая в конце апреля 2003 года, когда Щаранский занимал пост министра по делам диаспоры и Иерусалима. Перед первым же Днем Иерусалима, пришедшимся на его бытность министром города, Щаранский решил привести в порядок Сады Сахарова. На террасах высадили новые кусты роз, мемориальную доску почистили, но оставили нетронутыми буквы, которые Натан должен был собственноручно покрасить в присутствии прессы. Я пригласил к садам оба действовавших тогда в Израиле русскоязычных телеканала – RTVi и «Девятку», а также ивритскую прессу, которые должны были запечатлеть процесс покраски букв. Но тут вмешался мэр Иерусалима Ури Луполянский. Предстояли муниципальные выборы, и он использовал любую возможность засветиться в СМИ. Луполянский потребовал, чтобы его не просто пригласили принять участие в церемонии обновления садов, но и обязательно дали возможность выступить. Деваться было некуда: мэр, как ни крути, - это мэр. Но Луполянскому было четко заявлено, что первым будет выступать Натан.

В девять утра мы уже были на перекрестке. Сады сияли чистотой - террасы пропололи, выбросили весь бурьян, свежесажённые кусты красных и белых роз радовали глаз доселе не виданными здесь яркими, чистыми красками.

Первым поднялся на какой-то ящик, игравший роль импровизированной трибуны, Натан. Он рассказал историю возникновения садов и добрым словом вспомнил пребывавшего тогда на пенсии Тедди Колека. А в конце речи посетовал, уже по-русски, обращаясь к представителям русскоязычной израильской прессы: «К сожалению, не все в Израиле знают, в честь кого названы эти сады. Понятно, что у русскоязычных израильтян, вопросов не возникает, тем более, что одна из трех надписей здесь сделана на русском языке. Но я не раз, к сожалению, сталкивался с тем, что

коренные израильтяне или репатрианты из других стран считают Сахарова обычным еврейским филантропом, решившим увековечить свое имя в святом городе и пожертвовавшим для этого крупную сумму на нужды Иерусалима. Поэтому мы должны приложить усилия, чтобы всем стало известно, в честь какого - действительно великого человека и великого друга еврейского народа, - названо это место»,

Вслед за Натаном на трибуну поднялся Ури Луполянский. Русского он не знал и завершающей части речи Натана не понял. Сказать Луполянскому особо было нечего, поэтому он ограничился тем, что поблагодарил Натана Щаранского за замечательную инициативу украсить въезд в город. Свою краткую речь мэр закончил фразой, приведшей в неописуемый восторг всех русскоговорящих участников церемонии, которые после нее, что называется, "выпали в осадок": «И особое, большое спасибо семье Сахаров, пожертвовавшей средства на создание этих садов».

Интервью просмотрели на "Букник" всего несколько десятков тысяч человек. По российским медийным масштабам это был, вроде бы, провал. Но я остался очень доволен – это были именно те люди, которым была важна и память о Сахарове, и те моральные ценности, за которые он боролся вместе со своим учеником Натаном Щаранским.

Русский мир, или За что вы нас так не любите?

заметки о кино

Говорят, что М. А. Сулов, член Политбюро ЦК КПСС, когда посмотрел фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», спросил его: «Михаил Ильич, за что вы нас так не любите?»

Совсем недавно, на своей передаче «Культура после катастрофы» (20 апреля 2022, «Радио Свобода») Сергей Медведев, известный и уважаемый мною историк, политолог и журналист, вместе со знаменитым и не менее уважаемым кинокритиком Антоном Долиным, в один голос утверждали, что фильмы Балабанова и особенно «Брат» (первый и второй) – явный пример «вины» русского искусства за происходящую с Россией катастрофу, называли героев этих фильмов «жлобьем», а сами фильмы – «частью имперского нарратива» («гнида черножопая», «я евреев не очень», «Америке твоей кирдык» и т.п.). Я был поражен таким глубоким непониманием этих картин и пафоса Балабанова-художника вообще, со стороны людей столь глубокомысленных. Вы, господа, конечно же, совершенно правы: «братья» сии есть жлобье, порой забавное и даже милое, но в этом-то и соль – это же образ России! Такой Россия видит себя и сама себе в таком виде нравится! Но вам этот вид настолько неприятен, что вы не разглядели суть картин Балабанова: его мучительную рефлексию и яростный гротеск! А «Груз двести» (вообще жуть-пережуть), или «Жмурики» (в стиле «Бешеных псов» и «Криминального чтива» Тарантино)?! Его "тема", его боль: "русская харя" (простите великодушно). И в лице Сергея Бодрова («Брат») или Алексея Чадова («Война») «харя» очень симпатичная, даже милая. Кстати, и Тарантино о том же, и «Однажды в Голливуде» – гротескная сатира на Америку, - это про американскую «харю», в том числе и женскую, и тоже вполне себе симпатичную. Хотя Тарантино, конечно, разнообразней, но не о нем речь. Балабанов же бьет в одну точку, видно, что наболело и перекипело. Не зря он так нещадно лакал водку...

В 2014-м, как раз после киевского «майдана», я, по требованию вдохновенного приятеля, - мол, один из лучших фильмов всех времен и народов, - посмотрел «Трудно быть Богом» Алексея Германа. Меня не тянуло смотреть это кино, подозревал в нем занудную многозначительность последних фильмов Тарковского и Сокурова. Фильм и оказался таким, только это было не просто занудное, а агрессивно-навязчивое, бесконечное в своей бессмысленности мельтешение вурдалаков и упырей, топтание в дерьме, гребля сквозь сопли, слюновыделения и дорожную грязь. Что это: аллегория человечества? Иллюстрация народной мудрости: жизнь – дерьмо? Да еще в финале – сентенция из арсенала подпольных советских либералов: «где царствуют серые – приходят черные». Да что вы говорите! Ладно, я понимаю, что Стругацкие не собирались иллюстрировать пошлые поговорки, и не «фантастику» писали, а аллегорию советской жизни: это и привлекло Германа. Но «Советы» давно исчезли, значит, тема фильма: «Россия – дерьмо»? Смело, конечно, хотя идея не новая. И не люблю я аллегорий. Россию ждет фашизм? Да об этом только ленивый не вопиет. Да и сам автор, для тех, у кого особо умное лицо, разъясняет открытым текстом: «...ее (кинокартины – Н. В.) тема — наступление фашизма, что, мне кажется, грозит нашей родине». Получается, что фильм – иллюстрация к нехитрой, хотя, может, и правильной мысли. Плюс – еще советский запал веры в "силу слова", жажда "разбудить", "предупредить". Чем-то напомнил по стилю кинописьма «Хрусталев, машину!»: обрывки невнятной речи, обрезки эпизодов, мутные картинки – смотрел еще в прошлом веке и плохо понял...

А через несколько дней по ТВ (израильскому) вдруг повторили "Хрусталев, машину!", как по заказу. Случайно включил, и уже не мог оторваться. Да, бессвязное мельтешение, да, упыри болотные, и все, от маршалов до уголовников, натужно-преувеличенно харкают, хрюкают, сплевывают, сморкаются, вытирая сопли о костюм, но это мелькание вдруг сложилось в картину, и картина была живая, кишащая, звучащая, знакомая – Боже, такая знакомая! Ведь я помню еще эти московские коммуналки-клоповники, набитые пролетариями, служащими, офицерами, недобитыми интеллигентами, бывшими и нынешними, перемешанными и сжатыми в зловонное месиво... И если «Трудно быть Богом» – аллегория,

плосковатая и нравоучительная, как всякая аллегория, то «Хрусталева» – история; пусть не моя уже, слава тебе, Господи, но все-таки немного и моя, незабвенная, "наша родина, сынок". И не прошлая история, а нынешняя, вот сейчас, со всей этой "Украиной" вновь ожившая, вновь по зову русского крысолова повылезли упыри и кикиморы из вонючих блат, заплясали на крови ведьмы и чудища. Знать, не в "сталинщине" дело, а в великом и неизбывном "пшел вон" всех, от маршалов до мелких начальников, на том Русь стоит, страна рабов – страна господ, сверху донизу одни рабы, и все отползают на четвереньках.

И так вышло еще (чудеса!), что параллельно, по другому каналу, крутили «Сладкую жизнь» Феллини. И я вдруг увидел, что этот прием "мельтешения", бессмысленной суеты жизни, взят Германом у Феллини. Своей любви к итальянскому гению и восхищения им (особенно фильмом «Рим») Герман и не скрывает. Конечно, у Феллини это мельтешение не такое гротескное, фантасмагорическое, как в «Хрусталева», но дело не в «неореализме», у Феллини всё добрее (и в этом тоже – более реально). Американская кинодива (актриса Анита Экберг) – образ самой жизни, бессмысленной, но прекрасной, желанной и никому не принадлежащей, и весь мир – праздник дураков, немного грустный, иногда уродливый, абсолютно бессмысленный, но все-таки праздник, карнавал. А у Германа – бал у Сатаны. Да нет, какой «бал», скорее пляски чертей, вроде пляски опричников во второй, цветной серии «Ивана Грозного». Босхианские мотивы в «Хрусталева» и тем более в фильме «Трудно быть Богом», отмечали многие, и Герман признается в том же интервью: «Мне Босх гораздо ближе, чем Брейгель...» Брейгель – мягкий реалист, в отличие от Босха. Да, пожалуй, и «пляски чертей» – чересчур поэтично, у него – копошение в аду всех спущенных туда, как в клоаку. Можно вспомнить «Ад» Луки Синьорелли в соборе Орвието, или – Джованни да Модена в базилике Сан Петронио в Болонье, великие фрески...

И тогда я вернулся к фильму «Мой друг Иван Лапшин», одному из любимых. Там уже видны наметки этой стилистики коммунального копошения, обрывков речи и звуков жизни, сливающихся в бессмысленный шум, и можно сказать, что перед нами первая серия германовской трилогии "Русь". Но в «Лапшине» всё еще держится на энтузиазме, пусть и глупом: "мы построим цветущий сад", "на бой, пролетарий, за дело свое", здесь еще, как контрапункт,

присутствует культура, поставить тире, – Запад: английские словечки, Прометей – бог огня, театр (с чтением характерного текста Пушкина "восславим царствие Чумы"). Однако дикая, докультурная Русь глядит на этих энтузиастов великих преобразований пейзажем убогих провинциальных городов и равнодушных могучих рек, она вылезает из щелей юродивыми душегубами: "за что, дяденька, ну за что...". Похоже, что Герман и сам, по крайней мере в юности, еще верил, что "революция" победит "преступный мир", окультурит русскую дичь, и родители его верили, и отсюда некий налет ностальгии, даже тоски по энтузиазму, и действие в картине происходит на земле, а не под землей, хотя уже и в этом фильме выползают из щелей, в облаке тумана и дыма, страшные упыри. Уже в нем ощущение, что подземное царство сильнее, подлиннее, и оно восторжествует, к ней ведут рельсы волной, везут старые, измученные трамваи, и оркестры играют прощальные марши – мотив обреченности. Мне даже показалось, что дирижера с идиотическим лицом в финале «Хрусталева» играет тот же актер, что играет дирижера оркестра у пристани в «Лапшине», только усики ему в «Хрусталеве» сбрили... Марши играют перед переправой в ад, куда идет вся страна. Но если в «Лапшине» жизнь еще нормальна, в том смысле, что в ней какая-то надежда, какая-то вера, и надсадная любовь, а в визуальном ряде есть праздничные тона, есть свет, есть некое болезненное предчувствие весны, то в «Хрусталеве» пар из преисподней уже рвется из всех щелей, всё живое съедено, остались только страх и зима, темная, мутная, тяжелая. И если шевелится еще что-то живое, то это русская тоска дороги – переправы через Лету – и юродство бездомности. А в "Боге" и этого уже нет, нет даже дороги, осталось только кружить по заведенному кругу, топтаться на месте и месить грязь. В фильме о Боге нет Бога, нет жизни, нет любви. В конце появляется некий намек на дорогу: пейзаж будто распахивается, и чернота грязи сменяется белизной снега, и всадники на дальнем фоне куда-то держат путь, но зима кругом беспробудна, зима без конца и края, белизна смерти. С зимы фильм начинается и зимой кончается, другого времени года в этой стране нет. Снежная равнина, белая луна, саваном покрыта наша сторона. И берёзы в белом плачут по лесам. Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?

«Лапшин», «Хрусталев», «Трудно быть Богом» – вот трилогия великого художника о России.

«Нет Бога, нет жизни, нет любви». «Нелюбовь» стала темой последнего из великих, Андрея Звягинцева. Его итоговый фильм так и называется «Нелюбовь». Это «пейзаж после битвы», пустыня, всё «сухо», даже горе бесслезно. Даже акты добровольной общественной помощи по розыску пропавшего мальчика даны как работа запрограммированной машины, оставшейся еще от прежней культуры, условно скажем: христианской, культуры любви, или скажем проще: от мира, где были любовь и сочувствие. В возникшем русском мире – и фильмах Звягинцев о нем – места для любви больше нет, и дети не нужны этому миру, а значит и не нужно ему будущее. Об этом высушенные пейзажи «Изгнания» и суровые, даже величественные в своем равнодушии пейзажи «Левиафана», в коих от жизни остался только скелет кита посреди отмели. И люди в этих фильмах живут, еще не понимая, что они уже умерли. "Что с нами происходит? Что с нами со всеми происходит?", - спрашивает заплетаящимся после выпивки языком один из персонажей «Изгнания». Как чего: жизнь обсточили, от культуры осталась одна инвентаризация, мы доживаем её историю. Помните «Изгнание из Рая» Мазаччо в капелле Бранкаччи во Флоренции? Там Ева уже не плачет, она полна ужаса. А Адам закрыл лицо руками. У Звягинцева – картина после изгнания, где всё – по словам Господа: «Проклята из-за тебя земля: колючки она подарит тебе да репейник, будешь жевать траву и в муках добывать хлеб свой. Из пыли земной ты взят и в пыль обратишься».

Суть нашей культуры была в любви, говорит режиссер, и даже дает подсказку из Первого послания апостола Павла Коринфянам, глава 13: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто». И в этом мире, где живут герои Звягинцева, любви больше нет. Поэтому женщина в «Изгнании» не хочет рожать новых мертвецов в этот мир нелюбви. И об этом тоже сказано прямым текстом: мы не только дети своих родителей, мы и дети культуры, в которой волею судьбы оказались. И женщина говорит своему мужу (что кажется совершенно нелепым): «Я беременна. Но не от тебя». Жизнь семьи идет под откос и заканчивается трагической смертью этой женщины, причем выясняется, что ребенок-то был от мужа. То есть – никаких альковных

тайн, это самоубийство, и женщина бормочет самой себе объяснения: «Я ничего не смогу ему объяснить. Я должна что-то сделать. Если так будет продолжаться, всё умрёт. А я не хочу рожать умирающих детей». А что, в самом деле, можно сделать? Возродить христианскую культуру любви? Пардон, что умерло, то умерло. Да и была ли она? Но это уже другая тема...

Автору фильма, хочется, наверное, верить, что еще не всё потеряно, и в конце фильма появляются сцены рая: женщины собирают урожай и поют, и кто-то несет младенца... Женщина – главный «герой» в поэтике Звягинцева. Потому что она дает миру жизнь и дает ее через любовь. В умирающем мире она бунтует и гибнет. В «Елене», когда жизнь уже высохла, женщина борется за свой род смертью, убийством.

Герман любил жаловаться на то, как ему мешали творить советские чиновники от искусства, как его "били". Помилуйте, Мастер, так ведь чужаки же врага, вашу огнедышащую ненависть! Вы хотите, чтоб вас за нее по головке погладили? Нет, он не хотел, чтобы его гладили.

- Когда меня вызвал Ермаш, он сказал: «Герман, давай попробуем поискать какие-то точки соприкосновения — а ты нас ненавидишь, мы тебя не очень любим...» Я говорю: «Какие точки соприкосновения могут быть! Вся моя работа у вас — купание в говне...»¹

Он воспитал себя бойцом против нечисти, таким доном Руматой. И дай ему меч-кладенец – устроит арканарскую резню по полной программе. В сущности, это фильм о Творце, в котором нет нужды. И это он – бог-творец-художник, и это ему трудно, потому что против этого месива упырей он бессилён, ничего нельзя сделать, ни окультуривание не поможет, ни доброта, ни насилие. И если уж убивать – то всех, зачистить территорию. Оставишь хоть малую часть – и вот опять.

¹Здесь и дальше – цитаты из того же интервью:

http://theoryandpractice.ru/posts/8073-german_dolin

Использованные в статье источники:

<http://magazines.russ.ru/studio/2004/8/svir15.html>

<http://www.colta.ru/articles/literature/3386>

<http://www.colta.ru/articles/society/3404>

<http://www.snob.ru/profile/20736/blog/76791>

- Ничего сделать нельзя. У нас так же воруют, и все вокруг берут взятки, университеты пускают на доски, а рабы не желают снимать колодки. Им и не рекомендуется.

У Тарковского уже «Иваново детство» – эсхатологическая притча: весна с порхающими бабочками и улыбкой молодой матери вдруг превращается в болото голого, сгнившего леса, в преисподнюю войны, где приходится тихо и незаметно пробираться сквозь черно-стальную омертвевшую воду. Война - бытовуха этого мира. В «Рублеве» русский мир бесконечно жесток, и эта тотальная жестокость творится не на войне, а в мирное время, братьями по крови, как-то по-домашнему, по-семейному. Но в «Рублеве» русская жизнь еще оправдана религиозной одухотворенностью, неистовством праведности и творческой силы: сквозь черно-белую жестокость проступают цветные лики святых и божественная красота природы. Жизнь в «Рублеве» творит красоту и светится надеждой. Но уже в «Зеркале», узлом фильма режиссера, во всей красе является безнадежность и ностальгия по погибшему миру. Фильм заканчивается наплывающей тьмой: люди становятся все дальше и меньше, на передний план выдвигается лес, он все гуще, все темнее, приходит тьма. А перед этим: сгнившие бревна развалившегося дома, сгнивший колодец, превращенный в помойку, и в ответ на вопрос мужчины: «Ты хочешь девочку или мальчика?», женщина молчит. Она боится рожать – мотив, который продолжит Звягинцев.

«Единственное, что нам остается – это научиться умирать достойно», - напишет Тарковский в дневнике. В «Солярисе» – мучительная тоска по дому, не оставленному, а утерянному. Мечта о возвращении в отчий дом отдается на откуп потусторонней, фантастической силе Океана... А в «Сталкере» катастрофа уже произошла, цветовой фон фильма черно-зеленый, трупный. Руины, ржа, распад. Весь мир – «зона». И «оставшиеся» бродят в муках бессмысленных вопрошаний. В своих дневниковых записях Тарковский не оставляет места надеждам: «Дух и плоть, чувства и разум никогда уже не смогут соединиться вновь. Слишком поздно... Пока мы еще калеки в результате страшной болезни, имя которой бездуховность. Но болезнь эта смертельна».

У Германа вообще нет святых и нет просвета. Он в утешительные игры не играет. Его сила в непримиримости: человек додумал свою мысль до конца и превратил ее в

страсть. А мысль проста: полное и абсолютное неприятие русского мира. Да-да, именно русского. Александра Свиридова в статье «Мы – рабы» ("Студия" 2004, №8)¹ повсеместно заменяет слово "русские" словом "Система": "поединок с Системой", "кованный сапог Системы", "мотивация Системы" и т.д. Немного смешно, когда "Система" говорит: "Ну что, жопу порвали? Вот народ...", но куда ж без эвфемизмов, и статью могут не напечатать – больно круто. Русские не поймут. Но Герман не дает прикрыть срамное место:

– О чём фильм, Алёша? – спрашивает у режиссера Свиридова.

– О русских, о нас. О том, что мы такое.

Сравнивая с «Лапшиным», он подчеркивает, что в «Хрустале» и задача другая: про русских... Да и Свиридова прекрасно понимает, о чем и о ком речь:

«"Какие же мы?" – я не спрашиваю, потому что вижу: мы – рабы. Это первое, что следует из фильма Алексея Германа «Хрусталёв, машину!» Рабы не чего-то определенного, а абсолютно всего: что есть, кто есть – того рабы и будем. Потому что это единственное, что мы хорошо умеем делать: давно привыкли».

Мы – это русский народ.

И в довесок цитирует высказывание Мамардашвили четверть века назад: «Сейчас в России критический период в том смысле, что если русский народ сейчас же, каждый по отдельности и по личной своей воле не содрогнется от отвращения к себе, к своему образу, тогда в России ничего не изменится».

Свиридова и сама не выдерживает беспощадности этого вывода и «смягчает» идентификацию: Не этнические "русские", а граждане, обитатели России как государства и территории...

В другом интервью Герман говорит: «Мы опущенная страна». Его герой («Хрусталев, машину!») "опущен" до того, как его изнасиловали уголовники (даже физиологическая точность сцены не избавляет ее от символичности), он не разговаривает, а ерничает, юродствует, скоморошествует: "Ехал чижик в лодочке в генеральском чине"... Изнасилован еврей, генерал от медицины, изнасилована интеллигенция, изнасилована страна. Речь потеряна, несутся обрывки фраз, напоминающие "карточки" Льва Рубинштейна. «Граждано-товарищи, люди и мужики, сходим, помочимся на собачку мою. Собачка у меня, Толик, обгорела... при ожоге

помочиться следует...» Или просто неразборчивое мычание. Одичание. Одичание сквозит и в «Сталкере» Тарковского, поэтому так напряженно, контрапунктом, звучат стихи и вечная музыка. Они звучат во всех его фильмах, порой уже не контрапунктом, а уходящим, гложущим фоном. «Зеркало» - еще - трагический фильм, фильм о предательстве отца, предательстве любви, детей, дома, и в конце смерть, крик и все отступает во тьму леса. У Германа – уже - про наступившую тьму леса.

Он говорит о своей картине «Трудно быть Богом»:

– Сюжет фильма в том, что есть такое средневековое мерзкое государство, где убивают интеллигентов, книжечеев и умников, и наступает момент, когда главный герой сам превращается в зверя, в животное.

...Я этим фильмом, конечно, пытался бросить вызов.

Вызов кому? Не советской же власти, уже давно сгнувшейся. Значит – России, русским. Но что такое "русский"? Известный российский поэт Андрей Поляков, можно сказать, дважды русский, поскольку из Крыма, говорит о своей "разорванной идентичности": я не знаю, что такое быть русским, и давайте пойдем, кто мы такие.

Культурная растерянность действительно характерна для российского постсоветского сознания, но, как и у Полякова, "разорванность" проходит в основном по линии русский – советский. Но разве в советский период с русской идентичностью все было ясно? И все ли было ясно до 1917 года? Поляков, радующийся «возвращению Крыма», сетует на то, что украинская идентичность строится не как идентичность самонесущего бытия, а как идентичность конфронтационная. Ну, а как строится русская идентичность? Разве "Россия – не Европа" не короткий лозунг русского самоопределения?

Поляков признается: «...я считал, что Советский Союз, катастрофа 1917 года - это что-то случайное. Что-то, что сверху. Что есть хорошая Россия, на которую сверху наброшена искажающая это хорошее реальность - советская власть. С годами, конечно, постепенно приходило понимание того, что не все так просто. Что советскость стала частью нашей общей идентичности. Причем она стала частью нашей идентичности не органически».

Конечно, "не органически", в этом всё и дело. Органической, растущей из единого корня русской культуры никогда не было, разве что до принятия христианства. Органично для России то, что было "до культуры", органична дикость. Поскольку народ

своей культуры создать не смог или не успел, не успел стать народом, то завладевшие страной трижды ломали его об колено, трижды насильовали, «прививая» чужую и чуждую культуру: византийство при Владимире Святославиче, «Европу» при Петре Великом, «коммунизм» при Ленине-Сталине. У Германа в «Лапшине» русская жизнь еще отделена от советской, коммунисты – культуртрегеры (коммунизм пришел с Запада!), они еще борются с русской тьмою во имя новой, «пролетарской» культуры. Но в «Хрустале» на пике сталинщины, матрица насилия «во имя коммунизма» уже слилась с всероссийской, жизнь уже распалась, стала архипелагом дикости. Дикость - это то живое, то естественное, что осталось от русской жизни. Дикость и насилие (отсюда и жажда имперской мощи), как единственные проявления этой жизни.

«...Голос в рупор деловито и негромко сказал:

- В американское посольство пробирался враг с самого Каспия! - и тут же взорвался неразборчивым матом что-то во второй линии оцепления».

Текст сценария – самостоятельная и по стилю постмодернистская проза. И не случайно к завершению советского периода в искусстве зацвел «постмодерн», а по сути – ощущение, что культура распалась, ее цельность исчезла, и осталось только растаскать на цитаты эти останки. Но может ли живое дерево рассыпаться на опилки? Рассыпается нечто искусственное, наносное, придуманное. Этот образ России, спрессованный из опилок, – у Бродского в поэме «Представление»:

Эта личность мне знакома! Знак допроса вместо тела.

Многоточие шинели. Вместо мозга - запятая.

Вместо горла - темный вечер. Вместо буркал – знак деленья.

Вот и вышел человек, представитель населенья.

Чаадаев, пожалуй, первый взглянул на русскую историю, как историю культуры и отметил в ней отсутствие преемственности. Преемственность, произрастание из единого корня – главный признак "органичности", а ствол русской культуры трижды спиливали. В «Зеркале» связь русского бытия с русской культурой дается через письмо Пушкина Чаадаеву (от 19 октября 1836 года), где обозначены опорные пункты русской «патриотической» (она же имперская) идеологии:

...Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить

нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех.

Итак: во-первых, мы спасли Европу. Татары дикари («отошли к своим пустыням»), а мы – спасители, и не просто Европы, а «христианской цивилизации», – в этом наше особое, мессианское предназначение! Непонятно, правда, зачем спасали, если сие спасение «сделало нас совершенно чуждыми христианскому миру», но зато «для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование». Вот вам и отпущение грехов.

В продолжении письмо звучит, как написанное сегодня каким-нибудь «нашистом»:

Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т. д. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем... Евангелие от этого разве менее изумительно? ...Наше духовенство... никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве. (Главное о человечестве озаботиться, все грехи как рукой снимет.) Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. ...положа руку на сердце, разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; ... но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал.

Далее в письме (в фильме не озвучено) несколько слов о нашем «особом существовании»:

Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь - грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши религиозные исторические воззрения вам не повредили... Наконец мне досадно, что я не был подле вас,

когда вы передали вашу рукопись журналистам. Я нигде не бываю и не могу вам сказать, производит ли статья впечатление.

Вот он, весь Пушкин, вполне себе советский/постсоветский, а попросту русский человек: и нашим и вашим. «Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь как бы...». И тут же сигнал властям, как будто «они» подслушивают, мол, будь я «подле вас, когда вы передали вашу рукопись журналистам», я бы, конечно, вас остановил. И о впечатлении статьи на публику ничего не могу сказать, я, видите ли, «нигде не бываю», ну, а за перепост у нас теперь срок дают.

«Культура» – это система правил, воспитанных обычаями и религиозными обрядами, некий организующий каркас, намордник, если хотите, надетый на стихию жизни, на человека – воплощение этой стихии. И надо признать, что все насильственные попытки надеть на русских чужой и чуждый им культурный каркас, оказались неудачными. То, что обычно называют "великой русской культурой" (Толстой-Достоевский), есть достижения короткого периода с конца XVIII века по начало XX-го, достижения, сами по себе замечательные, обусловленные крутым поворотом Руси на Запад, произведенным Петром Великим. Возможно, просуществовав эта культура еще столетие, она смогла бы окончательно определить суть "русскости", стать культурным каркасом России. Но в 1917 году на волю вырвалась допетровская Русь и даже дохристианская, и вместе с нерусскими окраинами она разрушила эту "буржуазно-помещичью" Россию – произошла великая антизападная культурная контрреволюция. С народом произошла «антропологическая беда». И сегодня, как считает Александр Невзоров, у русской культуры "закончился срок годности", и она сегодня особенно бессмысленна, потому что языковая и мировоззренческая картина мира сменилась полностью. Вся русская литература имеет отчетливый, навязчивый, великодержавный подтекст с культом солдафонов.

А тут и подросла Вторая Украинская.

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Афанасий Мамедов

До конца света и слова последнего *(О двух книгах Якова Шехтера)*

Родина начинается после первого забвения — сначала забудь, потом воскреси — и у каждого она своя. Свой полузабытый дом, наполненный голосами, которые уже не вспомнить, своя улица, до которой не добраться, школа с голубями школьного сторожа — где-то там, высоко-высоко, в снежных облаках, где по велению Всевышнего, недоступному человеческому разуму, обретают свои места пронумерованные для порядка эоны.

Если скажу, что русскоязычная израильская литература сегодня ближе России, нежели Святой Земле, вероятно, ошибусь не сильно. Дело тут не только в языке, на котором творят израильские писатели с советско-российскими корнями. Таков расклад литературного процесса: мода, условия книжного бизнеса, отечественного в том числе. Пока расклад таков. И российскому читателю из этого «пока» хорошо бы уже извлекать выгоду: от кого еще светят ему бесперебойные поставки практически иностранной литературы на родном языке?

В том, что русскоязычная израильская литература оказалась одним из форпостов современной российской словесности — ничего удивительного нет. Нечто похожее существовало и прежде. Еще до создания еврейского государства и Российской империи. Правда, тогда вместо русского языка были в ходу чуть ли ни все европейские и ближневосточные. Но тема эта отдельная и долгая, боюсь, она затронет другую - столь же сложную, - в основе которой неразрешимое противоречие: должен ли настоящий еврейский писатель соблюдать иудейскую традицию, или дара свыше и воздуха Святой Земли ему достаточно? Разве племенной расклад не вредит «степному волку», разве общинное мышление не препятствует «игре в бисер»? К примеру, у того же Кафки в дневниках по этому поводу

немало напряженных экзестирований, от которых его соплеменникам, возможно, будет не по себе.

Израильский писатель Яков Шехтер, пишущий по-русски, сию неразрешимую дилемму, похоже, для себя решил. Он, как говорят сами евреи, — «соблюдающий», живет общинной жизнью не первый десяток лет, активно работает в оборонке, в свободное время заведует литературным журналом «Артикль» и пишет прозу. Много и по-разному. Неизменными в творчестве Якова Шехтера остаются увлекательность в сочетании с мудростью предков и неподдельная сердечность. Такими вот абсолютно «сердечными» книгами являются исторический авантюрный роман «Хождение в Кадис» и сборник новелл «Есть ли снег на небе», чем-то напоминающий «Хасидские истории» Мартина Бубера. Правда, от предыдущих творений Шехтера последние две книги хочется отделить, и для этого есть причины. Но по порядку...

Когда далекое становится близким

Приемом перемещения/«перелета» из одного времени-пространства, с его героем и сюжетными ходами, в другое, к разворачивающимся при его участии событиям, активно пользовался еще Дюма-старший в тех же «Трех мушкетерах»: «А в это время госпожа Бонасье...». Этот прием воспринимается нами легко, он нам понятен, с его помощью мы комфортно переходим от одной части повествования к другой, самостоятельно собирая целое. Мы ведь еще в школе учились открывать и сохранять миры с помощью дробления времени-пространства. Кстати, этим приемом активно пользовались и Лев Толстой в «Войне и мире», и Лев Гумилев, когда необходимо было объединить крупные исторические события, происходившие в разных частях света в одно время, в одну эпоху, чтобы показать ее текучесть, ее зависимость от Всевышнего — окинуть все сверху панорамным взглядом, выхватить героев из человеческой лавы и «запараллелить», «зазеркалить». Прием «а в это время...» пользуется и Яков Шехтер в «Хождении в Кадис». Он и раньше неплохо его выручал, а в этот раз — просто, можно сказать, сделал игру.

С «Кадисом» Шехтеру повезло, возможно, и потому еще, что главным героем его является время, вернее, даже не само время, но конец времен, конец света, пропущенный

невнимательным человечеством. Что же это за время, и может ли быть конец света пропущенным?

Может. А что до времени, то это 1492 год: в России — распри потомков Дмитрия Донского, а на Пиренейском полуострове — конец Реконкисты и открытие Нового Света. Потому-то и город Кадис, заложенный карфагенянами в выигрышном для покорения Атлантики месте, заявлен автором прямо в названии. Так же не случайно в нем и слово «хождение», и имя одного из героев — Афанасий, которому предстоит, пройдя через свои «три моря», открыть страну Офир — Индию, которая станет Америкой. Да, но откуда о ней знали в Новгороде Великом? Откуда знал о ней бедный чернец Федул, наказывавший Афанасию перед самой мученической смертью отыскать страну Офир, потому как она есть рай на земле и спасение заблудившегося человечества:

«- Нет правды на Руси. Звери мы, не люди. Уходи отсюда. К теплым морям, в страну Офир. Вернись к вере истинной, первоначальной».

Яков Шехтер, “Хождение в Кадис”

Случаются времена — не в такое ли и мы живем? — когда мир как бы сдвигается, как бы сгущается и сжимается, и многое начинает сбываться, и далекое становится близким. Это всё, конечно, свыше происходит, там, за облаками, но не последнюю роль в изменении пространственно-временных характеристик играет и человек. Правда, человек должен быть не совсем обычный — если уж не историческая личность, то, несомненно, масштабная.

Именно такой вот масштабной личностью является Афанасий, угодивший в новгородские застенки из-за того только, что в Бога верил иначе, чем другие, и совершивший дерзкий побег из них, после которого терять ему более было нечего.

Вот и отправился один из лучших василисков на поиски новой жизни. Нашел в новгородском порту ганзейское торговое судно:

«- Я слышал, - медленно выговаривая слова, ответил на ливонском Афанасий, - вы ищите бойца. Возьмите меня».

Яков Шехтер, “Хождение в Кадис”.

И с героем-капитаном добрался аж до самого Константинополя.

Таким же человеком большой судьбы является и молодой гранд Сантьяго де Мена, выпускник знаменитого Навигацкого училища в Кадисе. Ему тоже предстоит узнать

некую семейную тайну, после которой он иначе взглянет на свое аристократическое прошлое, на свою избранность. Вообще Афанасий и Сантьяго зеркально отражаются друг в друге, дополняют друг друга в распавшейся связи времен настолько, что читатель уже ждет их встречи чуть ли не к концу первой четверти книги. Он только не знает, как встреча эта случится, при каких обстоятельствах, и это держит читателя в напряжении, подталкивает к запойному чтению, проглатыванию страниц на сон грядущий.

Удивительно, но когда встреча Афанасия, ставшего под покровительством султана пиратом Барбароссой(!), и Сантьяго де Мена произойдет, вовлеченность читателя в текст не ослабнет: он почувствует, догадается, что эта встреча не последняя. Только когда случится следующая, при каких обстоятельствах, и какую роль в происходящем сыграют загадочные евреи?

Постепенно, страница за страницей, все встанет на свои места — два еврея, один в Константинополе, другой в Кадисе, выведут роман на новый виток. Помогут придать ему необходимое ускорение, подготовить взрывную смесь, ведь одной лодки в Средиземном море, добравшейся до родных пиренейских берегов, читателю может быть недостаточно. Читателю приключенческого романа уж точно. И Шехтер готовит эту смесь с помощью старого, как мир, порока. Оно и понятно, если грядет конец света, он же неспроста грядет, а за пороки людские. И содомный у Шехтера, как водится, в числе первых. Тут уж чуть ли не все персонажи участвуют в поиске украденного мальчика, второго сына гранда Мигеля Игнасио Идальго Мондарте Кристобая де Мена, брата нашего Сантьяго, по имени Фердинанд. И пока все его ищут, выясняется, что город Кадис — просто и есть настоящий Содом и Гоморра.

Запретной любви не чураются даже господа офицеры на военных судах.

«- Боже милосердный, - вскричал Сантьяго, - да что же творится в Кадисе?! Впору снова посылать ангела-губителя переворачивать город!»

Яков Шехтер, “Хождение в Кадис”

Барбаросса, он же Афанасий, и каббалист Хаим Родригес помогут найти мальчика Фердинанда. Запретной любви его обучить не успеют, а вот язык на всякий случай отрежут: все-таки королевский флот, некрасиво получится, если люди узнают о проделках некоторых морских офицеров.

Жить в Кадисе и смотреть на покалеченного мычащего брата Сантьяго не сможет, не сможет он и смириться с тем, что еврей по крови, хоть этого никто, кроме отца с матерью, не знает. Потому-то и отправится он вместе с Афанасием-Барбароссой искать страну Офир на каравеллах Кристобаля Колона.

Шехтер будет и дальше держать читателя в напряжении, до самого конца романа, до последних слов эпилога:

«Через месяц, 12 октября 1492 года корабли Колумба подошли к Антилльским островам, и на этом Старый Свет действительно кончился».

Яков Шехтер, “Хождение в Кадис”

В своих произведениях Яков Шехтер практически никогда не сосредотачивается на поисках новых форм, на языковых и прочих экспериментах. В этом смысле в языке для него всегда достаточно точности и лапидарности, в сюжете — логики и связности. Он всегда знал, к какому подразделению литературы себя относит, и высказывался об этом в своих интервью. У Шехтера давно уже своя арена и свой читатель. Тот самый, что в юные годы зачитывался «Таис Афинской» Ивана Ефремова, а позже - «Баудолино» Умберто Эко. И Шехтер верен этому читателю каждой строчкой «Хождения в Кадис». Хотя сдается, что автор не сразу решил, в какую сторону развернуть свое «Хождение в Кадис», и что под тем же названием мог бы выйти немного другой роман.

На эту мысль наводит первая часть книги «Ересиархи новгородские», имеющая иную плотность и иную глубину - настолько, что даже, без преувеличения, вспоминаются «Епифанские шлюзы» Андрея Платонова. Но к сто двадцатой странице автор будто меняет направление, и начинается другой роман. Любопытно, каким бы он был, если бы не эта «смена лошадей» после первой части?

В любом случае «Хождение в Кадис», несомненно, порадует отечественных читателей, в особенности тех из них, кто российским авторам предпочитает иностранных: они умеют работать с сюжетом, увлекательность ставят на первый план, в их книгах много познавательного, да и вообще, зачастую они как-то светлее и ярче наших. И Яков Шехтер им ничуть не уступает, при этом, что нас сильно радует, не нуждается в переводе, поскольку пишет по-русски.

Снег - явление внесезонное

Вторая книга Якова Шехтера являет собой пример совсем иного литературного жанра. Мимо скольких переворотов, войн, тронов и революций необходимо пролететь настоящему писателю в темном беспамятстве, чтобы накопился, созрел достойный материал для бьющей через край жизни, с ее весенней звонкостью бытия, в которой есть все необходимое для полновесного сборника рассказов? Правда, имея в виду книгу Шехтера «Есть ли снег на небе», следует самую малость оговориться, дабы ненароком не ввести читателя в заблуждение — это не совсем те классические рассказы, к которым привык наш читатель и которых он невольно ждет. Скорее уж, это исторические этюды или просто истории, даже притчи с их явной обращенностью в будущее, к потомкам.

Мартин Бубер, еврейский философ-экзистенциалист, один из первых, кто начал заниматься хасидскими притчами, называл их «легендарными рассказами» или «легендарными анекдотами». Еще одно свойство хасидских историй — их узнаваемость, будто ты когда-то где-то это уже читал. Всё верно, такое вполне может быть. Многие из притч сборника «Есть ли снег на небе» наверняка могут показаться читателю знакомыми. Тут всё дело в авторской обработке, интерпретации, смещении акцентов. Если вы увлекаетесь джазом, вы поймете, о чем я.

В смысле литературного стиля в «снежном» сборнике Шехтера царствует нейтральность. Здесь «территория вкуса» не объявляет смертельную войну «теории вкуса», тут все очень просто, но что важно, простота у Шехтера умышленная. Она-то и есть его стиль, стиль, за которым стоит большая традиция. Вспомним хотя бы, что говорил Мартин Бубер о кажущемся отсутствии литературных изысканий и экспериментов в жанре притчи:

«Слова, используемые для описания такого опыта, — не просто слова; они обладают свойством сообщать последующим поколениям происшедшее во всей той действенности, какой обладают слова, в самих себе становящиеся действием. И поскольку эти слова служат вечному сохранению святых дел, они освящаются этими делами».

Мартин Бубер, “Хасидские истории”

Или вот еще очень важные его слова из предисловия к «Хасидским историям»:

«Одного равви, чей дед был учеником Баал Шема, как-то попросили рассказать историю. “Историю, — ответил он, — нужно рассказывать так, чтобы она сама собой доставляла слушателям помощь”».

Широким читательским массам, - а обе писательские ипостаси Якова Шехтера, которые в нашем обзоре представляют две его новые книги, обращены, направлены именно к ним, - хорошо бы представить хотя бы вкратце Баал Шема, имя которого будет попадаться не раз и у Мартина Бубера, и на страницах «снегопадной» книги Шехтера.

Рабби Исраэль Баал Шем Тов (настоящее имя — Исраэль бен Элиэзер; 1698-1760) является основателем одного из самых распространенных движений в иудаизме - хасидского. В хасидизме, как, наверное, в любом религиозном движении, форма передачи постулатов играет огромную роль. И легендарный хасидский рассказ - одна из таких форм. Он не только позволяет сохранить сакральность учения, но и доводит ученика к пункту назначения. Он - метафора, правящая миром.

От Платона мы знаем, как застывал на целые сутки Сократ, обдумывая то или иное положение вещей, как он после удивленно находил самого себя посреди какой-нибудь городской площади или улицы. О Баал Шем Тове хасидские предания рассказывают, что, уходя на целую неделю в лес, р. Исраэль брал с собой шесть хлебов и кувшин воды, а уже в канун шабата, собираясь домой, он обычно обнаруживал все шесть хлебов нетронутыми и каждый раз искренне тому удивлялся, настолько глубокой оказывалась его погруженность в постижение сокровенных тайн мироздания.

Согласно преданию, Баал Шем Тов не спал более двух часов в сутки и ночами постигал тайны Торы. Одним из основных положений его учения является то, что ученость вовсе не обязательное условие для подлинного служения: порой простая молитва, исходящая из чистого сердца, может привести к высочайшей степени двекута (близости к Всевышнему). Этому положению придерживался и Мартин Бубер, будучи крупнейшим мыслителем своего времени. Не отходит от зерна учения и Яков Шехтер. Стало быть, мы смело можем назвать его последовательным учеником Мартина Бубера.

Почему халы (субботний хлеб) первой послепасхальной субботы напоминают ключ по своей форме, а иногда в них

даже «запекают» настоящий ключ? Почему светскому еврею, управляющему землями принца крови, возжелавшему вдруг жениться на красавице-еврейке и провести свадебный обряд по еврейской традиции, отказывает главный раввин города Кракова? И почему, когда еврейский вельможа все-таки добивается своего, под ногами брачующихся вдруг разверзается земля, и богохульники летят в пропасть?.. Почему, почему, почему?..

«Прошел год, - думал Шимон. - За целый год у меня ничего не изменилось к лучшему, а для Реувена темнота стала еще гуще. Почему ребе помешал нам спастись? Неужели нам всю жизнь суждено мыкаться и бедствовать?»

Яков Шехтер, «Есть ли снег на небе»

Почему ребе из новеллы «За пологом тайны», «зрячий» в силу своего служения, своей профессии, обычно никогда не приоткрывающий тайн, того, что может случиться в будущем с его посетителями, вдруг это правило нарушил? Что такого необычного он увидел в просителе?

«- Ты и твой друг пришли в наш мир четвертый раз, поэтому ваша жизнь никогда не будет ни спокойной, ни счастливой. Ваше подлинное счастье - страдание, - я все эти годы старался вести вас по наиболее легкому из путей. Однако Шимон не послушал моего совета, и теперь Всевышний назначил ему другой способ искупления».

Яков Шехтер, «Есть ли снег на небе»

Мы все живем искуплением, долгами за жизнь, иначе не бывает, и у каждого из нас свои долги, и свой час расплаты.

Когда мы говорили о том, что «легендарные» шехтеровские рассказы как бы освобождены от стиля, от авторского звучания, мы вовсе не имели в виду, что они освобождены и от высокой поэзии, что можно проиллюстрировать концовкой всё той же, обратившей на себя наше внимание новеллы — «За пологом тайны»:

«Бесконечное звездное небо начиналось прямо над крышей дома Ангела и тихо плескалось, цепляясь за конек».

Яков Шехтер «Есть ли снег на небе»

В сборнике Якова Шехтера немало мест, которые хочется выписать в тетрадку или в телефонные заметки, чтобы периодически заглядывать в них, черпая силы. Нам кажется всё верным, всё правильным из написанного у Шехтера. Но что значит — поступать правильно? «Правильно», простите, с чьей колокольни будет? Следуй заветам предков, следуй заповедям, и они обеспечат тебе «правильное» существование? Но ведь есть моменты в жизни, и есть места

в книгах, где лучше всего вовремя остановиться. Принять индивидуальное решение.

Какая совершенно дивная, сотканная в духе итальянских новеллино история про бедного, но честного человека рассказана Шехтером. Казалось бы, тема эта давным-давно отыграна и заперта на ключ из-за чрезвычайно изощренной циничности нашего времени, однако Шехтер и этой старой теме находит новое, особое звучание. Вот начало рассказа «Бедный, но честный»:

«Когда Ихиель думал о своей жизни, она представлялась ему мокрым от дождя кустом ракиты. Бьет его ветер, нещадно поливает дождь или жарит солнце, а он знай себе растет, цепляясь корнями за поросший травой склон, сбегаящий к петлявой речушке».

Яков Шехтер «Есть ли снег на небе»

Бывает так: люди теряют всё, что имеют, а взамен приобретают деньги, нет, точнее всего лишь только деньги! Тоже мне, счастье для настоящего еврея, за которым тянется шлейф из четырех с половиной тысяч лет истории предков!

Когда читаешь «легендарную» прозу Якова Шехтера, эти четыре с половиной тысячи лет держишь в уме, и сам не замечаешь, как с каждой рассказанной историей они становятся тебе самому впору, как незаметно преображают тебя, присыпают снегом мудрости. И тогда века несутся, срываются навстречу к тебе города и местечки, и чьи-то грязные сапоги, застывшие у печки, вдруг становятся твоими... и чья-то сварливая жена, и голодная детвора...

Можно не запоминать лица героев книги: уже к рассказам «Соломенная вдова» или «Чистое воскресенье», все они приобретут знакомые черты, - да что там «черты», если уже к разделу «XX век» голос Якова Шехтера постепенно начнет звучать, как наш собственный. Как только это случится, Тель-Авив окажется рядом с Москвой, бок о бок, и теплый огонь субботних свечей, тех самых, которые возжигали когда-то наши бабушки, дотянется до читателя.

В «легендарных» рассказах Якова Шехтера, которые он пишет уже много лет, не встретишь каких-то детальных прорисовок быта цадиков (наставников-праведников) и их учеников, эпоха не откладывает отпечатка на внешности героев притч, не угадывается она и по запахам, не разложена по цветам, украшению стен жилья, моде и технологиям своего времени. Все это отвлекающие от сути вещи, — белое поле, пустота, в которой мы живем, и которая

не кажется нам пустотой до той поры, пока разум наш, привыкший к обустроенному быту, не осветит однажды вспышка, разом меняющая все в нашей жизни. Если, конечно, мы не забудем о случившемся, но развиваем в себе новые, ниспосланные нам свыше качества. Вот почему в эзотерической прозе Шехтера всегда царит межсезонье: может снег пойти большими хлопьями, а может грянуть дождь — в точности, как в знаменитой английской присказке для детей. Нет ничего определенного — ничего, кроме совершаемого во славу Бога и чистоты человеческих сердец.

Яков Шехтер к своей «снежной» книге шел долго, его путь не был изначально прям, о чем свидетельствует одно из лучших произведений Якова Шехтера, написанный им ранее роман «Вокруг себя был никто». Поиски Истины в этом романе проходят сразу в нескольких плоскостях, на нескольких исторических орбитах, на одной из них, мы угадываем автора книги — искателя, временно примкнувшего к печально известной секте Абая. Нам часто кажется, и, возможно, не случайно, что истина, в силу своей непогрешимости, банальна, и лишь наши поиски ее, наши вековые блуждания по-настоящему оригинальны. Не будь их, не будь чужих арыков с теплой водой, еще неизвестно, добрался бы Шехтер до родных хасидских берегов. Не поэтому ли почти в каждом его произведении двое героев, путешествующих сквозь годы и расстояния, движутся навстречу друг другу.

Яков Шехтер. «Вокруг себя был никто». Серия «Путь мастера» — Р.-на/Д: «Феникс», 2004.

Мартин Бубер как-то обмолвился, что опубликовал, мол, всего лишь десятую часть от своих многолетних изысканий. Сколько еще хасидского наследия, сколько еврейских эзотерических притч имеется в запасе у Якова Шехтера, израильского писателя, пишущего по-русски, мы не знаем, но можем догадываться по количеству опубликованных им книг в серии «Голос в тишине». Много? А сколько суббот должно быть, чтобы на каждую хватило по притче?

В своей книге Яков Шехтер переводит и пересказывает хасидские предания, собранные когда-то раввином Шломо-Йосефом Зевиним. То, что он не пишет их сам изначально, его заслуг не умаляет: рассказать историю так, чтобы она прозвучала - высочайшее мастерство. Тут мы можем воспользоваться случаем и очень к месту вспомнить о большом мастере интерпретаций Хорхе Луисе Борхесе. О

том, как он умел из газетной статьи, рецензии на книгу, энциклопедической справки сделать блистательное произведение искусств.

Несомненно, Яков Шехтер искусством переименования, переписывания старых притч также обладает. Тому немалое подтверждение тот факт, что его эзотерическая проза любопытна не только «еврейской улице»: «легендарные» рассказы Якова Шехтера в состоянии оценить и проникнуться ими как подготовленная публика из религиозных кварталов в Иерусалиме, так и российский искатель, тот, кто в очередной раз, с очередной приобретенной книгой не теряет надежды поймать и удержать душевное равновесие. Книга Якова Шехтера «Есть ли снег на небе» поможет ему устоять на Пути, а книга «Хождение в Кадис» - благородно развлечься. На том же Пути.

С любезного разрешения «Лабиринта»

Талант поёт по-своему...

*О поэтической книге Фаины Судкович «Я всё придумала»
(Иерусалим, 2022).*

Поэты – как певчие птицы. У каждой – своя песня. Я не видел ни одного жаворонка, огорчающегося, что он не соловей, и ни одного чирика, мечтающего стать канарейкой. И те, кто недоволен песней зяблика, могут отдохнуть на вечернем концерте лягушек. Поэты естественны, как певчие птицы, и так же беззащитны; они прячутся в литературном лесу, но выдают себя голосом, и злые мальчишки-критики ловят их в журнальные сети, чтобы продать подороже и посадить в клетку классификации. А поэту так же нужна моя классификация, как вольной пташке – клетка. И если я, раздражённый зоил, посмею указать на несовершенство стиха или на лёгкую хромоту рифмы, - что сделает истинный поэт? Да то же самое, что и весенняя птица – продолжит петь. И никакое моё карканье о том, что автор – должник аудитории, что литературный процесс экономически обусловлен, и что безвестность – не признак мастерства, во внимание принято не будет. Песни не остановить! По моим подсчётам, весьма приблизительным, каждый день (кроме Йом-Кипура) в Израиле на русском языке выходит в свет в среднем одна новая книжка. Не в огромной России, где пока ещё говорят по-русски, а в маленьком Израиле – где тоже пока ещё по-русски говорят.

Новая книга, ради которой я занимаю своё бесценное и ваше ещё более ценное время, называется «Я всё придумала». Не пугайтесь – это стихи. Многие из них уже стали песнями, другим такое ещё только предстоит. Написала эту книгу Фаина Судкович; написала искренне, весело, легко, самостоятельно. В эпоху всезнающего «Гугла» трудно спрятаться – поэтому, прежде чем приставать к автору, я узнал о ней то же, что теперь знаете и вы: симпатичная женщина с высшим образованием, двое сыновей, живёт в Афуле, работает инженером на местной фабрике электроники. Если бы в Израиле до сих пор активно действовали бы «русская партия» и русские газеты - верный источник скандала и заработка, - то Фаину Судкович можно

было бы описывать как пример удачной абсорбции. И поэтическую книгу я бы приплёл туда же: вот как расцветают таланты на исторической родине. Но Израиль готовится к приёму и интеграции новой волны алии, антивоенной – массовой и понимающей по-русски. На таком фоне успешная абсорбция тридцатилетней давности выглядит почти мифом; вроде как подвиги первопроходцев движения «Гехалуц» на заре создания государства. Таланты и творцы, наскоро отряхнув с ног своих российский прах, активно пытаются занять достойное место и в новом окружающем их обществе: гей, ватики, посторонись; свежие соловьи прилетели! А наши уютно обжившиеся дрозды, иволги и зяблики всё продолжают петь, неторопливо и уверенно.

Что ж, поговорим о неотчётливой связи яркой личности с вневременным творчеством. Что я могу? – только задать автору важные, но и - в глубине - ехидные вопросы, надеюсь, что автор проговорится о том, как ему стыдно отнимать читательское внимание, и на какую клетку (классификации, разумеется) он претендует. Это я и сделал. А Фаине Судкович чуждо всякое ехидство; чуждо до такой же степени, в которой оно свойственно мне. Потому и отвечала она правдиво и спокойно.

- *Напомню фразеологизм: «Может ли быть что доброе из Назарета?» Почему Афула? Не грустно ли вам чувствовать себя на периферии поэтического процесса?*

- Я не знаю, что такое периферия поэтического процесса. Скажу больше: я не знаю, что такое поэтический процесс. Живу в Афуле, потому что мне нравится здесь жить. Если точнее, не в самой Афуле, а на холме Гиват ха-Морэ. Из моего окна открывается невероятной красоты вид на Изреэльскую долину. Вот, к примеру, стихотворение "Жизнь происходит" я написала, глядя на гору Гильбоа. И солнце, которое садится за жёлтым холмом, садится именно за горой Гильбоа.

Здесь, как и везде, живут очень разные люди, среди них - мои друзья. Здесь живёт Катя Удадь, моя соратница по сотворению песен. Вместе мы называемся «Дуэт СУДоКУ». Создаём песни, многие из них - на мои стихи и мелодии. Катя - прекрасный музыкант и тонко чувствует поэзию в музыке и музыку в поэзии.

Ещё я пою в ансамбле "Вокализ", в составе которого побывала уже на фестивалях во Франции и в Испании. А в Израиле мы дважды были участниками прекрасного фестиваля в Абу-Гош.

Если же вернуться к теме периферии, то думаю, что никакой периферии сейчас и не существует. Стоит зайти в «Фейсбук» или «Зум», - и пожалуйста, общайтесь с поэтами и бардами Израиля и всего мира. Публикуйте, читайте стихи, пойте песни. Что я и делаю.

- Как вы полагаете, талантливы ли вы? И если да – то что такое, по вашему мнению, литературный талант? Возможна ли у истинного поэта счастливая судьба?

- Знаете, я бы поставила вопрос чуть иначе: считаю ли я себя талантливой? Считаю. Иначе не рискнула бы публиковать свои стихи. Мне нравится этот Божий дар, хотя он - и нелёгкое испытание. Поэт ведь живёт от стиха до стиха. Потом - от начала стиха и до финала. Такой вот круговорот стихов в поэте.

Если говорить о литературном таланте, то он для меня - прежде всего чувство языка. Новых тем мы не придумаем. После Шекспира их практически не осталось. Но вот умение увидеть и сказать как-то иначе, взглянуть под своим углом, и при этом так, чтобы читатель удивлённо согласился с автором - это и есть, на мой взгляд, литературный талант. Есть ещё очень важное качество настоящего поэта. Каждое слово должно стоять на своём месте и работать. А это - большой труд. Но очень радостный.

Возможна ли у истинного поэта счастливая судьба? Мой ответ: вполне. Хотя это, конечно, благодатная тема для шуток. Каюсь, и я по ней в стихах не раз проходила. Взять хотя бы песенку "В доме поэта".

Не будем забираться в дебри вопроса, что такое счастье. Поэт может быть счастливым или неудачником, добряком или завистником, ворчуном или балагуром. Его отличает от всех прочих лишь умение тонко чувствовать, мыслить и говорить по-своему. В том числе, и о счастье.

- Вы в Израиле с 1993 года, то есть около тридцати лет. За эти годы собрана только одна ваша книга. Почему так скромно? Многие другие, с позволения сказать, писатели числят за собой десятки стихотворных сборников. Что мешает вам прийти к своему читателю? Отсутствие этого самого читателя?

- Я давно задумывалась о книге. Но сейчас, как вы верно подметили, издают книги все, кому не лень. А мне было лень. К тому же, если сравнить библиографию великих с десятками томов какого-нибудь графомана, то вспомнишь невольно Ленина с его «Лучше меньше, да лучше».

Но время, видимо, пришло. Да и неудобно стало объяснять на концертах, почему моей книги пока нет.

Так что отсутствия читателей я не ощущаю. Возможно, пока. Поэзия, в принципе, искусство элитарное, поэтому и читателей её гораздо меньше, чем прозы. Значит, опять же - меньше да лучше.

- Как относятся ваши близкие к результатам ваших литературных усилий? Хвалят ли они ваши стихи? Помнят ли их наизусть? Понимают ли они проблемы, о которых вы пишете?

- Мои близкие в качестве моих читателей делятся на три категории. Сыновья - почти не читают моих стихов, поскольку принадлежат к другому поколению, к тому же, они живут в другой языковой атмосфере. Оба прекрасно говорят по-русски, но местный культурный слой интересует их гораздо больше. Хотя на наши концерты иногда приходят. И даже обсуждают со мной мои песни.

Мама и сестра читают, поддерживают меня, иногда критикуют. Папа, благословенна его память, гордился моими стихами и всегда убеждал меня издать книгу. Есть в семье и человек, знающий некоторые мои стихи наизусть. Но это, скорее, исключение, а не правило.

Знакомо, правда? Нет пророка в своём отечестве...

- Каковы ваши отношения с ивритом? Знакомы ли вы с современной ивритской литературой?

- С ивритом у меня самые тёплые отношения. Я прекрасно на нём говорю, пишу и читаю. Но стихи писать не хочу. Иврит для меня - не родной язык, думаю и дышу я по-русски. А значит, стихи на любом другом языке будут переводом. А это уже совсем другая история.

С ивритской литературой я знакома поверхностно, к сожалению. Хотя пою песни на стихи ивритских авторов: Ханы Сенеш, Авраама Шлёнского, Дана Альмагора, например.

- Почему из всех литературных жанров вы выбрали именно «поющую поэзию»? Замечаете ли вы, что необходимость рифмовать связывает авторскую мысль, делает её несвободной? Или рифма вам совершенно не мешает? Пробовали ли вы писать прозу?

- «Поющая поэзия» - хорошее название, правильное. Теперь-то я понимаю, что этот путь был для меня неизбежен. Для человека с музыкальным образованием и хорошим голосом, пишущего мелодии и стихи, нет шанса не начать сочинять песни. Я давно определилась с

приоритетами, слово для меня всегда стоит на первом месте. Это, кстати, одно из основных отличий авторской песни от всех других. Но музыка и голос помогают мне точнее донести эмоцию и интонацию. Кроме того, я просто люблю петь, и говорят, это у меня неплохо получается.

Теперь о рифме. Для меня она, скорее, соратник, а не препона. Конечно, иногда бывает трудно найти нужную рифму и при этом ещё и точно передать мысль или образ. Но в этом же и интерес! Это почище любого sudoku будет. А главное достоинство рифмы в том, что она ведёт поэта за собой, даёт идеи по развитию ткани стиха. Иногда задуманное изначально философическое стихотворение превращается в ироническое, или наоборот. И всё благодаря удачной рифме. Нет, рифма - безусловно, благословение для поэта.

Прозу я не пишу. Возможно, пока. На неё нужно слишком много времени, которого у меня нет. Стихи я обычно сочиняю, занимаясь чем-то ещё. На прогулке, за варкой супа, за рулём. Пока мне вполне хватает поэтических инструментов для высказываний. Кроме того, как я сама написала: «Когда не пишутся стихи, пишите прозу». У меня, к счастью, стихи пока пишутся.

- *Можно ли назвать вас «типичной представительницей русскоязычного поэтического и бардовского сообщества»? Поддерживаете ли вы связи с коллегами? Есть ли среди них ваши конкуренты?*

- Полагаю, немного найдётся женщин, которые согласятся назваться типичной представительницей чего бы то ни было. Что уж говорить о поэтессах!

А если серьёзно, я не могу назвать свои песни бардовскими. Они, скорее, авторские. Потому что хоть мы с Катей и поём их под гитары, но используем разные стили. К сообществу же, и бардовскому, и поэтическому, я вполне отношусь. И горжусь этим. Я с удовольствием общаюсь с этими людьми, встречаюсь с ними в клубах, на концертах и посиделках; многие из них - мои друзья. Это целый мир, и я счастлива, что он у меня есть.

Вопрос о конкурентах мне показался немного странным. Что такое конкуренция в творчестве? Поскольку я убеждена, что талант даётся человеку свыше, меряться им глупо. Создавай своё, насколько хватит таланта, трудись, не зарывай его в землю, - и будет тебе счастье. А если рядом с тобой талантливые люди, это ещё одно счастье. Не каждому, кстати, доступное.

- Ваша поэтика очень чувственная, искренняя, душевно открытая. Не кажется ли вам, что это – сродни духовному стриптизу, сродни публичному обнажению?

- Это вопрос простой и сложный одновременно. Что, собственно, есть поэзия, как не духовное обнажение? Кстати, обнажение, вполне может быть красивым, особенно обнажение женщины.

Вы замечали, как часто люди стесняются читать на публике свои стихи? Думаю, именно потому, что боятся обнажиться. Хочет поэт или не хочет, в свои стихи он вкладывает себя. Поэтому мои стихи - это я. В настоящих или придуманных обстоятельствах. Да, даже в вымышленных ситуациях я так бы чувствовала, о том бы думала. Так бы увидела этот мир. Конечно, часть моих стихов автобиографична. Как и все, я проходила немало сложных и счастливых моментов в жизни. И практически каждый отозвался в моих стихах. Я считаю, только так и можно писать стихи. На мой взгляд, самое ценное, что дано человеку - эмоции. Именно для них мы существуем и благодаря им называемся людьми.

Роман Кацман
Елена Промышлянская
Алексей Сурин

Дневник событий русско-израильской литературы. Июль-сентябрь 2022

Русско-израильская литература сегодня — это сотни авторов-израильтян, пишущих по-русски, едва ли не ежедневные литературные и критические публикации, мероприятия, фестивали, конкурсы, премии, интервью, переводческие проекты. Мы поставили своей целью собрать эту обширную и разнородную мозаику значимых событий в один постоянно обновляющийся дневник. В нём мы пишем о том, что привлекает наше внимание, либо вызывает у нас живой интерес, либо представляется нам в той или иной мере значимым с точки зрения русско-израильского литературного процесса. В своём выборе, что включено в этот процесс, мы исходим из наиболее расширенного определения и временно откладываем теоретические споры в сторону. Мы не претендуем на объективность и полноту описания, в наших дневниковых записях мы зачастую высказываем лишь свои наблюдения, критические и оценочные суждения.

Наша хроника начинается с трагической вехи — с 24 февраля 2022 года, даты начала полномасштабной фазы преступной войны России против Украины. Мы очень надеемся, что сможем вскоре отметить здесь и ее окончание.

В полном объеме дневник публикуется на сайте кафедры еврейской литературы Университета им. Бар-Илана по-русски и на иврите (<https://hebrew-literature.biu.ac.il/en/diary>).

4 июля 2022

В Университете им. Бар-Илана, в рамках программы по русско-еврейской и русско-израильской литературе, состоялась презентация перевода на иврит романа Елены Минкиной-Тайчер “Эффект Ребиндера”. В мероприятии также приняли участие переводчица Вика Лир, поэт и переводчица Сиван Бескин, заведующая кафедрой еврейской литературы Университета им. Бар-Илана д-р Веред Тохар, директор издательства “Ктав”, опубликовавшего книгу, Моше Менашехоф. Фрагменты из романа прочла актриса и художница Дорота Биалес; прозвучали музыкальные фрагменты в исполнении Жанны Гандельман (скрипка) и Елены Чудаковой (фортепиано). Вёл вечер проф. Роман Кацман.

5 июля 2022

В Иерусалимской городской русской библиотеке состоялась презентация антивоенного сборника «Дайте нам жить! Писатели против войны». В мероприятии приняли участие авторы, произведения которых составили сборник: поэт Александр Бинштейн, автор романов «Поле боя при лунном свете» и «Четыре крыла земли» Александр Казарновский, прозаик Нина Ягольницер-Фоменко и другие. Сборник «Дайте нам жить! Писатели против войны» вышел в «Издательском доме Helen Limonova» в серии «Современная израильская литература XXI век». Составитель книги Александр Бинштейн. Авторы сборника, как сказано в аннотации, русскоязычные израильтяне, которым не безразлична трагедия войны в Украине. Стихи, рассказы, очерки, вошедшие в сборник, были написаны в разное время: часть - в период эскалации конфликта на Донбассе, другие - уже после нападения России на Украину. Многие произведения содержат свидетельства очевидцев, как сообщённые авторам устно, так и опубликованные в социальных сетях.

6 июля 2022

В польском научном журнале “Studia Rossica Posnaniensia” (vol. XLVII/1: 2022, pp. 75–89) опубликована статья Мирославы Михальской-Суханек «Проза Анны Файн. Русско-израильская версия еврейского юмора». В статье прослеживается развитие еврейского юмора в литературе с начала XX века в странах Центральной и Восточной Европы, через волны иммиграции в Палестину до основания государства, и до литературы современного Израиля. По словам исследователя, «юмор Анны Файн – одной из важнейших представителей русско-израильской литературы – находится на пересечении традиционного еврейского юмора, израильского юмора и менталитета репатрианта». Рассматриваются такие рассказы Файн, как «Долив после отстоя», «Горячее пиво Кракова», «Колодец перевоплощений», «Нахальная квартирантка», «Программистка и её демон», «Слушай песню неба», «Зеркало времени» и другие.

7 июля 2022

В возрасте 72 лет в Израиле скончался Игорь Бяльский - поэт, переводчик, редактор «Иерусалимского журнала», а также издательского проекта и веб-сайта «Иерусалимская

Антология». Игорь Бяльский родился в 1949 году в Черновцах. Жил в Украине, в России, в Узбекистане. В Израиль репатриировался в 1990 году. Бяльский — один из основателей и главный редактор «Иерусалимского журнала», существующего с мая 1999 года. С 2004 года Бяльский вел семинары «Мастерской поэтического перевода» (вместе с Зезвом Султановичем) и литературные вечера в Доме наследия Ури Цви Гринберга (Иерусалим). Бяльский — автор сборников стихов «Города и горы» (1986), «Времена города» (1988), «На свободную тему» (1996), «На улицу Хеврон» (2016). Стихи Игоря Бяльского включены в антологии «Строфы века», «Освобождённый Улисс», «Авторская песня» и другие. Его переводы из Джона Апдайка вошли в антологию «Строфы века II». В 2005 году в интервью журналу «Лехаим» Бяльский определил феномен русско-израильской литературы как принципиально не эмигрантской. «Хемингуэй, сколько бы ни жил во Франции или на Кубе, всегда оставался американским писателем. Писатель же, уезжающий в Израиль, принимает решение репатриироваться – не пожить в другой стране, а стать израильтянином». Опыт осмысления израильских проблем, подчеркивал Бяльский, «влияет на писателя, приехавшего [в Израиль] даже пять лет назад, даже если он пишет рассказ, действие которого происходит в Москве. У такого человека уже израильский взгляд на происходящее. Сказанное вполне может быть отнесено ко всей израильской литературе на русском языке. У неё израильский взгляд».

7 июля 2022

В Израиле умерла поэт и переводчик Рина Левинзон. Левинзон родилась в подмосковном городе Электросталь 18 октября 1939 года. После эвакуации вместе с семьей жила в Свердловске (ныне Екатеринбург), где окончила Институт иностранных языков при Уральском пединституте (1963). Затем работала в школе преподавателем английского языка. Первые стихи Левинзон были опубликованы в 1962 году. Печаталась в свердловских газетах и журналах. В 1976 году она репатриировалась в Израиль. Выпустила более двадцати сборников стихов и переводов на русском, иврите и английском. Её стихи включены в антологии, изданные в Израиле, России, США и Германии, переведены на иврит, английский, немецкий, голландский и арабский. Левинзон лауреат Международного конгресса поэтов (Хайфа, 1992), премий Фонда города Тель-Авив и Фонда Президента

Израиля, а также других литературных премий. Мужем Рины Левинзон был поэт, переводчик Александр Воловик (1931–2003).

13 июля 2022

В Иерусалимской городской русской библиотеке состоялась презентация второго расширенного издания книги Арье Бараца «День шестой». Она включает романы «1836», «1988», «2140» и «1929/1945». Как сказано в аннотации к изданию, «День шестой» — «захватывающий интеллектуальный триллер, основывающийся на столь же реальных, сколь и загадочных событиях жизни автора, и приоткрывающий таинственную связь между разбросанными в веках творцами мировой культуры». Александр Иличевский в своей рецензии определил жанр книги как «метафизические приключения», а Алекс Тарн назвал включенные в книгу тексты романами «не людей, но идей». Первое издание вышло в издательстве «Алетейя» в 2019 году. Арье Барац — литератор и публицист, автор ряда художественных и религиозно-философских книг: «Лики Торы», «Два имени Единого Бога», «Там и всегда», «Теология дополнительности», «Мессианский квадрат» и других. Родился в 1952 году в Москве, с 1992 года проживает в Израиле. С 1999 по 2018 год вёл в русскоязычной израильской газете «Вести» еженедельную религиозно-философскую рубрику.

13 июля 2022

Опубликован №15 журнала “Двоегодие” на иврите (“Некудатаим”), посвященный “украинскому проекту” Гали Даны Зингер и Некода Зингера – переводам на иврит украинской поэзии, как классической и народной, так и современной, а также поэзии о русско-украинской войне на других языках (английском, русском, немецком). Переводы сопровождаются текстами оригиналов и информацией об авторах, а песни – также и нотами. Стихотворения переведены Гали Даной Зингер, Некодом Зингером, Сарой Кой, Дианой Шапира, Александром Авербухом, Ионией Гонопольским, Шломо Кролем. В номер включен также рассказ Н. В. Гоголя “Заколдованное место” в переводе Н. Зингера.

14 июля 2022

В издательстве «Livebook Publishing House» вышла новая книга Линор Горалик «Чёрный огонь Венисаны» — четвёртая

книга цикла о двенадцатилетней девочке Агате, которая, как пишет автор, «пытается после войны, развязанной и проигранной её народом, спасти свою распадающуюся семью». В «Чёрном огне» Агата, желая помирить своих родителей, поссорившихся из-за войны, попадает в Венисальт, куда навеки ссылают самых опасных преступников. Здесь она разговаривает с мертвыми, признается самой себе в трусости, разоблачает странный монашеский орден и становится свидетельницей того, как правда творит чудеса. Первая книга, открывшая цикл о приключениях Агаты, «Холодная вода Венисаны» вышла в 2018 году. За ней последовали «Двойные мосты Венисаны» (2020) и «Тайные ходы Венисаны» (2021). Книга «Холодная вода Венисаны» принесла Горалик премию «Бегущая по волнам» (Россия, 2019) в номинации «Женский образ в фантастических произведениях».

20 июля 2022

В издательстве Veit Nelly вышел в свет девятый номер альманаха «Литературный престиж». В сборнике участвуют 60 авторов: Леон Агулянский, Ирина Бель, Леонид Беркович, Елена Горовая, Александр Каневский, Яков Каплан, Ольга Мороз, Эдуард Тополь, Римма Ульчина, Рут Фейгель и другие.

24 июля 2022

В Музее Еврейского народа (АНУ) состоялась презентация книги российского писателя, историка и журналиста Петра Алешковского «Хроники русско-украинской войны», вышедшей в Израиле в издательстве «Библиотека Михаила Гринберга». Книгу составили рассказы и посты в Facebook, размышления и очерки автора о Москве и России военного времени. По словам критика Николая Александрова, выступившего рецензентом книги, новая работа Алешковского — «хроника безумной войны, которую в России запрещено называть войной. [...] Страшная хроника, дышащая каким-то особенным, душным страхом и отчаянием». В презентации и обсуждении книги приняли участие историк Тамара Эйдельман и издатель Михаил Гринберг. 28 июля презентация «Хроники» также прошла в Иерусалиме, в Центре наследия Бегина. Организатором встречи стала русскоязычная культурная платформа «Иерусалимский клуб», начавшая работу в стенах Центра Бегина в феврале 2022 года. Открывая

мероприятие, Михаил Гринберг отметил, что война в Украине стала тяжелым ударом для «всех думающих людей, которым не чужды интересы России и Украины». Книгу Алешковского он назвал литературной «рефлексией на события, которые происходят на востоке Европы». Сам автор книги рассказал, что написание «Хроник» было для него «одновременно истерикой и спасением от истерики». Писатель упомянул, что часть рассказов, составивших книгу, основана не только на его размышлениях об ужасе происходящей войны, но и на беседах и интервью с людьми, которых он встретил, путешествуя по России в первые военные месяцы. После вступительного слова, Алешковский прочел три рассказа из своей новой книги. Математик и переводчик Зеэв Гейзель прочел антивоенные стихи Бориса Слуцкого и Юрия Левитанского в собственных переводах на иврит. В ходе обсуждения темы войны в Украине Алешковский отметил, что должен в ближайшие часы уехать в Россию, однако, вероятно, вернется в Израиль, так как стал гражданином страны.

Петр Алешковский — автор более десяти романов, сборников повестей и рассказов. В 2016 году он стал лауреатом премии «Русский букер» за роман «Крепость». Его романы «Жизнеописание Хорька» (1994), «Владимир Чигринцев» (1997) и «Рыба» (2006) становились номинантами на премии «Русский букер» и «Большая книга». С 2000-х годов Алешковский вел авторские программы на радио и телевидении, но прекратил сотрудничество с российскими СМИ и организациями после нападения РФ на Украину 24 февраля.

По нашему мнению, факт издания и презентации книги известного российского прозаика в Израиле на русском языке свидетельствует о том, что издательство Михаила Гринберга, АНУ и «Иерусалимский клуб» расширяют пространство русско-израильского культурного процесса и подключают к нему авторов, чьи книги в настоящее время по политическим и идеологическим причинам не могут быть изданы в России. Данное событие очерчивает роль Израиля как одного из центров осмысления развязанной Россией войны против Украины, и характеризует таких представителей русско-израильского сообщества как АНУ, «Иерусалимский клуб» и издательство Гринберга как активных инициаторов открытых творческих дискуссий и размышлений на эту тему.

29 июля 2022

В издательстве «Medial» (Ришон ле-Цион) вышла новая книга писателя Михаила Ландбурга «Пиццикато». Книгу составили новеллы и повести автора. Ранее в 2022 году Ландбург выпустил сборник короткой прозы «И да, и нет». Всего на счету этого литератора, родившегося в Литве в 1938 году и репатрировавшегося в Израиль в 1972 году, около 20 книг — романов, сборников рассказов и повестей.

2 августа 2022

В азербайджанском электронном издании Aydiyol.az азербайджанского центра переводов "Dövlət" опубликован рассказ Якова Шехтера «Ангел-водопроводчик». Перевод выполнен Арзу Раджабовой.

4 августа 2022

В тель-авивской библиотеке “Бейт Ариэла” состоялся двуязычный поэтический вечер «Из Одессы в Тель-Авив», посвященный поэзии Семёна Крайтмана. Автор читал свои стихи вместе с Викторией Ройтман-Аронович, которая перевела их на иврит. Во вступительном слове Крайтман рассказал о сложности творчества на русском языке в Израиле и о значении перевода на иврит и обращения к новым группам читателей. Виктория Ройтман-Аронович подчеркнула важность перевода на иврит и поблагодарила поэтессу Сиван Бескин за редактирование. В вечере также участвовал музыкант Вит Гуткин.

15 августа 2022

В книжном магазине «Бабель» в Тель-Авиве состоялся поэтический вечер и презентация сборника стихов Лены Берсон «Начальнику тишины», вышедшего в Израиле 9 августа 2022 года. На вечере Берсон прочла произведения, вошедшие в её дебютную книгу, а также несколько новых стихотворений. Книга «Начальнику тишины» опубликована тель-авивским издательством «Бабель». До этого стихи Берсон печатались в журналах «Этажи», «Иерусалимский журнал», «7 искусств», «45-я параллель» и других. Заглавием сборника послужили последние строки из стихотворения «А что, если здесь выйти нам?», посвященного опыту осмысления жизни после 24 февраля, когда «Кого-то стирают начисто/ С лица не твоей земли». Лена Берсон окончила журфак МГУ, в 1991–1996 году была соредактором газеты «Шарманщик» при Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой. С 1999 года живет в Израиле,

работает редактором. Берсон – лауреат и дипломант Волошинского конкурса (2017 и 2019), финалист конкурса поэзии «Заблудившийся трамвай» (2019).

17 августа 2022

В Иерусалиме в кафе «Маленький принц» состоялась презентация нового сборника стихов поэта и переводчика Гали-Даны Зингер «Всё, на что падает свет». Открыл вечер писатель Александр Иличевский, прочитавший два стихотворения из сборника: «Ненависть к анапесту» и «Ostinato». Затем стихи из девятой по счету книги стихов Зингер на русском языке прочли поэты Лена Рут Юкельсон и Михаил Король, журналист Меир Иткин, режиссёр-документалист Ева-Катерина Махова, писатель и переводчик Некод Зингер. В завершении вечера стихи из книги «Всё, на что падает свет» прочла сама Гали-Дана Зингер, иногда сопровождая их коротким комментарием. Например, поэт рассказала, что при создании цикла «За Шлегелем» она использовала машинный перевод Google Translate со стихов Шлегеля, переводя их с немецкого на русский и на английский, а затем соединяя полученные переводы в единый текст. После этого Зингер писала свой «отзыв, эхо» на то или иное стихотворение Шлегеля, из чего и сложился цикл, ставший частью её нового сборника.

18 августа 2022

В российском издательстве «Пальмира» вышла книга Александра Бараша «Чистая радость», в которую вошли новые стихи автора. Предисловие к сборнику написал поэт, профессор Самарского университета Виталий Лехциер. Для поэта и переводчика Александра Бараша «Чистая радость» — шестой по счету поэтический сборник.

22 августа 2022

В издательстве «Beit Nelly» вышел в свет новый роман писателя Льва Альтмарка «Душа улитки». Лев Альтмарк родился в 1953 году в Брянске. После окончания Института транспортного машиностроения работал инженером, учителем, журналистом. В 1990 году поступил в Литературный институт им. Горького на семинар А. И. Приставкина. В 1995 году переехал в Израиль, живёт в Беэр-Шеве. Опубликовал одиннадцать поэтических сборников и двадцать одну книгу прозы разных жанров: реалистические романы, приключения, фантастика, детективы, юмор, а также переводы.

25 августа 2022

В сети вышел новый, третий по счёту номер ROAR (Russian Oppositional Arts Review, "Вестник оппозиционной русскоязычной культуры"). В нем собраны почти 250 публикаций на русском и английском языках: поэзия, эссе, проза, драматургия, а также художественные и музыкальные работы. Главный редактор издания Линор Горалик во вступительном слове к номеру отмечает, что работы третьего выпуска ROAR говорят о «повседневном сопротивлении российскому властному насилию в самых разных его формах», подчеркивая, что другого способа победить и преодолеть его не существует. Русско-израильская литература представлена в номере работой Александра Бараша «Стихи о постсоветском человеке», тема которой – сопротивление лукавым нормам, подменившим собой десять заповедей «в советском и постсоветском мире».

30 августа 2022

В новом номере израильского литературного журнала «Мознаим» (דַּמְיוֹן) вышла статья поэта, журналиста и докторанта Бар-Иланского университета Алексея Сурина «По разные стороны бездны» (בְּצַדֵּי הַבְּהֵמָה) о реакции русско-израильской литературы на развязанную Россией войну против Украины. Статья рассказывает о личных инициативах писателей и культурных проектах, возникших в пространстве русско-израильской литературы после 24 февраля, пытающихся не только осмыслить происходящее, но и найти «язык мира, творчества и красоты, чтобы противопоставить его языку войны и насилия».

31 августа 2022

В московском издательстве "НЛО" вышел новый роман Елены Макаровой «Шлейф». Место действия книги, как указывается в аннотации, «карантинный Иерусалим, город, в котором события ветхозаветной истории и потрясения недавнего прошлого существуют бок о бок». Героиня романа, лишенная эго и не способная к самоидентификации, "ищет себя" в пустынном Иерусалиме и в документах нескольких поколений семьи, испытавшей ужас первых десятилетий Советской России. Документы, вплетенные в ткань повествования, а также письма и дневниковые записки становятся картой, ведущей героев романа сквозь "связь времен" к обретению вечно ускользающего "я". Сама

Макарова в своем посте о выходе романа отметила, что книга отличается от всего того, что она писала прежде. Журнальный вариант романа вышел в журнале "Звезда" в 2021 году (№№3–5). «Шлейф» - пятый роман в карьере писательницы и искусствотерапевта. Ранее у Макаровой выходили романы «Смех на руинах» (2008), «Фридл» (2012), «Глоток Шираза» (2020), «Путеводитель потерянных» (2020). Макарова – автор исторических циклов, посвящённых концлагерю «Терезин» и попытке его узников сопротивляться варварству нацистов с помощью искусства и творчества.

Август 2022

Вышел в свет 22-й номер журнала "Артикль". В нем можно встретить как хорошо известных читателям авторов, так и новые лица. В номер вошли русско-еврейская проза Рады Полищук, русско-израильская – Нелли Воскобойник, стихи Ирины Маулер, откликающиеся на войну России против Украины, и многие другие произведения, радующие разнообразием тем и стилей. Отдельно хочется отметить иерусалимские стихи Елизаветы Михайличенко, открывающей небывалые возможности проживать и познавать, проговаривать и пропевать Город, танцевать с ним и болеть им. Давид Маркиш публикует главы из своего нового романа «В отказе», исторического, художественно-документального повествования о борьбе советских евреев за выезд в Израиль с конца 1960-х годов, оказавшихся «на острове Отказ». В разделе «Нон-фикшн» публикуются воспоминания Нателлы Болтянской, Петра Люкимсона, Михаила Черейского, а также зарисовка Давида Шехтера о съемках в 2015 году в Израиле документального фильма В. Познера и И. Урганта «Еврейское счастье», вышедшего на телеэкраны в 2016. В рубрике «Стихи и струны» Ирина Морозовская представляет песни Аси Анистратенко, и здесь же публикуется одна из них, «Катастрофа» – горькая элегия, раздумье о вечном и о сегодняшнем: о том, что «и пир все время и чума всегда», и что в этом и состоит наша катастрофа.

1 сентября 2022

В издательстве «Beit Nelly» вышла новая книга Марины Старчевской «Палитра». По словам автора, в книгу включены произведения последних лет: стихи, рассказы,

басни, пародии, одностишия, а также стихи для детей. Марина Старчевская — автор 6 поэтических сборников для детей и взрослых, изданных в России и Израиле. Среди её книг: «Прогулки с булкой», «Где включается луна», «Голова садовая», «Боброта» и книга для взрослых «В пяти шагах от сентября». В сотрудничестве с композитором Евой Доминяк Марина Старчевская выпустила аудиокнигу для детей «Лето на носу». Она член Союза писателей Израиля, Международного творческого Объединения детских авторов, лауреат премии «Золотое Перо Руси – 2016» в России и премии им. Ф. Кривина за 2017 год в Израиле. Публиковалась в газетах и журналах России, США, Израиля, Финляндии, Украины, Германии.

4 сентября 2022

В Иерусалиме умер литератор, переводчик, журналист и сценарист Марьян Беленький. Марьян Беленький родился в 1950 году в Киеве. Он был создателем образа "Тёти Сони" (1989) для Клары Новиковой. Скетчи и монологи Марьяна Беленького исполняли Геннадий Хазанов, Любовь Полищук, Ян Арлазоров, Илья Олейников и другие артисты эстрады. В 1991 году Беленький репатриировался в Израиль, жил в Иерусалиме. Беленький - автор книг «Государство, это я» (1999), «Есть ли жизнь в Израиле» (1999), «Самоучитель жизни в Израиле» (2004). За рассказ «Письмо к Богу» литератор получил первое место на конкурсе "Иерусалим-2004". В переводах Беленького с иврита публиковались книги и пьесы Эфраима Кишона, Ханоха Левина и Батьи Гур. Произведения Беленького входили в шорт-лист международного Волошинского конкурса: "Спустя" (2011), в драматургической номинации "Давление времени" (мини-пьесы), "deva4ki" (2015), в номинации "Литпроцесс non-stop". Беленький печатался в русскоязычной прессе США, Канады, Германии, вёл авторскую программу на русском радио Чикаго «Народная волна». По рассказу Этгара Керета "Расколошматить Свина" в переводе Беленького снят мультфильм, режиссёром которого выступил создатель "Масяни" Олег Куваев.

1–11 сентября 2022

В Польше состоялось турне Якова Шехтера, во время которого он представил свои романы, вышедшие в переводе на польский язык в издательстве Roznanie: «Бесы и демоны» и «Однажды в Галиции». Во время турне писатель и главный

редактор журнала «Артикль» посетил города Варшава, Люблин, Краков, Вроцлав, Новы-Сонч, Карпач и Пивнична-Здруй, где встретился со своими польскими читателями.

9 сентября 2022

В израильском «Издательском доме Helen Limonova» вышла новая книга Даниэля Клугера «Театр одного поэта», в которую включены четыре пьесы и четыре драматических поэмы израильского писателя, переводчика и барда. Ранее в 2022 году в Москве (издательство «Ломоносовъ») у Клугера вышел сборник эссе о литературе «Вторая половина книги». Всего на счету писателя более 25 книг, изданных на русском языке и в переводе на иврит.

11 сентября 2022

В российском издательстве «АСТ» вышел роман Майи Гельфанд «Невидимые люди». Он рассказывает о судьбе женщины по имени Марина, приезжающей в Израиль на заработки, после того как её прежняя жизнь рухнула. «В чужой стране, без поддержки и сочувствия близких» она учится «жить по чужим правилам и находить радость в самых простых вещах». Автор книги отметила, что, работая над романом, ставила перед собой цель передать истории людей, которые приезжают в Израиль на заработки из Украины и России, однако «представить себе не могла, что вскоре нелегальных рабочих заменят беженцы». «Эти люди, - пишет Гельфанд, - живут среди нас, но мы о них не знаем. Для нас они "невидимые люди"».

Майя Гельфанд репатриировалась в 2001 году, закончила Тель-Авивский университет. Писательница – автор романов «И горы смотрят сверху» (2021), «За закрытыми дверями» (2022). В 2016 году она выпустила книгу «Как накормить чемпиона?», которая содержала кулинарные рецепты, а также короткие дневниковые записи о жизни в Израиле и заметки о своем муже, известном шахматисте Борисе Гельфанде. В том же году книга вышла в переводе на иврит.

11 сентября 2022

В Иерусалимской городской русской библиотеке состоялся авторский вечер Натальи Громовой и Бориса Белкина, во время которого была представлена их совместная книга «На два голоса», вышедшая в издательстве «Книга-Сефер». В книгу вошли два произведения: «Насквозь» Громовой и «Сюрприз» Белкина,

которые повествуют о последних годах жизни авторов в России, пропитанных «предчувствием войны». Супруги покинули Россию и репатриировались в Израиль после вторжения армии РФ в Украину 24 февраля.

«На два голоса» — первая книга проекта «Вольное книгопечатание» издательства «Книга-Сефер», в рамках которого оно издает книги, не имеющие возможности выйти в России по политическим причинам. Вечер провёл израильский художник и писатель Александр Окунь, написавший предисловие к книге Громовой и Белкина.

12 сентября 2022

В российском издательстве "АСТ" вышел в свет новый роман Марты Кетро «Искала я милого моего» как продолжение серии "Женщины и коты, мужчины и кошки". Роман сочетает в себе разные жанры: фэнтези, фантастика, приключения, детектив. Марта Кетро написала на своей странице в «Фейсбуке», что, по ее мнению, детектива у нее не получилось, но вышел роман с убийством. По мнению Кетро, главное в этом романе - особая «чувственная атмосфера текста, запахи цветущих деревьев и крови, вкус свежей выпечки, тепло солнца, прохлада каменного пола под ногами, всё то множество ощущений, которыми наполнена книга. Тель-Авив вокруг меня превратился в таинственный Мелави, где магия течёт, как подземные реки, временами выплёскиваясь на поверхность, а люди наслаждаются любовью, едой и морем - когда не убивают друг друга».

16 сентября 2022

Вышел новый, 39-й номер журнала «Двоеточие». Как отметила главный редактор журнала Гали-Дана Зингер, выпуск посвящен «исключительной ситуации, сложившейся сейчас в восточно-славянской литературе на территории Израиля». Открывает номер «Разговор о месте и о времени» - текст, в котором авторы журнала отвечают на вопросы друг друга: что для них «чувство дома», был ли переезд в Израиль осознанным выбором или необходимостью, изменилась ли их творческая самоидентификация в связи с эмиграцией, может ли культура «сделать человека лучше» и многие другие.

Составили 39-й номер «Двоеточия» стихи и проза на русском, украинском и белорусском языках. Среди авторов выпуска: Нина Хеймец, Елена Макарова, Александр Бараш,

Евгений Сошкин, Гали-Дана Зингер, Лена Рут Юкельсон, Александр Иличевский, Геннадий Каневский, Анна Соловей, Некод Зингер и другие.

19 сентября 2022

Вышел новый номер польского научного журнала *Iudaica Russica*, посвященного русско-еврейской и русско-израильской литературе. Среди материалов выпуска: интервью с писателем и арт-терапевтом Еленой Макаровой и писателем, публицистом и поэтом Александром Любинским. Также в номере опубликован фрагмент романа Александра Любинского «Заповедная зона» в переводе на польский, выполненном Мирославой Михальской-Суханек.

20 сентября 2022

В Иерусалимской русской городской библиотеке состоялась презентация новой книги Якова Шехтера «Есть ли снег на небе», в которую вошли истории, рассказы, сказки и притчи, «занимающие всю ширину спектра достоверности – от затейливых побасенок до абсолютной правды». В ходе встречи с читателями писатель рассказал несколько историй из своей книги, а в завершении вечера поделился рассказом о чудесном спасении программиста из Силиконовой долины от страшной гибели, который в книгу «Есть ли снег на небе» не попал.

21 сентября 2022

В Иерусалимской русской городской библиотеке состоялась презентация новой книги писателя Чингиза Гусейнова «Подковать скакуна», вышедшей в Москве в издательстве «Маска» в январе 2022 года. По определению самого автора, это книга о современности, «нечто романное с этнополитическими несуразностями и поиском добра в пространствах зла». Ранее в одном из интервью Гусейнов отмечал, что действие романа разворачивается между Баку, Москвой и Иерусалимом и охватывает мировые события последнего десятилетия.

В основном Гусейнов работает в жанре социальной прозы, часто показывая сложные внутриклановые взаимоотношения, царящие среди представителей народов Кавказа. Описывая социальные и духовные конфликты современности, автор использует широкий спектр техник: от повести-притчи до документальной прозы.

23 сентября 2022

Русско-израильский писатель Леонид Левинзон был удостоен литературной премии им. Марка Алданова. Его рассказ «Один месяц март» вошёл в шорт-лист конкурса и занял почетное второе место. В конкурсе, который прошёл под эгидой "Нового журнала", участвовали русскоязычные прозаики Беларуси, Грузии, Израиля, Казахстана, Канады, США, Швейцарии, Швеции, Эстонии и США.

Рина Левинзон (1939–2022).
In memoriam

7 июля 2022 года ушла из жизни Рина Левинзон - один из наиболее известных русско-израильских поэтов. Она родилась в Подмоскowie в 1939 году, детство и юность провела в Свердловске. Начала публиковаться в 1962 году в «Юности», «Урале» и других изданиях, выпустила две книги стихов: «Путешествие» (1971) и «Прилетай, воробушек!» (1974). В Свердловске стала женой поэта Александра Воловика (1931-2003), у них родился сын Марк. В 1975 супруги подали просьбу о репатриации, год находились в отказе и подвергались преследованиям властей. Уже через год после репатриации, в 1977 году, Левинзон выпустила в Иерусалиме сборник стихов «Два портрета». За ним последовали 14 поэтических сборников на русском, несколько книг на иврите (в том числе для детей), а также на английском и арабском. Она стала лауреатом ряда поэтических премий; ее стихи были переведены на иврит и другие языки.

Вильям Баткин считает поэзию Левинзон израильской и дает ей оценку в духе, выражающем настроение большого числа писателей-репатриантов 70-х – хорошо, но по-русски: «это не эмигрантская поэзия, рожденная на чужбине <...> Пока в силу трагических исторических обстоятельств эта поэзия ограничивается рамками русского языка, и великого, и могучего, но стихи, услышанные и записанные уже в Эрец-Исраэль, – это достояние культуры нашей земли».¹

Для Левинзон характерна музыкально-символистская, сентиментальная лирика. Это поэзия интровертная, самосозерцательная, импрессионистская,² если не всегда по форме, то во всяком случае по сути. Помимо традиционно лирических и философских тем (любовь, смерть,

¹ Вильям Баткин, 'Молю, Господь, Поэтов Сохрани! Из Цикла «Литературные Портреты Израильских Поэтов». Поэты Александр Воловик и Рина Левинзон', *Заметки По Еврейской Истории*, 2011 <<https://berkovich-zametki.com/2011/Zametki/Nomer12/Batkin1.php>> [accessed 12 May 2022].

² Лев Закс, 'Поэзия По Имени Рина', in *Услышать Солнце* (Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2009), pp. 5–13. С. 12.

творчество, семья), в ней встречается и социально-историческая тематика (Холокост,¹ израильская действительность с ее радостями и печальми²). Каждой своей строкой она стремится отменить эмигрантский слом, забросивший ее в чуждость страны и языка, сделать его не бывшим. В своей автобиографической заметке она подчеркивает: «мы ни разу не оглянулись назад и ни о чем не пожалели», но тут же добавляет: «я тосковала по утраченному и училась любить приобретенное. Не разделяла, не сравнивала — продолжала писать по-русски».³ В ее стихах, особенно в первых израильских книгах, немало взглядов брошено назад. В сборнике «Горсть ветра» (1989), в цикле «Снег в Иерусалиме» (1980) выражена (в мотиве Вавилонской башни) мечта о «едином слове», которое «каждый разберет»⁴ — и тут же боль и боязнь разлуки как эмигрантская пост-травма: «Я больше расставаться не хочу».⁵ Стихотворения сборника полны меланхолических воспоминаний о российском прошлом, грусти по утерянному, отсутствующему (осени, например). И итог: «Автор всех моих песен — тоска».⁶ Страх перед бытием ведет к подмене бытия поэзией: о поэзии говорится, что «она во мне как бытие»,⁷ и далее — «Какая разница, какой пейзаж за стенкой, / Когда из дома страшно выходить».⁸ Ощущение места обретается вдруг, случайно, как откровение, но оно не вызывает никаких изменений в личности и в творчестве, остается чистым духовным событием без последствий, реальным без реальности: «И наше местонахождение / Реальным стало, наконец!».⁹ О месте своей поэзии в Израиле поэтесса пишет: «Теперь уж никому и ни к чему / И склад, и лад, и колдованье это. / Вокруг — иноязычная планета, / Глуха навеки к слову моему».¹⁰

¹ См. цикл «Скрипач из гетто» в книге «Услышать солнце» (2009).

² См. цикл «И вся земля эта рыжая...» там же.

³ Рина Левинзон, *Услышать Солнце* (Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2009). С. 17-18.

⁴ Рина Левинзон, *Горсть Ветра* (Иерусалим: Тарбут, 1989). «Вавилонская башня». С. 64.

⁵ Рина Левинзон, *Горсть Ветра*. «Я больше расставаться не хочу». С. 65.

⁶ Там же. «Песенка». С. 117.

⁷ Там же. «Поэзия». С. 11.

⁸ Там же. «Четверостишья». С. 71.

⁹ Там же. «Снег в Иерусалиме». С. 78.

¹⁰ Там же. С. 99.

В более поздних книгах, таких, как «Седьмая свеча» (2000), израильская реальность обретает законное место в эмоциональном мире поэтессы. Целый ряд стихотворений посвящен Иерусалиму; одно из них, с программным названием «Моя земля», выводит на первый план ту черту, которая вызывает у автора восхищенное восклицание: «Ах, какая земля живая!».¹ Здесь же отчетливо звучит и философская установка: «мы никогда не будем правы, / пока не на своей земле».² Но даже признаваясь в любви к «маленькой, нежной, одной» («и бесконечной, и малой»)³ родине, она заявляет, что может петь ей только «голосом немым»,⁴ то есть не тем, который та могла бы услышать и понять, не ивритом. Иногда, в поздних стихах, эта «немота» оборачивается кошмаром забвения языка: «Я забываю русские слова. / Мне страшно, словно музыки не стало».⁵ Но в то же время ей нравится «приручать» иврит, «ворожить» над ним, из чего явствует, что он так и не стал для нее настоящим, то есть естественным языком. Об израильском бытии и своей судьбе в нем она пишет: «Есть мой кирпичик в этой кладке, / Здесь — дом. / Я больше не спешу».⁶

Один из наиболее действенных способов преодоления эмигрантской немоты и тоски — это мифологизация своей идентичности и метафизический полет: «Я снова прорехи в судьбе залатаю, / Я снова летаю, летаю, летаю»;⁷ «Мы родом из шагаловских местечек, / И потому так просто нам летать»; «Нет ни границ, ни праздников, ни будней... / Все проще, и понятней, и разумней — / лишь только оторвешься от земли»⁸ (шагаловские мотивы нередко встречаются в стихах поэтессы и почти всегда связаны с хронотопом полета). Поэзия Левинзон — это не столько традиционная эмигрантская двойственность или двойная непринадлежность, сколько динамическое двойное преодоление и отрицание, путь «от горького там до

¹ Рина Левинзон, *Седьмая свеча. Из Шести Книг. Стихи* (Екатеринбург: Корус, 2000). С. 313.

² Там же. С. 315.

³ Там же. С. 216.

⁴ Там же. С. 185.

⁵ Там же. С. 269.

⁶ Рина Левинзон, *Услышать Солнце*. С. 99.

⁷ Там же. С. 152.

⁸ Рина Левинзон, *Седьмая свеча. Из Шести Книг. Стихи*. С. 159, 165.

щемящего тут», «не из дома, а к дому», хотя «дом разобран посредине круга на две части».¹ В этом доме, тем не менее, звучит рефреном призыв поэтессы: «Поговорим по-русски. / Что мне в нем, / таком родном, таком невнятно близком / наречьи удивительном и чистом...».² Русский язык близок «невнятно», потому что он больше не самоочевиден и не объясним, его восприятие замутнено чуждой средой, но именно благодаря этому остранению он может теперь казаться столь «удивительным и чистым». «Чистота» языка здесь - способность и сила самовыражения на нем, недостижимые на иностранных языках. И все же русский больше не язык, а наречье — нечто умаленное и заниженное, но и интимно родное, свое. Одновременно с преодолением «языковости» русского языка преодолевается и «почвенность» почвы, в противном случае, по мысли поэтессы, не могла бы родиться ее поэзия:

*Когда появится основа,
с землёй усилится родство,
всё станет лишним — даже слово,
и музыка, и ремесло.
Дыхание моё сольётся
с горячим ветром бытия,
и больше не узнать, где солнце,
где холм, где дерево, где я.³*

Рина Левинзон находит очень простые, но точные слова, чтобы передать самую суть русско-израильской литературной установки — отказ от «основы» (которая должна пониматься как нативность, укорененность идентичности) ради поэзии, которая у поэтессы всегда тождественна бытию (мы у нее встречаем инверсию, когда люди признаются «опорой и основой» своей земли, а не наоборот⁴). Метафора «горячий ветер бытия» — это редкий для русско-израильской литературы случай крайне удачного и примирительного использования образа горячего пустынного ветра, сегодня уже знаменитого хамсина, имманентно воспринятого как источник нового вдохновения. В стихотворении «Хамсин» из книги «Услышать солнце» (2009) читаем:

*Хамсин — горячий ветер мой,
С тобой смотришь в любую бездну,*

¹ Там же. С. 152-153.

² Там же. С. 157.

³ Там же. С. 176.

⁴ Там же. «Мы здесь совсем не ради славы». С. 315.

*Пусть в мире всё тепло исчезло,
Но ты приходишь, ты — со мной.
Пусть время — глуше, воздух — суше,
С тобой все страхи замолю,
Ты вновь отогреваешь душу
Осиротевшую мою.¹*

Именно такие строки, словно вехи на поэтическом пути, отмечают появление новых, сущностно русско-израильских дискурсивных формаций. Подводя итог многолетним терзаниям, откликаясь на знаменитое «Сердце мое на Востоке» Иегуды Галеви, Левинзон восклицает: «Сердце мое на Востоке, / И песни мои, и я».²

Поэзию Левинзон сравнивали с поэзией Г. Иванова,³ Ю. Лермонтова;⁴ она сама подводит к таким сравнениям, воспевая «слова простейшие», «ясность» и «горькую прозрачность» у Иванова, «чистое перо» Лермонтова, «пушкинскую строфику литую».⁵ Поэтесса также намекает: «любви моей истоки» — в женщинах-поэтах Ахматовой, Цветаевой, Сафо, Лее Гольдберг, Рахель (Блувштейн).⁶ Своими друзьями, посредниками, «сердечными собеседниками» она называет Данте и Гомера, у нее на столе — для нее и «для нас» — всегда открыта «Книга Книг».⁷ Часто в ее стихах можно услышать темы и интонации Пастернака и Тарковского: «И поезд стоял на вокзале. / “Прощайся, — мне боги сказали, — / Есть в мире другая земля”. / Зима за окном холодела, / И не было жизни предела, / И не было звездам числа».⁸ И все же теперь, когда ее жизненный путь завершен, можно с определенностью сказать, что у нее было свое особое место в русской и мировой литературе.

¹ Рина Левинзон, *Услышать Солнце*. С. 82.

² Там же. С. 84.

³ Закс. С. 10.

⁴ Бахыт Кенжеев, на обложке. Рина Левинзон, *Седьмая Свеча*. Из *Шести Книг*. Стихи.

⁵ Рина Левинзон, *Услышать Солнце*. С. 120-121.

⁶ Там же. С. 96.

⁷ Там же. С. 165.

⁸ Рина Левинзон, *Первый Дом... Последний Дом* (Тель-Авив: Издание Тель-Авивского фонда искусства и литературы, 1991). С. 16.

Стихи и струны

Ирина Морозовская

Падают звёзды

Когда-нибудь смогу с улыбкой рассказывать о том, как писала эту колонку в дни, когда воздушные тревоги были по несколько часов кряду, а месяцы войны высосали из жизни почти всю радость и добавили много злости в души. Когда оставаться в Украине было опасно - но большинство оставалось. Когда-нибудь я смогу не рыдать от песен Валерия Марченко. Нет, кажется, никогда не смогу. Ладно, буду не рыдать, а тихо сидеть в зале со слезами на глазах - так ведь и раньше было. А прямо сейчас хочу рассказать о том, как сильно помогли мне песни Валерия Марченко переносить непереносимое, не терять человечности, умножать доброту и милосердие. И вы начните с этой:

ПАДАЮТ ЗВЁЗДЫ: https://www.youtube.com/watch?v=SRhvREe3XBw&ab_channel=bard1954

Всё, что могу сказать о песнях Валерия Марченко, барда, кобзаря, великой души человека, и о нём самом - совпадает. Перед его цельностью я как-то смущаюсь и робею, да и пишу об этом сейчас даже не с восхищением - с благоговением. Потому что не знаю, или самой не удаётся во время войны сохранить в себе доброту, внимательность и мягкую, но непреклонную веру в доброту и справедливость Всевышнего - а ему удалось. Вот это-то мне и помогает, когда чувствую себя расстроенной от перепадов и температур гитарой - слушаю и настраиваюсь под звуки этой горней арфы, кобзы, звуки чистого сердца. И это спасает, потому что настройка такая позволяет дальше и самой петь без надрыва и перегиба, без лишнего - оставив только точное.

На фестивалях Валерию всегда рады, потому что мягко и деликатно на своих мастерских он доносит то, что участнику можно и нужно услышать прямо сейчас. Последняя мастерская, на которую решила сходить пару лет назад, была с его участием. Про бардовскую песню все отмечают, что в ней поют сердцем и душой, но чтоб это с таким профессионализмом делалось - нечасто случается. Вот у Валеры получается, а впечатление производит завораживающее и гипнотическое. Выйти из наваждения

этого не удалось, да и не пыталась. Потому что кто ж захочет выходить из облака любви - а Валера весь про любовь, прежде всего. Ещё про веру. И про благородство.

Мне кажется, проще всего это всё самим поймать - только начните.

Послушайте про **МЫСЛИ-НЕДОРОСЛИ**: https://www.youtube.com/watch?v=Bejtuy7tFY4&ab_channel=bard1954,

О высшем если - то **СКАЖИ, МОЙ АНГЕЛ**:

https://www.youtube.com/watch?v=fSd6KGq34B8&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA

а если про любовь захочется – то **СЕРЦЕ КОЗАЧЕ**: https://www.youtube.com/watch?v=BhcLE42fXO4&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

Про вечную нашу жажду любить и быть любимыми:

СПРАГА ЛЮБОВІ: https://www.youtube.com/watch?v=AoFLdgEOCbE&ab_channel=VladimirMovshits

и ныне более, чем актуальная, к сожалению:

НЕ ЗБОЖЕВОЛІТИ Б МЕНІ https://www.youtube.com/watch?v=9g3axvEZKQ0&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

Удивительно, как эти песни мягко касаются сердца, разливаются по сосудам потеплевшей кровью, проступают на глазах солёным.

НІХТО В СЕРЦЯ НЕ ПИТАЄ https://www.youtube.com/watch?v=u21kkceaurY&t=150s&ab_channel=darwinshow

ПОМІЖ ВЕРБАМИ https://www.youtube.com/watch?v=pcFctymY9EU&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

Да вот и один из концертов Валерия из триумфальной поездки по Германии, все сборы от выступлений в которой пошли на благотворительность, на помощь израненной Украине, на помощь в борьбе. И победим мы в этой войне и потому, что на нашей стороне такие люди, как Валерий Марченко.

https://www.youtube.com/watch?v=4IRBDHriIk&ab_channel=1970sergej

БОНУС ТРЕК

Вероника Долина

Камень

Не поднимается рука
Писать, что с помощью стиха
Ты смерть не победишь, заочник.
Тут нужен древний камень стих
Заговорной. От губ твоих
Пусть целит прямо в позвоночник.
Туда, где жидко вещество.

Где хлипко это существо.
Где маленький людской затылок
Почти что без защиты весь.
Хоть мозг бери в ладошку, взвесь,
Хоть и объём всего - обмылок.

Найдётся камень, там в дому,
Уже похожем на тюрьму,
А дом стоит близ маяковской,
Где взяли парня и трясут.
Где сердце самое сосут
В столице нищей стариковской.

Я камень грею на груди.
Смотри, поэт, не подходи
К их проволоке злой, колючей.
Не подходи, дитя мое.
У них железо и враньё.
А с нами только бог да случай.

Я камень медленно ращу.
За пазухой. Ещё пращу
Плету руками, только с виду
Такими слабыми пока.
Но каждая из двух, рука
Принадлежит царю Давиду.

АВТОРЫ НОМЕРА

Анна Файн – прозаик, сотрудник Бар-Иланского университета, живёт в Бней-Браке.

Шула Примак – дипломат, муниципальный работник, живёт в Ашкелоне.

Давид Маркиш – писатель, поэт, переводчик, живёт в Ориегуда.

Михаил Вассерман – прозаик, режиссёр, продюсер, живёт в Чикаго.

Борис Белкин – преподаватель, переводчик, прозаик, живёт в Реховоте.

Михаил Певзнер – экономист, прозаик, живёт в Тель-Авиве.

Яков Шехтер – писатель, живёт в Холоне.

Михаил Юдсон – писатель, жил в Тель-Авиве.

Эдгар Керет – писатель, сценарист, режиссёр-постановщик, живёт в Тель-Авиве.

Узи Вайль – писатель, сценарист, журналист и переводчик, живёт в Тель-Авиве.

Натан Захави – сценарист, кинопродюсер, радиожурналист, живёт в Тель-Авиве.

Александр Крюков – дипломат, переводчик, профессор МГУ, живёт в Москве.

Татьяна Вольтская – поэт, эссеист, литературный критик, живёт в Санкт-Петербурге.

Ася Аксенова – филолог, поэт, литературный критик, живёт в Москве.

Ольга Андреева – поэт, проектировщик автодорог, живёт в Ростове-на-Дону.

Мария Сырочкина – врач-педиатр, литератор, живёт в Офакиме.

Глеб Шульпяков – поэт, прозаик, эссеист, живёт в Москве.

Валерий Скобло – поэт, прозаик, публицист, живёт в Санкт-Петербурге.

Цви Патлас – актёр, режиссёр, ныне преподаватель ешивы, литератор, живёт в Иерусалиме.

Максим Д. Шраер – прозаик, поэт, переводчик, профессор литературы в Бостонском колледже, живёт в Бостоне.

Сергей Лейбград – поэт, публицист, радио- и телеведущий, живёт в Ришон ле-Ционе.

Михаил Сипер – кибуцник, поэт, живёт в кибуце Кфар Масарик.

Игорь Иртеньев – поэт, журналист, телеведущий, живёт в Кармиэле.

Михаил Вирозуб – поэт, прозаик, переводчик, живёт в Москве.

Марк Горин – журналист, редактор, прозаик, живёт в Яффо.

Дмитрий Стровский – политолог, преподаватель, прозаик, живёт в Ариэле.

Давид Шехтер – публицист, журналист, общественный деятель, живёт в Ришон ле-Ционе.

Наум Вайман – поэт, переводчик, литературовед, живёт в Холоне.

Афанасий Мамедов – прозаик, журналист, редактор, живёт в Москве.

Андрей Зоилов – псевдоним литератора, живущего в Тель-Авиве.

Роман Кацман – профессор кафедры еврейской литературы Бар-Иланского университета, живёт в Гиват-Шмуэле.

Алексей Сурин – журналист, живёт в Иерусалиме.

Елена Промышлянская – докторантка кафедры еврейской литературы Бар-Иланского университета, живёт в Ариэле.

Ирина Морозовская – психолог, бард, исследователь социума, живёт в Одессе.

Вероника Долина – поэт, автор-исполнитель, переводчик, живёт в Москве.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

Яков Шехтер, Михаил Юдсон

Ответственный секретарь

Михаил Сидоров

Редколлегия: Катя Капович, Анна Мисюк, Ирина Маулер, Ирина Морозовская, Давид Маркиш, Михаэль Барам, Денис Соболев, Роман Кацман, Давид Шехтер

Корректор: Кармит Кособурд

Сайт журнала: <http://www.sunround.com/article/>

Фейсбук: <https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtikl>

Электронный адрес редакции:
articreda@gmail.com

Почтовую корреспонденцию в «Артикль» можно отправлять по адресу: **Irina Mauler, Journal "Article", Beer Yaakov, Arava 76, 703000.**

Телефон: 050-9080348 (в Израиле)
(972)-50-9080348 (для заграницы).

